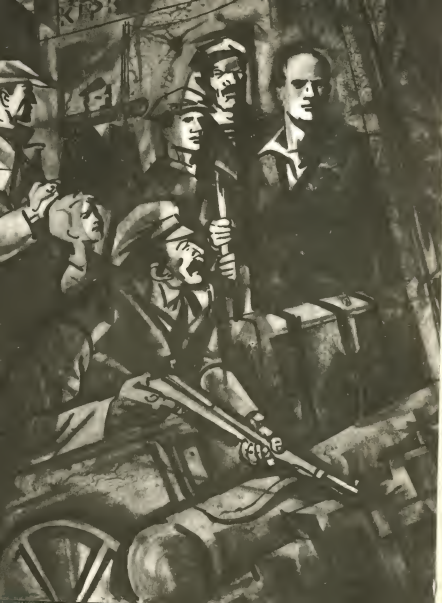






Москва
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
1978



СЕРИЯ • ПЛАМЕННЫЕ  РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ •

Еремей Парнов

СЕКРЕТНЫЙ УЗНИК

ПОВЕСТЬ
ОБ ЭРНСТЕ ТЕЛЬМАНЕ

Издание второе

Р2
П18

Еремей Парнов получил известность не только как писатель-фантаст. Последние годы его все больше привлекает историческая тема. Им написаны несколько исторических романов и повестей — «Ларец Марии Медичи», «Проблема 92» (об И. Курчатове), «Клочья тьмы на игле времени». В 1976 году в серии «Пламенные революционеры» вышла повесть Е. Парнова «Посевы бурн» о Я. Райнисе.

«Секретный узник» — книга о вожде германского пролетариата Эрнсте Тельмане — выходит вторым изданием. Впервые она вышла в 1972 году и получила широкий отклик читателей и прессы. Много отзывов пришло от людей, близко знавших Тельмана. «Примите мою благодарность за книгу об Эрнсте Тельмане «Секретный узник»,— написал автору Вальтер Ульбрихт.— Для меня это особенно приятно потому, что мне выпало большое счастье долгие годы быть рядом с Тедди в партруководстве КПГ. Он был прекрасный товарищ и друг».

$П \frac{10605-184}{079(02)-78}$ Б3—28—4—78

Глава 1

Тихий день

Спустя много лет Тельман вспомнил этот день, который начался так радостно и безмятежно. Потом в его жизни таких дней уже не было.

Он долго смотрел с высоты, как лениво сверкает на солнце излучина Эльбы, как медленно меркнет ее зеркальный извив. Порой река подергивалась слепящей чешуей и по заросли тальника и рогоза пробегали волнистые отсветы. Но неуловимое дыхание подступавшего вечера не в силах было поколебать тяжелые бронзовые листья дуба и темные кроны буков на ближнем холме. Все замерло в неподвижном воздухе. Лишь густые синие пятна — тени кучевых облаков медленно скользили к востоку, где пламенел зубчатый полукруг гор, чернели развалины замка и оранжево плавились окна увитых диким виноградом домов.

Он впервые увидел сегодня эту горную панораму, и необъятное небо над ней, и сверкающую подкову той самой реки, в устье которой прошли его лучшие годы. Исколесив полсвета и всю Германию, он до сих пор не был в Саксонской Швейцарии, которую еще семь столетий назад воспевали миннезингеры. Да и что было делать ему в этом благословенном краю фешенебельных

вилл и отелей? Что ему делать вдали от заводов и шахт, закопченных промышленных городов и крестьянских хозяйств, где копают картофель и режут на кирпичи торф!

Все лето тридцать второго года ушло на подготовку к предстоящим выборам в рейхстаг. Особенно трудной была последняя неделя. Отдыхать удавалось только в пути. Каждый день он выступал на нескольких митингах, зная, что именно эта избирательная кампания может оказаться решающей. Рабочая Германия не должна отдать свои голоса за партию Гитлера. Это было важнее всего. Предчувствие взрыва носилось в воздухе, ощутимое, тревожное. Что-то было здесь от тех яростных, но полузабытых уже чувств, которые довелось ему испытать в двадцать третьем году, накануне гамбургского восстания... Впрочем, он сознавал, что нынешняя обстановка куда сложнее. Беспощаднее, что ли. Кроме того, он совершенно вымотался. В теле ощущалась мерзостная простуда. Ее не брали ни яблочная водка, ни кофе, а табачная затяжка непривычно горчила. От постоянного недосыпания веки опухли и покраснели. Казалось, что в глаза набилась наждачная пыль.

— Надо переменить обстановку, Тедди, проветриться немного в горах,— предложил сопровождавший его в поездке член секретариата лейпцигского окружкома Фриц Бортман, когда опустел огромный стадион в Зоннборне. Главный лозунг Тельмана: «Кто голосует за Гитлера — тот голосует за войну!» — встретил единодушный отклик шестидесяти тысяч рабочих Вупперталя. Коммунисты и социал-демократы, мужчины и женщины, члены пацифистских и христианских организаций в общем порыве ответили на призыв вождя коммунистов к рабочему единству салютом красных фронтовиков.

Это был невиданный политический успех. Никто не покинул набитых до отказа трибун, несмотря на бескон-

чаемый дождь. В такой день Тельман меньше всего был расположен к разговорам об отдыхе.

В ответ на предложение Фрица он только покачал головой и, вытирая ладонью мокрое лицо, пошутил:

— Нам с тобой только ветра теперь и не хватает для окончательной простуды. Ну и погодка здесь. Недаром Вупперталь называют ночным горшком господа бога. Вечно у них дожди.

— Тут даже дети рождаются в галошах,— улыбнулся Фриц.— Не веришь? Вуппертальские комсомольцы жаловались, будто кожа на барабанах так раскисла, что нельзя выбивать дробь. Кроме шуток, Тедди... А отдохнуть все же следует. Хотя бы один день.

— Не время. Ты только посмотри, что написано на этих красных афишах,— Тельман засмеялся и кивнул на оклеенный листовками забор.

На них было напечатано только два слова: «Тельман приедет!» Листовки были расклеены по всему городу. Комсомольцы ухитрились прилепить их даже к окнам автобусов.

— Вот видишь! — Тельман похлопал его по плечу.— Нас ждут. И мы проедем всю долину Вуппера, весь Рур. Тем более, что завтра здесь собирается выступить Геббельс.

— Балаганный паяц!

— Политического противника нельзя недооценивать. Геббельс — искусный оратор. Ты бывал на их митингах?

— Конечно, нет!

— И напрасно. Успехи нацистской пропаганды налицо. Мы должны хорошо изучить все их приемы, иначе трудно будет оторвать от Гитлера обманутые нацистами массы, развеять чудовищное нагромождение лжи. Пойми, Фриц, ведь решающую роль в стремительном росте фашизма играет бедственное положение немецкого народа: голод, безработица, память о военном поражении. Наци-

сты используют эти факты для безудержной агитации. Это, безусловно, лживая националистическая демагогия. Но ловкая пропаганда обеспечивает ей успех. Наша борьба против гитлеровского фашизма будет успешной только в том случае, если мы сумеем сорвать с него национальную маску. Нацистской пропаганде мы должны противопоставить нашу политику свободы для миллионов трудящихся немцев. А ты хочешь, чтобы я отдыхал, когда в Вуппертале будет выступать Геббельс! Нет, Фриц, не выйдет! Наци не должны получить на выборах ни одного голоса!

Только через восемь долгих дней, расписанных по минутам, заполненных митингами, совещаниями и инструктажами в местных партийных комитетах, они смогли выбраться на природу.

Поначалу все складывалось как нельзя лучше. Они хорошо выспались, выпили настоящего кофе с бутербродами и выехали через Крибштейн в Дрезден, а потом и сюда, в Саксонскую Швейцарию. К обеду были уже в Басте. Пили местное вино, слушали румынский оркестр, перекинулись в скат. А когда спала июльская жара, пошли на Бастайскую скалу полюбоваться долиной Эльбы.

Фриц знал, что по-настоящему Тельман сможет отдохнуть только в полном одиночестве, наедине с природой. Но оставлять председателя партии без охраны было бы совершенным безумием. К счастью, Тельман понимал это и сам. Поэтому он и не стал возражать, когда увидел, что в некотором отдалении за ними идут двое рабочих парней. Молча стоял он на Бастайской скале, слушал птиц, дышал влажной свежестью речной долины, следил, как меняют цвет уходящие в вечернюю тень горы. Фриц ему не мешал. Охрана спряталась где-то поблизости, и он ее не видел. Уже больше десяти лет живет он в постоянной опасности. Как чудовищна, в сущности,

эта охота за ним! Но самое удивительное, что он привык и к опасности, и к охране...

На Бастайскую скалу пал красноватый закатный отблеск.

Улыбнувшись про себя, Фриц отметил, что Тельман сразу же стал удивительно похож на свой плакатный портрет. Большая лысая голова, твердый, хорошо очерченный нос, тяжелый волевой подбородок обрели вдруг чеканную обостренность.

Вид горной панорамы напомнил Фрицу, что надо рассказать Тельману, как удалось наладить нелегальный переход границы.

Но Эрнст стоял молча. Весь погруженный в себя, стал он словно частью переполненной закатом горной чаши. Так ничего и не сказав, Фриц отошел в сторону, присел на забрызганный пятнами лишайника камень и принялся неторопливо раскуривать сигару.

— Правда, великолепно? — машинально спросил он, критически осматривая тлеющий кончик.— Облака, игра красок!

— Да,— не повернув головы, ответил Тельман.

— Кстати о горах,— оживился Фриц.— Мы тут коечто сделали. Рабочие-альпинисты...

— Это срочно?

— Ну, нет, не особенно.

— Тогда потом,— Тельман увидел в траве прошлогодний желудь и нагнулся за ним.

— Что-то нашел? — Фриц лениво и медленно, как пресыщенный жуир, выпустил дым.

Тельман пожал плечами, спрятал желудь в карман и начал спускаться.

Не слишком-то разговорчивы эти северяне, вздохнул склонный к философским раздумьям Фриц, к ним надо привыкнуть. Они прячутся под броней суровости, грубоватых манер и тяжеловесных шуток. Это люди осмотри-

тельные, расчетливые. Но зато обостренно чувствительные к малейшей несправедливости. Тут уж они забывают про свой угрюмый панцирь и очертя голову бросаются в драку.

Он знал Тельмана еще с боевых времен гамбургского подполья.

— Ну что? — спросил он, когда Тельман, ничуть не запыхавшись, вскарабкался обратно.

— Хочешь? — Тельман протянул ему горсть буковых орешков.— Я слышал крик чибиса. Как прекрасна наша Германия, Фриц!

— Черта с два, наша! — проворчал Фриц.— Пива хочется. У нас хорошее пиво. Лучше, чем у вас на севере.

В Лейпциг они возвращались уже поздней ночью, и кафе при небольшой гостинице Фрелиха было закрыто. Так что выпить на сон грядущий отменного лейпцигского пива не удалось. А жаль! Тельман любил такие вот маленькие кафе, куда забегали опрокинуть кружку-другую рабочие, ремесленники, мелкие торговцы, шоферы.

Но все это забылось сразу же — кафе, пиво и внешняя беззаботность гостиного дня, как только они увидели в вестибюле гостиницы берлинского курьера.

Он поджидал Тельмана у самой лестницы, где под портретом Бисмарка стояла бочка с чахлой пальмой.

Тельман пожал ему руку и кивком пригласил пройти в свой номер.

— Что нового? — спросил он, включив настольную лампу под синим фарфоровым абажуром.— Садись, товарищ. Ты тоже присаживайся, Фриц.

Бортман подвинул курьеру второй стул, а сам уселся на кровати.

— В Берлине происходят важные события, товарищ Тельман.— Курьер так и остался стоять у двери, где висели плащ Тельмана и его знаменитая фуражка, угловатая, с черным витым шнуром.—Город оцеплен. Сообщение

с пригородами контролируют полицейские отряды, дорога на Потсдам уже перерезана... Мне поручено передать вам записку.— Он вынул из бокового кармана небольшой запечатанный конверт.

Тельман взял со стола деревянный нож для разрезания бумаги и аккуратно вскрыл письмо.

— Ты слышишь, Макс,— пробегая глазами строчки, он назвал Фрица по кличке, хорошо известной когда-то всему Гамбургу, всему подполью двадцать третьего года.— Ты слышишь, Макс, Папен разогнал правительство Брауна — Зеверинга!

— Ты это предвидел, Тедди. Чему тут удивляться?

— Когда Гинденбург отстранил Брюнинга и посадил канцлером Папена, и слепому стало ясно, что воротилы из «Клуба господ», принцы и генералы, расчищают дорогу фашизму. Только руководство социал-демократов не хотело этого видеть.— Он встал и, уперев сжатые кулаки в бока, прошелся по комнатке.— Теперь Папен ликвидировал социал-демократическое правление в Берлине. Подумать только: один лейтенант и три солдата разогнали правительство! Мне нужно немедленно связаться с ЦК. Мне нужен телефон, Макс.

— Хорошо, Тедди.— Грузный Фриц резко встал. Пружины под ним облегченно заскрипели.— Я пойду за машиной.

— Мы предложим социал-демократам и профсоюзам провести совместную забастовку. Всеобщую забастовку протеста против произвола реакции.— Тельман потрепал Фрица по плечу и закрыл за ним дверь.— А ты возвращайся в Берлин, товарищ,— он повернулся к курьеру.— Я набросаю несколько слов редактору «Роте фане».

Он сел за стол, выпул вечную ручку, быстрым, размашистым почерком написал несколько фраз. Отрезав чистую половину листка, он передал записку курьеру.

— Желаю успеха. Будь осторожен в пути.

— Спасибо, товарищ Тельман. Все будет в порядке,— ответил курьер, пряча листок.

Проводив курьера, Тельман задумчиво остановился посреди комнаты. Отрешенным, невидящим взглядом посмотрел на круглое стенное зеркальце. Потом надел фуражку, бросил на руку плащ и, погасив свет, вышел.

Теплая, влажная ночь встретила его далеким, еле различимым шелестом. Пахло мокрым асфальтом, бензином, липовым цветом. Свет гостиничной конторки смутно пробивался сквозь стеклянную дверь. Тельман достал карманные часы — было два часа ночи. Услышав рокот мотора, пошел навстречу едущей без огней машине. Фриц распахнул дверцу на ходу, и едва Тельман успел вскочить на подножку, шофер дал полный газ.

— А ты не преувеличиваешь опасность ситуации? — тихо спросил Фриц, когда они проезжали мимо залитого светом универмага.— Собаки перегрызлись... Что Папен, что Зеверинг...

— Нет,— резко ответил Тельман.— Кто ставит социал-демократов на одну чашу весов с правыми партиями, допускает страшную ошибку. Левацкий тезис о «социалфашистах» уже принес рабочему движению неисчислимые беды. Мы снова и снова будем искать союза с социал-демократическими товарищами, даже если их вожди в сотый раз отвергнут протянутую руку.

— Но, Тедди...

— Хватит уговоров и разъяснений! Только единый фронт германского пролетариата сможет остановить фашизм.

— Это, конечно, так, Тедди, я понимаю, но разве нам не на руку банкротство берлинских министров? Ведь их беспомощность толкнет рядовых соци под наши знамена.

— Надо уметь отличать сиюминутную выгоду от долговременных политических интересов, Фриц. Неужели

ты не видишь, кто стоит за переворотом господина Папена? Это все та же контрреволюция, и штыки ее направлены в сердце всей рабочей Германии. Если мы не выступим единым фронтом с социал-демократией и профсоюзами, на смену Папену не замедлит прийти Адольф и его головорезы штурмовики. В стране воцарится невиданный террор...

— К этому мы привыкли!

— Ты ошибаешься. Мы к этому не привыкли. То, что готовит стране Гитлер, далеко превзойдет и девятнадцатый год, и двадцать третий. Фашисты — людоеды по убеждению, это их сущность, это их программа. Фашистскую опасность нельзя недооценивать. Тем более, что у рабочего класса есть все возможности создать непреодолимый заслон. Наша партия насчитывает сегодня триста шестьдесят тысяч членов, комсомол — шестьдесят тысяч, МОПР, «Красные спортсмены» и Революционная профоппозиция — это еще почти полтора миллиона человек. В рейхстаге у нас сто депутатов. Это громадная сила, но без социал-демократов нам фашистов не одолеть. У СДПГ четыреста мест в рейхстаге и ландтагах, в их партии — свыше семисот тысяч членов. В государственном, профсоюзном и партийном аппарате работают сотни тысяч социал-демократов. У них почти две сотни газет и журналов. Нужно сделать все, чтобы мощь эта была поставлена на службу пролетарскому делу.

— Вся эта мощь не помешала Папену дать пинок под зад социал-демократическим министрам. Где она была, эта мощь? Почему они бездействовали? В окружкоме я только что узнал, что лидеры СДПГ и профсоюзов смиренно капитулировали перед Папеном. Они, видишь ли, заявили, что обратятся в Верховный суд с жалобой на антиконституционные действия канцлера! И это вместо того, чтобы вывести массы на улицу! Этак они и на Гитлера станут жалобы подавать...

— Хватит, Фриц! Мы должны сделать все, что в наших силах, и еще многое сверх того. Только всеобщая забастовка остановит фашистскую реакцию. Только единство всех демократических сил. Так и передай своим товарищам в окружкоме. Все — понимаешь? — все должны, наконец, понять, что фашистский переворот уже начался. Считанные дни остаются до того, как к власти придет Гитлер. И мы обязаны их использовать... После разговора с ЦК я еду в Берлин.

— Это невозможно, Тедди!

— Невозможно? Это необходимо.

— Но подъезды к городу перекрыты! В такой обстановке они пойдут на все. Вспомни Розу и Либкнехта.

— Ничего, Фриц, ничего. Как-нибудь прорвусь. В такой момент я обязан быть на своем месте.

— Я поеду с тобой!

— Нет. Оставайся в окружкоме.

— Значит, снова Гамбург, Тедди? Как тогда?

— Да, Макс, да, старый драчун! Только теперь нам будет значительно труднее. Как долго мы, однако, едем! Это далеко?

— Теперь уже скоро.

Конспиративная квартира, приготовленная лейпцигскими коммунистами на чрезвычайный случай, находилась в противоположном конце города. Пока Тельман и Фриц были в пути, дежурный по окружкому связался с Домом Карла Либкнехта, где находился Центральный Комитет. Чтобы не привлекать внимания полиции, которая часто занималась выборочным подслушиванием телефонных разговоров, он позвонил с почтамта. Договорились, что члены Политбюро сейчас же соберутся в Панкове, куда Тельман позвонит сразу, как только прибудет на конспиративную квартиру. Адресов и имен в разговоре, понятно, не называли.

— Пусть Старик позвонит к маленькому Гюнтеру,—

сказал берлинский товарищ. Он не сомневался, что его поймут.

— Тебя просили позвонить к маленькому Гюнтеру,— доложил дежурный, когда Тельман приехал.— Знаешь такого, Тедди?

— Да, знаю.— Тельман сразу же понял, что речь идет о сынишке рабочего-металлиста Ганса Ключинского. Когда Тельман жил в доме Ключинских, он несколько раз отправлял Гюнтера с мелкими поручениями в Панков. Скорее всего, именно это и имели в виду берлинцы, потому что у Ключинских своего телефона не было.

— Закажи срочный. Панков: 38-17.

Тельман повесил фуражку на крючок, положил плащ на подзеркальник и прошел в большую комнату, где за голым деревянным столом уже уселся на единственном стуле Фриц. В помещении стоял тоскливый нежилой запах. Пожелтевшие обои местами отстали от стен. Пыльная лампочка под осыпающимся потолком горела сумрачно и воспаленно, вполнакала.

Тельман опустился на продавленный диван и достал сигареты.

— Завтра же соберите окружком,— сказал он, с некоторой опаской ощупывая пропоротые выскочившими пружинами ржавые дырки.— Надо готовиться к переходу в подполье. События не должны застать нас врасплох.

— Мне все же кажется, что ты преувеличиваешь, Тедди.— Макс встал и, подойдя к окну, чуть приподнял шторы.

За окном была непроглядная темень.

— Вот увидишь: на выборах наци потерпят поражение,— сказал он, возвращаясь на свое место.— Все говорит о том, что их движение переживает кризис.

— Это тоже опасно. Тем скорее они бросятся в очередную авантюру. Неужели ты полагаешь, что стоящие за Гитлером промышленники и финансовые тузы так

легко примирятся? Ты все такой же наивный парень, Фриц. Выборы, конечно, важны. Но если силы рабочего класса по-прежнему будут раздроблены, наш успех у избирателей только напугает реакцию и сразу же подтолкнет ее к крайним решениям. Сейчас нужна всеобщая забастовка. Это первоочередная задача всех окружкомов, всех партийных ячеек.

— Хорошо, Тедди, это я понимаю, ну, а допустим...

— Я тебе уже все сказал, Фриц.— Тельман огляделся в поисках пепельницы и, не найдя ее, погасил сигарету о спичечный коробок. Курение вновь вызвало горечь во рту и легкое головокружение.— Ты понял, что должен сделать окружком?

— Да.

— В недельный срок подготовиться к переходу в подполье... Ячейки, боевые отряды, связь, конспиративные квартиры, пункты для перехода границы... В общем, не тебя мне учить. Дело знакомое.

— Понятно, Тедди.

— Ответственность возлагается лично на тебя... Жаль, что не смогу быть на вашем заседании... Вас есть за что поругать, ребята! И крепко. Передай членам окружкома, что сектантское отношение к социал-демократическим товарищам совершенно недопустимо. Это категорическое требование Секретариата. Ты знаешь, кому его надо втолковать со всей серьезностью.

— Знаю.

— Вот-вот... Почему я говорю это снова и снова, Фриц? Почему критикую и вас, и товарищей из Рура и Рейна? — Тельман встал.— От единства рабочего класса, от взаимодействия коммунистов и социал-демократов в сегодняшней обстановке, столь опасной для всего рабочего класса, всего нашего народа, зависит все.— Он говорил четко и медленно, словно диктовал текст очередного воззвания.— Это нужно понять раз и навсегда. Ком-

мунисты и социал-демократические рабочие — классовые братья. У нас общий враг — монополисты, фашизм. Мы должны держаться все вместе, иначе нам фашистов не одолеть. События в Берлине лишний раз напоминают об этом. Реакция хочет раздавить все демократические свободы постепенно. Чтобы этого не произошло, мы должны разрушить стену, разделяющую нас и социал-демократов. Мы должны бороться за каждого рабочего, к какой бы организации он ни принадлежал. Христианским рабочим тоже нужно сказать, что в борьбе с фашизмом мы вместе с ними... Я ведь не раз говорил вам все это, Макс. Черт вас побери, ребята, почему я долблю в одну точку?! Вы сами должны знать, что ни один коммунист не имеет права спокойно спать, когда речь идет о наших — пусть даже временных — ошибках...

В коридоре частыми короткими звонками залился телефон.

— Гюнтер на проводе, товарищ Тельман! — просунулся в дверь дежурный.

Тельман бросился к висевшему на стене аппарату и взял трубку.

— Слушаю,— сказал он, не называя себя.

— Старик?

— Да. Кто это?

— С тобой говорит Франц.

— Здравствуй, Франц. Как там у вас дела?

— Дела лихие. Разгромлена редакция «Роте фане». Газета запрещена.

— Что предпринято?

— Завтра выйдет «Роте штурмфане» с твоим воззванием ко всем рабочим.

— Хорошо. Молодцы. С руководством СДПГ связались?

— Только что. Они в замешательстве. Но, как обычно, сомневаются в искренности наших предложений о един-

стве. Мы ответили твоими словами: как можем мы, коммунисты, перед лицом угрожающей опасности превращения Германии в страну костров и виселиц, неискренне думать о пролетарском антифашистском едином фронте?

— А что они?

— Ушли от прямого ответа. Мы условились связаться утром еще раз. У меня создалось впечатление, что они так и не сдвинулись с капитулянтских позиций. Такое поведение руководства несомненно вызовет возмущение рядовых социал-демократов.

— Не только рядовых! Функционеров тоже... Мы должны быть готовы к этому, Франц. На социал-демократических лидеров нужно оказать давление изнутри их же партии. Немедленно свяжитесь с окружкомами. На всех границах следует организовать совместные демонстрации с французскими, польскими, голландскими и датскими трудящимися против угрозы войны. Поставьте об этом в известность представителя Коминтерна. Теперь следующее...

В трубке что-то щелкнуло и включился непрерывный гудок. Тельман нетерпеливо ударил по рычагу.

— Что там такое? Алло, фройляйн! Нас прервали!

— Сожалею, но связь с Берлином нарушена,— ответил вдруг незнакомый мужской голос.

Потом что-то вновь щелкнуло и наступила полная тишина. Тельман несколько раз подергал рычажок, но безуспешно: аппарат был отключен.

— Вам нужно немедленно уходить отсюда,— бросил он дежурному и Фрицу, который вышел вслед за ним в коридор.— Я еду в Берлин.

— Подожди хоть до утра, пока можно будет организовать охрану! — взмолился Фриц.

— Не будь трусом. И не надейся меня удержать,— раздраженно отмахнулся Тельман.— Утром я должен быть на своем месте.

— Вот что, Тедди! — нахмурился Фриц. — За твою безопасность здесь отвечаю я... И шофер, который ждет внизу, будет слушать только меня. Поэтому изволь подождать, пока я вызову Эдвина. Ты поедешь только с ним.

— Ладно. Пусть будет так.— Тельман снял фуражку с крючка.— Можешь вызывать Эдвина. Я буду на улице.

...Когда машина Тельмана подъезжала рано утром к Берлину, шофер заметил в тумане какие-то темные смазанные силуэты, неровной цепочкой перерезавшие дорогу.

— Пикет, товарищ Тельман,— тихо сказал он, сбавляя ход.

Тельман прищурился и цепким взглядом моряка выхватил из тумана мотоциклеты на обочине, синие пятна полицейских шинелей и грязно-зеленые — солдат рейхсвера. В неуловимые доли секунды успел он охватить всю эту медленно надвигающуюся на них панораму, мутную и расплывчатую, как за матовым стеклом, и сразу же внутренним оком увидел, как стоят эти люди, опустив карабины к ноге, спокойные и равнодушные, уверенные в своей силе и своем праве. Они настороженны, но сомнение чуждо им. Они знают, что эта машина, замедлившая свой ход перед их цепью, сейчас остановится в положенном месте, после чего встревоженные пассажиры покорно предъявят обер-лейтенанту документы, выйдут на мокрый после ночного ливня асфальт и станут терпеливо ждать, пока у них проверят багажник и ящики под сидениями. Ведь так положено! Да и может ли быть иначе, если армия и полиция проводят совместную акцию? Таков приказ. Такова железная воля государства.

Тельман прикинул оставшееся до пикета расстояние. Метров сто пятьдесят. Не больше.

— Давай вперед, Эдвин,— тихо сказал он шоферу.— Только медленно-медленно... Вот так.— Он пригнулся к ветровому стеклу, сосредоточенно прикусив нижнюю

губу.— Подай чуть к обочине, будто хочешь остановиться.— И, когда совсем уже приблизились к полицейским, шепнул: — Полный, Эдвин! Теперь полный...

Машина рванулась вперед, разбрызгивая скопившуюся за ночь воду, и, ревя клаксоном, пронеслась мимо шарахнувшихся из-под самых колес солдат. Как черный немой провал, промелькнул чей-то разинутый рот, сверкнула подкова задранного к небу сапога — видимо, кто-то упал,— и все осталось позади. Перед ними блестит пустая лента дороги, сужающаяся к невидимой точке, где-то там далеко-далеко, под туманной полосой холодного неба. Сзади послышался одинокий выстрел, впрочем, скорее всего это была лишь случайная детонация в моторе. В тот короткий миг, когда они прорвались через оцепление, вряд ли можно было успеть взвести затвор.

Эдвин резко заложил поворот, потом столь же стремительно бросил машину в другую сторону.

Впереди уже виднелись закопченные дома берлинского пригорода, сплетение проводов над трамвайными рельсами, брусчатка, решетчатый фонарь на остановке. Они нырнули в ближайший переулок, темный, кривой, словно вымерший, и понеслись в Шарлоттенбург, на квартиру Ключинских. А петляющий след за машиной быстро сгладила сомкнувшаяся вода.

Глава 2

Вахмистр Лендциан

Точно в 21.00 вахмистр Лендциан заступил на пост. Теплый воздух с Атлантики принес в город дыхание близкой весны. Тусклый свет фонарей расплывчатыми кругами лоснился на мостовых. Отчетливо и долго звучали шаги одиноких прохожих. Лучшей

ночи для дежурства Лендциан и пожелать себе не мог.

Он чуть ослабил лакированный ремешок каскетки у подбородка и расстегнул верхнюю пуговицу темно-синей шинели. Глянув на лунный циферблат электрических часов (они показывали 21.10), подумал, что не мешает выкурить еще одну сигару. На это уйдет минут двадцать, не меньше, а там, глядишь, недалеко и до десяти. Вторая же половина дежурства пролетит быстро, это Лендциан знал по опыту.

Слева, со стороны рейхстага, послышались торопливые шаги. Кто-то спешил, сбиваясь то и дело на бег. Вахмистр повернулся на звук, приосанился и застегнул верхнюю пуговицу мундира. В самом конце тусклой Фридрих-Эбертштрассе показалась темная сгорбленная фигура. Изломанная тень ее то удлинялась, то укорачивалась в промежутках от фонаря к фонарю или вдруг растворялась в ослепительном квадрате витрины.

Увидев шупо, человечек — теперь стало видно, что был он в куртке с поднятым воротником и кепке,— сильнее заторопился и еще издали крикнул, задыхаясь от бега:

— Господин полицейский! Рейхстаг горит!

Лендциан, не задумываясь, покинул пост и бросился к зданию парламента.

— Немедленно оповестите охрану! — крикнул он, но человечек, видимо не расслышав его, продолжал бежать.

Караульное помещение находилось в низенькой пристройке у самых Бранденбургских ворот. По инструкции Лендциану следовало бы доложить о происшествии лично, но случай был как раз такой, когда устав требовал от полицейского инициативы и немедленных решительных действий. Обогнув юго-восточный угол рейхстага, Лендциан, придерживая рукой раздувающуюся полу шинели, побежал прямо ко второму подъезду в южном крыле, в окнах которого увидел красноватый отблеск. Лендциан рванул на себя бронзовую, отполированную миллионами

прикосновений ручку. Но дверь оказалась запертой. Он метнулся к другой — левой, лихорадочно соображая, как и чем сподручнее будет ее взломать. Но по счастливой и странной случайности она оказалась не на запоре.

В гулком и темном вестибюле он задержался, чтобы достать электрический фонарик, и принюхался. Дымом, однако, не пахло. Гремя подкованными сапогами, Лендциан взбежал на четыре каменные ступеньки. На площадке ему померещилась внезапно отделившаяся от стены тень.

— Кто здесь? — хрипло спросил Лендциан, включая фонарик.

Жиденький пыльный луч метнулся по стенам, дрожащим эллипсом лег на вощеный паркет.

— Полиция? — удивленно спросили из темноты. И сразу же вспыхнул свет.

Лендциан схватился за кобуру, но медленно отвел руку от пояса. У самого входа в главный зал стояли двое мужчин в серой форме государственных чиновников.

— У вас пожар! — крикнул Лендциан.

— В самом деле? — удивленно спросил один из них, молодой и подтянутый, с безукоризненным пробором в набриолиненных волосах.

Второй только махнул рукой и направился к выходу.

— Как пройти в зал? — спросил Лендциан, обескураженный безразличием чиновника.— У вас есть ключи?

— Нет,— коротко ответил молодой и последовал за приятелем.

Дверь за ними захлопнулась с тяжелым вздохом.

«Без пальто? Без головных уборов?» — мелькнула мысль, но Лендциан не прислушался к ней. Бросив взгляд на дверь зала, он заметил, что верх ее застеклен. Отвернув лицо, он резко ударил в стекло локтем. Оно противно треснуло, и звонкие осколки посыпались вниз. Аккуратно вытащив из пазов наиболее острые куски, Лендциан по-

пытался протиснуться в узкое отверстие. Но толстая шинель сковывала движения. Тогда вахмистр снял ее, бережно свернул и положил на перила. Потом принес стоявший под лестницей стул и, сняв со стены огнетушитель, вернулся к двери. Тут ему в голову пришла мысль, что хорошо бы глянуть, не подоспела ли помощь. Те двое, наверно, все же пошли за охраной.

Но наружная дверь оказалась запертой. «Они закрыли меня здесь,— подумал Лендциан,— наверно, мне следовало сразу арестовать их...»

Встав на стул, он пролез через отверстие в двери и, прижимая к груди огнетушитель, тяжело спрыгнул. Хрустнули раздавленные осколки. Лендциан огляделся. Он оказался в большом фойе, в которое выходило несколько двустворчатых дверей. Откуда-то сверху проникал слабый безжизненный свет. Вахмистр никогда здесь не был и не знал поэтому, куда идти. Растерянно озираясь, потрогал он ручки дверей. Все было заперто. Он вновь огляделся и, заметив впереди темную и узкую лестницу, решил подняться наверх.

На втором этаже, в коридоре, окружавшем зал заседаний, Лендциан увидел первые следы пожара. Смрадно тлела ковровая дорожка. Мохнатая черная гарь лениво кружилась в воздухе. На паркете медленно расползались темные островки. С минуты на минуту могли вспыхнуть и затрещать языки свободного пламени. Вот уже шаткая и неустойчивая голубоватая искра лизнула стену в нескольких шагах впереди. И тут же в разных местах оранжево заискрились, как спирали электроплиток, темные пятна на полу. Эти начинающиеся очаги Лендциан затоптал сапогами. Но коридор уже заполнялся едким, удушливым дымом. Пахло серой, фосфором и еще чем-то пронзительно угарным, от чего першило в горле и больно стучало в висках.

Вахмистр толкнул дверь и оказался в огромном зале,

в котором полыхал пожар. Было светло как днем. Трибуна президиума превратилась в исполинский костер. Гудящие языки пламени вздымались на высоту человеческого роста. Дерево и кожа трещали и корчились в огне, взрываясь вдруг сотнями пронзительных красных искр. Лендциан бросил свой жалкий огнетушитель и выбежал из зала.

Он побежал вдоль дымного коридора, смутно надеясь обнаружить где-нибудь телефон. Внезапно в красноватом, бьющем из приоткрытых дверей свете он увидел, как в нескольких шагах впереди мелькнула и тут же исчезла какая-то фигура.

— Стой! Руки вверх! — крикнул вахмистр и в два прыжка оказался перед портьерой, за которой, он успел заметить, и скрылся неведомый злоумышленник. Лендциан резко рванул портьеру в сторону и увидел прижавшегося к стене человека со всклокоченными, как у дикаря, волосами. Человек медленно поднял руки.

В эту минуту вспыхнул свет и послышался топот сапог.

— Лицом к стене! — скомандовал Лендциан и, схватив задержанного за шиворот, резко обернулся и поднял пистолет. По коридору бежал незнакомый полицейский. Он был в том же, что и Лендциан, вахмистрском чине.

— Надо доставить его в караульное помещение! — кивнул незнакомец на задержанного и приложил два пальца к козырьку.

— Хорошо,— кивнул Лендциан, ощупывая карманы поджигателя, лохматого и какого-то ошалелого. В заднем кармане брюк он наткнулся на паспорт и, передав его коллеге, продолжил обыск.

— Голландский,— сказал незнакомый вахмистр и медленно, словно по складам, прочел: — Маринус Ван дер Люббе...

Глава 3

„Франт“

Начальник отдела зарубежной печати в аппарате НСДАП[1] доктор Эрнст Ханфштенгль наслаждался возможностью поболеть. Легкая ломота в костях прошла, уступив место сладостной истоме. Тело казалось резиновым и почти невесомым, что не мешало, однако, доктору безмятежно вкушать Жюля Верна. На тумбочке рядом с кроватью стояли свежие розы, хрустальное блюдо с ванильными сухариками и чай, заваренный на липовом цвете. Все было отменно. Тем более, что он зубами вырвал свое право на болезнь, добыл его в битве, как и подобает немецкому мужчине.

Накануне его известили, что по совету Геббельса фюрер прервет свою предвыборную поездку и возвратится в Берлин.

— Знаете,— сказал Ханфштенглю Геббельс,— я решил, что фюреру следует отдохнуть после поездки. И вот возникла идея: собраться у меня на Рейхсканцлерплац. Маленький товарищеский ужин. Музыкальное оформление я поручаю вам. Надеюсь, вы не против?

— Разумеется, дорогой министр, — ответил Ханфштенгль.— Я вам искренне благодарен.

— Вот и отлично. Давайте завтра утром уточним некоторые детали...

Ханфштенгль поморщился и положил трубку. Приглашение на товарищеский ужин к министру пропаганды и гаулейтеру Берлина его встревожило.

По должности доктор Ханфштенгль подчиняется непосредственно Геббельсу, но ни для кого не секрет, что его истинный покровитель — Герман Геринг, прусский министр полиции и президент рейхстага. Если же учесть,

[1] Национал-социалистская рабочая партия.

что взаимоотношения обоих нацистских вождей, мягко говоря, оставляли желать лучшего, то положение и впрямь создавалось трудное. Следовало крепко поразмыслить. Очень крепко...

Прежде всего, Геринг не просто покровитель, но и друг. Он-то, с его нюхом и широтой, знает истинную цену Ханфштенглю. И не удивительно. Ханфштенглей не так-то много в национал-социалистской элите! Гарвардский диплом, восемь иностранных языков — это кое-что значит. К тому же связи. В Америке, в Англии... Не случайно Геринг, решив возвратиться на прежнюю квартиру на Кайзердам, предоставил свои великолепные апартаменты президента рейхстага именно Ханфштенглю, своему милому «франту» Эрнсту. Вот уже неделю «франт» занимает верхний этаж роскошнейшего дворца, где кроме него гостят еще принц Август Вильгельм, принц Филипп фон Гессен и родственник жены Геринга шведский граф фон Розен. Можно ли желать большего!

Но в момент наивысшего взлета и торжества судьба готовит ловушку. Ханфштенгль сразу почувствовал ее в словах Геббельса.

Прежде всего, «франт» знал, что Геринг не сможет приехать на Рейхсканцлерплац. Он будет в это время на торжественном вечере в честь столетия со дня рождения начальника генерального штаба графа Альфреда фон Шлиффена. Там соберется вся аристократия, весь цвет рейхсвера. Герман — один из немногих наци, кого они допускают в свой круг. И он этим очень дорожит. Одним словом, у Геббельса его в тот вечер не будет... Зачем же понадобился Ханфштенгль? Сыграть на рояле две музыкальные пьесы? Ублаготворить фюрера Вагнером? Нет, он нужен Геббельсу только как свидетель... Свидетель чего? Очевидно, его присутствие должно продемонстрировать Герингу, что против «наци № 2» никто ничего не затевает. А на самом деле? Тут-то и кроется для доктора Ханф-

штенгля ловушка. Если Геббельс приготовил Герману сюрприз, то «франт» Эрнст превращается в соучастника, а толстяк ничего никому не прощает... Если же дело не в этом и Геббельс просто избрал его в качестве орудия для проведения в жизнь каких-то своих планов, то...

День прошел в оценке всех мыслимых и немыслимых ситуаций. Ханфштенгль несколько раз пытался дозвониться до Геринга, но тот как в воду канул. Ни в министерстве, ни в рейхстаге, ни на квартире его не оказалось, хотя точно было известно, что, подобно фюреру, Геринг тоже прервал предвыборную поездку и возвратился в Берлин. Ночь тянулась в тревожном полузабытьи...

Но под утро начался этот спасительный грипп! Ханфштенгль не вышел к завтраку и слабым голосом попросил здешнюю экономку фрау Пушке вызвать врача. Когда прискорбный факт не опасного, впрочем, для жизни заболевания был удостоверен, Ханфштенгль позвонил по прямому аппарату спецсвязи Геббельсу.

— Очень сожалею, господин министр, но я жестоко простужен, — с непритворной скорбью сказал он. — Как личное несчастье переживаю я, что не смогу сегодня увидеть фюрера и вас.

— Это невозможно, — сухо возразил Геббельс. — Вас ждут.

— Я проклинаю свой грипп, — как бы не расслышав, продолжал Ханфштенгль, — но нельзя же подвергать фюрера опасности заражения в такое горячее для партии время.

— Это чертовски некстати, Ханфштенгль!

— Безусловно, рейхслейтер, я, собственно, о том же самом говорю. В такое напряженное время это особенно некстати. Кажется, подумаешь, какой-то грипп! Но доктор Хофман сказал, что это очень заразно и чревато осложнениями. На осложнения я, конечно...

Геббельс что-то пробурчал и повесил трубку.

Ханфштенгль лишний раз убедился, что дело нечисто, и возликовал. Но тут же телефон рядом с ним зазвонил. Это был адъютант Гитлера Брюкнер.

— Фюрер хочет вас видеть, доктор Ханфштенгль,— сказал он.— Фюрер хочет, чтобы вы играли.

— Весьма сожалею, партайгеноссе[1], но я болен. Я только что докладывал об этом доктору Геббельсу.

— У кого вы лечитесь?

— У Хофмана,— улыбаясь собственной прозорливости, ответил Ханфштенгль.— У Алоиза Хофмана.

— И что он находит у вас?

— Заурядный грипп! Да, всего лишь грипп. Мне ничего не стоит перенести его на ногах, но возможность инфекции... Это очень заразно... — он умолк, передавая инициативу Брюкнеру.

Но тот так и не решился посоветовать Ханфштенглю пойти на риск. Ведь это означало взять на себя ответственность за здоровье фюрера.

— Ну что ж, очень жаль,— вздохнул Брюкнер.— Желаю вам скорейшего выздоровления. Хайль Гитлер!

— Хайль Гитлер! Благодарю, партайгеноссе.

Ханфштенгль удовлетворенно откинулся на подушки и нажал кнопку звонка.

— Фрау Пушке,— сказал он экономке,— велите заварить мне липового цвету и принесите что-нибудь почитать.

Вскоре чай был готов, и экономка вкатила его на стеклянном столике вместе с «Таинственным островом» — прославленной книгой любимейшего автора всесильного министра.

День прошел в приятном томлении и неге. На душе было светло и безоблачно. Но перед самым отходом ко сну, когда Ханфштенгль готовился испить неизменный стакан кефира, в спальню вбежала фрау Пушке:

---

[1] Товарищ по партии. *(нем.)*

— Господин доктор! Рейхстаг горит!

Ханфштенгль нашарил пуховые комнатные туфли и, запахнув атласный халат, подбежал к окну. В непроглядном ночном небе ярко пылал огромный решетчатый купол. Рейхстаг горел.

Он бросился к аппарату и, путаясь от волнения, после третьей попытки набрал телефон квартиры Геббельса.

— Геббельс! — сразу же ответил знакомый голос.

— Рейхстаг горит! Господин министр, горит рейхстаг!

— Это вы, Ханфштенгль? У вас что, поднялась температура?

— Из моего окна хорошо видно, господин министр! Рейхстаг горит.

— Бросьте, доктор. Вы меня разыгрываете! Это же польские штучки — шутить первого апреля. К тому же вы поторопились. Сегодня только 27 февраля...

— Я не шучу. Позвоните в полицейский участок, вам подтвердят.— Ханфштенгль быстро успокоился, и привычная логическая машина уже проворачивала в его голове свои бесчисленные колеса.

Что это с ним? Он ведет себя со мной очень странно, думал Ханфштенгль, даже в последней стадии опьянения мне не пришло бы в голову так шутить. И с кем! Наши отношения не оставляют места для шуток...

— Так вы это серьезно, доктор? — Геббельс, кажется, начинал верить ему.

— Конечно, господин министр. Я бы не позволил себе этим шутить.— Ханфштенгль закончил скорбной нотой и тут же подумал: «Неужели они ничего не знают? Да быть того не может — пожар очень сильный».

— Так... Сейчас свяжусь с участком у Бранденбургских ворот.

Мне удалось его убедить, подумал Ханфштенгль, медленно опуская трубку на рычаг. Странный разговор. Очень

странный... А что если я нужен им как свидетель. Я должен был лицезреть то непритворное удивление, с каким они встретят весть о пожаре. Но номер не удался. Я заболел... И вот теперь своим звонком я дал ему возможность сыграть приготовленную роль хотя бы по телефону. Что ж, видимо, перст судьбы...

Зазвонил внутренний телефон. Ханфштенгль сразу узнал скрипучий голос принца Гессенского:

— Взгляните в окно, доктор. Рейхстаг горит!

— Да, ваше высочество. Я уже знаю. Только что сообщил об этом министру Геббельсу. Он долго не хотел мне верить.

— Вот как? Гаулейтер Берлина узнал о пожаре именно от вас?

— Да. Только что.

— Удивительно. Вот уже полчаса, как туда отправились пожарные команды.

— Доктор Геббельс мог и не знать. У него сегодня небольшое торжество в честь фюрера.

— Да, конечно,— с готовностью согласился принц.— Спокойной ночи, доктор.

Вот и еще один свидетель, подумал Ханфштенгль, да какой — сиятельный! Видимо, все так и есть. Мы выполняем с ним теперь одну и ту же задачу. И он, и я, и его высочество Август Вильгельм Гогенцоллерн — гости толстяка... Это очень важное обстоятельство, когда глава парламента и министр тайной полиции съезжает из особняка, в котором есть подземный ход, ведущий в подвалы рейхстага. Это надо непременно засвидетельствовать. Что ж, я могу заявить под присягой, что Герман Геринг вот уже неделю не появляется во дворце. Да... Кроме того, никакой возни в подвале я не слышал. Я же действительно ничего не слышал! Надеюсь, их высочества могут сказать то же... Их слово — это почти королевское слово. Я же, как шеф зарубежной печати, не могу умолчать и

о том удивлении, о том недоверии, с которыми доктор Геббельс встретил страшную весть. Слава всевышнему, у них не может быть предлога для недовольства.

Глава 4

Ужин у бургомистра

Лендциан и его коллега вахмистр Хельмут Пёшель доставили задержанного в участок у Бранденбургских ворот уже глубокой ночью.

Рейхстаг и прилегающие улицы к тому времени были оцеплены полицией и штурмовыми отрядами СА. Несколько пожарных команд прилагали героические усилия, чтобы погасить бушующий в здании огонь. В отведенном месте толпились представители немецкой и зарубежной прессы, получившие на то специальные разрешения. Все чего-то ждали, ревниво следя друг за другом: не поспешил ли кто на телеграф передать в свою газету сенсацию ночи?

Человека в полицейской форме, естественно, никто не задерживал, и Лендциан, отконвоировав Ван дер Люббе, беспрепятственно возвратился к пылающему рейхстагу. Первый, кого он увидел там, был Геринг. Окруженный толпой приближенных, министр, не повышая голоса, отдавал приказания. Стоя в толпе штурмовиков и шупо, Лендциан хорошо слышал все, что он говорил.

— Надо усилить охрану восточных границ,— втолковывал Геринг какому-то высокому, туго перетянутому ремнями штурмовику.— Это раз! Немедленно арестуйте Тельмана, Димитрова и других террористов! Это два! И смотрите у меня, чтобы они не удрали в Москву!

Штурмовик ответил коротким кивком. Потом снял фуражку и, достав из бокового кармана платок, вытер

шею. Он стоял спиной к Лендциану, и вахмистр видел только хорошо подстриженный затылок и белую полоску воротничка. В темных набриолиненных волосах офицера мелькали кровавые отблески пожара.

К Герингу приблизились корреспонденты. Он широко улыбнулся и, подбоченясь, дал им заснять себя на фоне горящего здания. Свита подалась в стороны, и Лендциан успел увидеть, как в дымном свете подожженного магния мелькнула безукоризненная ниточка пробора и шитье группенфюрера СА. Это был Карл Эрнст, лидер берлинских штурмовиков. Он тоже попал в снимок. А один из корреспондентов, тайно пробравшийся к месту происшествия, сотрудник «Роте фане» Ион Зиг сфотографировал и усатого вахмистра Лендциана.

Завыли сирены, и коричневорубашечники, выстроившись цепью, стали теснить толпу. Притушив фары, к рейхстагу медленно подъезжали черные бронированные автомобили. Ловкие, подтянутые офицеры выпрыгивали с передних сидений и бросались к задним дверцам. Резкое движение руки, четкий шаг в сторону, и они каменели, пропуская высокое начальство.

Из первой машины вылез низенький худощавый Геббельс. Спереди его волосы были прилизаны, а на макушке непослушно топорщились. Со шляпой в руке, в плаще, застегнутом на все пуговицы, он прошел, волоча ногу, прямо к Герингу. Обменявшись партийным приветствием, они пожали друг другу руки. Но оттесненный в задние ряды Лендциан уже не мог слышать, о чем они говорили. Да он и не прислушивался, стараясь припомнить, где и когда в последний раз видел молодое и красивое лицо вождя берлинских штурмовиков.

Но вновь пронзительно завыла сирена и спутала его мысли. В сопровождении эскорта мотоциклистов СС к месту пожара подъехала, наконец, машина Гитлера.

...В тот же вечер, 27 февраля обер-бургомистр Берлина

Генрих Зам устроил небольшой ужин при свечах для узкого круга знакомых. Собственно, никаких поводов для торжества у него не было. Просто ему посоветовали вытащить из добровольного заточения старика Брюнинга.

Огромный, ростом выше двух метров, бургомистр вместе с почти такой же монументальной супругой встречали гостей в прихожей. Уже прибыли генерал фон Рундштедт, бывший министр транспорта Готфрид Тревиранус, министр иностранных дел барон Константин фон Нейрат. Ждали только Брюнинга, бывшего рейхсканцлера, но он все не приезжал, запаздывал, хотя утром звонил и обещал непременно быть.

Пока именитые гости курили в библиотеке превосходные манильские сигары бургомистра, его сын составил партию в покер своим хорошим знакомым — молодым офицерам рейхсвера братьям Штауффенбергам и веселому красавцу Харро Шульце-Бойзену, которого принимали в аристократических гостиных Берлина в основном за родство с адмиралом фон Тирпицем. Внучатый племянник покойного министра флота слыл отчаянно левым. Журнал «Гегнер» («Противник»), который он редактировал, прославился своими постоянными нападками на фюрера и его партию. Кроме них в комнате были еще сын директора кильского окружного суда советник юстиции Манфред Рёдер, офицер военной разведки — абвера — Ганс Остер, адвокат Рёттер и его друг профессор физики Хорст. Штауффенберги были в мундирах, остальные — во фраках. Остер и Рёдер от нечего делать рассматривали развешанную по стенам коллекцию рыцарских доспехов и оружия.

— Все-таки в нем что-то есть,— сказал Рёдер, трогая стальной наколенник.— Личный, знаете ли, магнетизм. Это не простой человек! Нет!

— Проходимец,— коротко бросил Шульце-Бойзен, прикупая четвертого короля.

— Но пока нужный проходимец! — живо откликнулся Остер.— Это мавр, который должен сделать свое дело!

— Смотрите, как бы он не зашел в нем слишком далеко. Он же обещал нам, что покатятся головы.— Шульце-Бойзен небрежно выбросил своих королей на сукно.— Как вам это понравится?

— И вы верите в это, Шу-Бой? — Остер засмеялся.— Это же фигляр и демагог! В нужный момент мы дадим ему коленом под зад.

— Кто это «мы»? — безучастно спросил Бертольд Штауффенберг, выкладывая на стол семь марок проигрыша.

— Мы — это мы! — Остер вытянулся и щелкнул каблуками.— И вы тоже,— милостиво добавил он.— Одним словом, рейхсвер.

— Все же согласитесь, господа, это незаурядный человек,— кисло улыбнулся Рёдер.

— Э, да вы, кажется, созрели для них, Рёдер,— сдавая карты, бросил Клаус Штауффенберг.

— Не говорите глупостей! — отмахнулся Рёдер.— Просто я отдаю ему должное. Я юрист и поэтому беспристрастен.

— Вот-вот,— кивнул Клаус.— Я же говорю, что вы созрели для них.

— Нет, граф, вы ошибаетесь, я не собираюсь вступать в их партию.— Рёдер легким щелчком сбил пушинку с фрачного лацкана, поправил бутоньерку и прижал ладонь к сердцу.— Это только повредило бы мне...— с усмешкой добавил он.

— Что вы, напротив! — нарочито шумно запротестовал Шульце-Бойзен и широко развел руками.— Это было бы вполне своевременно. Вы, кажется, рассчитываете получить место судьи. Я не ошибаюсь?

Рёдер не ответил.

— Ну вот видите! — тем не менее сказал Шульце-

Бойзен.— Посему спешите. Им вскоре понадобятся свои судьи, много судей!

— Мое оружие, господин редактор,— Рёдер усмехнулся, и тонкие бескровные губы его сделались еще тоньше,— мое оружие — это честность и беспристрастность. Закон, господа, превыше всего! Люди же, которые хорошо знают закон, всегда нужны. Поэтому я и не спешу.

— Боюсь, что вам будет трудно выдержать конкуренцию.

— Почему вы так думаете? — он вновь отошел к стене и занялся рыцарскими доспехами.

— Вы же сдали юридический экзамен с оценкой «весьма посредственно»... По-моему, это можно компенсировать только партийным билетом, причем желательно не с очень большим номером. Поэтому торопитесь, Рёдер, торопитесь.

Рёдер молча поклонился и, продолжая осматривать оружие, непринужденно проследовал вдоль стен и вышел из кабинета.

— Зачем вы его травите, Шу-Бой? — спросил Заммладший.

— В самом деле, Шу-Бой.— Остер подошел к ломберному столику.— Он вам этого не простит. Будьте впредь осторожнее.

— Вы полагаете, к моей репутации можно что-то прибавить? — меланхолично пожал плечами Шульце-Бойзен.

Остер тут же вспомнил последнюю карикатуру в «Гегнере» и рассмеялся.

— Все же осторожность не повредит, — сказал он, похлопав Шульце-Бойзена по плечу.

— И это говорите вы? — холодно спросил Клаус Штауффенберг.

— Да! А что?

— Как же тогда насчет пинка под зад?

— Ах, это! Ну, в свое время.— Остер беспечно пожал плечами и отошел к окну.

— Посмотрим,— кивнул Клаус.— Тебе сдавать, Бертольд.

— Мне тоже кажется, что вы сгущаете краски, господа,— сидевший в углу высокий, чуть сутуловатый адвокат Рёттер встал и прошел к столику с сигарами.— Все утрясется.

— Едва ли,— усмехнулся профессор Хорст.— Меня, например, они обещали вздернуть на фонарном столбе.

— За что же, интересно? — оживился Шу-Бой.

— Конфликт с арийской физикой.

Вошел дворецкий и доложил, что госпожа и господин обер-бургомистр приглашают всех в столовую.

— Брюнинг, видимо, не приедет,— сказал Зам-младший.— Прошу к столу, господа.

В кабинете бургомистра зазвонил телефон.

— Не беспокойся, отец, я сниму трубку, — сказал Зам-младший, остановившись в дверях.— Проходите же, господа.

Он прошел в кабинет и закрыл за собой обитую кожей дверь. Хозяйка между тем церемонно рассаживала гостей. Два лакея были готовы обнести их напитками.

— Господа, горит рейхстаг! — тихо сказал бледный Зам-младший, появляясь в дверях.

Гости стали нерешительно подниматься.

— Сидите, господа, сидите, — сказал бургомистр.— Я вынужден ненадолго покинуть вас. Прошу, дождитесь меня...— отложив салфетку, он грузно поднялся из-за стола.— Может быть, кто-нибудь хочет поехать со мной?

Особого желания никто не выразил.

— Тогда еще раз прошу простить меня, надеюсь, что смогу скоро возвратиться... Какой странный свет у этих свечей,— бросил он, уходя, лакею,— включите электричество.

— Быть может, действительно стоит съездить посмотреть? — шепнул Остеру Бертольд фон Штауффенберг.

— Зачем? — довольно громко спросил Остер.— Мы и так будем все знать.

— Думаю, это начало,— сказал Клаус.

И никто ничего ему не возразил.

Первым опомнился Рёдер. Поцеловав руку хозяйке, он молча откланялся.

— Спешит в тайную полицию,— шепнул Остер на ухо Шу-Бою. — Благо у него там родственник... Комиссар Гиринг...

Глава 5

„Опера важнее рейхстага“

Выйдя из машины, Гитлер прежде всего направился к вице-канцлеру Францу фон Папену. Судорожно потряс протянутую руку и принялся возбужденно расхаживать взад и вперед. Неожиданно он остановился и, сцепив руки внизу живота, обернулся и кивнул на горящий рейхстаг:

— Предзнаменование дано нам богом, господин вице-канцлер! Если пожар — дело рук коммунистов, а я в этом уверен, то мы должны уничтожить красную заразу железным кулаком.— И он сжал кулаки.

Геринг и Геббельс, как по сигналу, тут же приблизились к фюреру.

— Это ваш Берлин! — не отвечая на приветствия, Гитлер погрозил пальцем Геббельсу — министру пропаганды и гаулейтеру Берлина. — А где ваша полиция, Геринг? — он чуть повысил голос.— Где Зам? — еще громче спросил он и наконец, глядя куда-то поверх голов своей свиты, крикнул: — Почему пожар до сих пор не потушен? Где этот Гемп?

Зам и обер-брандмейстер Берлина Вальтер Гемп поспешно протиснулись сквозь строй эсэсовцев, но не решились встать между фюрером и верпейшими из его приближенных.

— Я уже отдал приказ о немедленном аресте виновных, мой фюрер! — заверил Геринг.

— Вы знаете их имена? — Гитлер почти кричал, жестикулируя, словно на митинге.— Вы уже знаете все имена, Геринг?

— Эти имена назовет пам господин Димитров, мой фюрер.— Геринг рассмеялся и торжествующе посмотрел на всех.

— А где Тельман? — пеожиданно тихо спросил Гитлер.

— Сбежал, мой фюрер! — легким неуловимым движением Геббельс вылез на передний план.— Сбежал! По моим сведениям, перешел голландскую границу.

Геринг пренебрежительно пожал плечами и отошел к стоящему в отдалении эсэсовцу с генеральскими кленовыми листьями на воротнике. Высокий худощавый эсэсовец бесстрастно взглянул на всесильного министра и предупредительно сделал несколько шагов ему навстречу.

— Откуда у Геббельса эти сведения, дорогой Гейдрих? — тихо спросил Геринг.— Тельман в самом деле сбежал?

— Тельман в Берлине,— прямо не отвечая на вопрос, заметил Гейдрих.— Он скрывается в Шарлоттенбурге.

— Как? Неужели он все еще у себя на Бисмаркштрассе? — удивился Геринг.

— Разумеется, нет. Но где-то недалеко.

— Я назначу денежное вознаграждение за его поимку.

— Тем лучше. Мы вот-вот накроем его.

— Надо торопиться!

— Как вам нравятся наши друзья? — Гейдрих глазами указал на главаря берлинских штурмовиков Карла

Эрнста, который беседовал в этот момент с двумя другими высшими офицерами СА.— Эрнст, Хайнес, Хельдорф! Вся троица, герои дня. Право, ваше превосходительство, это похоже на демонстрацию. Зачем они здесь?

— Ну, в конце-то концов, это их право,— самодовольно улыбнулся Геринг.— Операция прошла безукоризненно.

— Не совсем.

— Что вы имеете в виду?

— Насколько мне известно, поджигателя арестовал некий с неба свалившийся вахмистр Лендциан. Вы знаете его?

— Нет.— Геринг встревожился.— А вы?

— Я запросил его личное дело,— уклончиво ответил Гейдрих.— Думаю, что за проявленную инициативу он достоин награды.

— Да, дорогой Гейдрих, конечно. Пусть ему выдадут несколько марок, а вы понаблюдайте за ним.

— Разумеется. Но это не все.

— Что еще?

— Меня несколько удивило поведение господина обербрандмейстера. Он только что неосмотрительно дал интервью корреспонденту Интернэйшнл Ньюс Сервис некоему Ширеру. Это очень забавно, когда брандмейстеры дают интервью. Не правда ли?

Геринг сердито засопел.

— Так вот, милейший Гемп откуда-то узнал, что вы, ваше превосходительство, якобы распорядились оставить в эту ночь помещение рейхстага без обычной охраны, а всех служащих обязали покинуть его в двадцать часов.

— Он так сказал этому писаке? — Геринг раздраженно сжал перчатку и покосился на рейхстаг, окутанный облаками пара, пронизанного режущим светом прожекторов. Белые тугие струи воды били в черные глазницы окон, полосовали изуродованные подтеками стены.

— Да, пожарные знают свое дело,— Гейдрих перехва-

тил взгляд министра,— зато их шеф... По-моему, у него были какие-то злоупотребления по службе?

— Да, как обычно,— рассеянно кивнул Геринг и громко позвал: — Зоммерфельд!

Пресс-референт Мартин Зоммерфельд отделился от свиты и, почтительно склонив голову, подошел к шефу.

— Сообщение для газет! — Геринг нетерпеливо протянул руку.

— Сию минуту! — Зоммерфельд расстегнул толстый бювар и мгновенно извлек оттуда машинописный листок.— Примерно двадцать строк.

— Достаточно. — Геринг пробежал листок глазами, скомкал его и отшвырнул. — Это полицейское сообщение, а не политический документ.

Гейдрих глянул на часы и неторопливо пошел к своей машине. Гитлер и Геббельс уже уехали. Перед тем как сесть в автомобиль, фюрер сделал короткое заявление для истории и журналистов: «Как гиена неотделима от падали, так марксист неотделим от государственной измены»,— и театральным жестом указал на рейхстаг.

— Кто написал, что вес обнаруженного горючего определен в один центнер? — возмущенно спросил Геринг и, не дав Зоммерфельду ответить, выкрикнул: — Чепуха! Десять, сто центнеров! Так и запишите: сто центнеров.

Зоммерфельд сделал пометку в блокноте.

— Ваша бумажка никуда не годится, Зоммерфельд! Слышите? Нужно вот как — записывайте! — Широко расставив ноги и подбоченившись, Геринг прищурился и начал диктовать: — «Этот поджог — самый чудовищный террористический акт большевизма в Германии. После него должны были быть подожжены все правительственные здания, замки, музеи и другие жизненно необходимые помещения. Рейхсминистр Геринг принял чрезвычайные меры против этой страшной опасности». Записали? Так будет гораздо лучше. Как вам кажется?

— Разумеется, господин рейхсминистр.

— Прочитайте заявление шайке,— Геринг двинул перчаткой в сторону журналистов. — И гоните всех в шею. Пора кончать. Да... От себя — слышите, Зоммерфельд? — лично от себя, в порядке шутки, можете вскользь заметить, что рейхсминистр Геринг, хотя и преисполнен негодования, не склонен, однако, слишком трагически рассматривать данный инцидент. С художественной точки зрения это здание не представляет ценности. Поэтому нас больше заботит, так сказать, чисто утилитарная сторона. Придется подобрать для говорильни новое помещение, скажем, королевскую оперу. Вот тут вы и скажете в шутку, что рейхсминистру опера всегда казалась важнее рейхстага.— Он рассмеялся.— Вы все поняли, Зоммерфельд?

Пресс-референт поклонился и закрыл блокнот, а массивный, в свободном, подчеркнуто цивильном дождевике и видавшей виды помятой шляпе рейхсминистр сделал ручкой топтавшимся в почтительном отдалении фотографам и, переваливаясь, направился к машине. В отличие от других вождей «тысячелетнего» рейха, он приехал в голубом спортивном кабриолете, словно на воскресную прогулку.

...Когда обер-бургомистр Зам возвратился к себе на квартиру, почти все гости уже разошлись. В библиотеке за кофе и ликерами сидели только генерал Рундштедт, бывший министр Тревиранус и оба графа Штауффенберги, решившие во что бы то ни стало дождаться хозяина.

— Прошу меня простить, господа, — отдуваясь, покачал головой бургомистр.— Ужасное, просто кошмарное зрелище. Все наши лидеры в один голос утверждают, что пожар — дело рук коммунистов. Это был заранее спланированный акт, господа. Здание загорелось сразу в двадцати или даже тридцати местах. Чего там только не было: сера, фосфор, порох, бензин, пропитанные маслом опилки... Задержан какой-то голландец, который, как утверж-

дают, поджег здание с помощью заранее принесенных раскаленных углей.

— Один в тридцати местах? — хмуро спросил Клаус Штауффенберг.

— Такова официальная версия, господа! — бургомистр потер озябшие руки и налил себе рюмку золотого бенедиктина.

— А ваше мнение? — спросил Рундштедт.

— Я слишком мало знаю, господа. Наци утверждают, что это коммунисты.

— Вы говорите, коммунисты? — усмехнулся Тревиранус.— Нет, это сделали наци.

Все замолчали. В недопитых рюмках грустно светилось густое вино, бросавшее разноцветные тени на полированную поверхность стола драгоценного розового дерева.

Зам подошел к окну и раздвинул шторы. Малиновое зарево над темными, унизанными широкими каминными трубами черепичными крышами погасло.

Он один знал, что не случаен даже этот маленький ужин в старом буржуазном доме близ рейхстага. По личной просьбе министра иностранных дел барона фон Нейрата он пригласил к себе сегодня Брюнинга. Теперь он понимает, кому и зачем было нужно, чтобы именно в этот день видные политические деятели находились недалеко от рейхстага. Одни готовили свидетелей, другие начиняли рейхстаг воспламеняющимися материалами. Недаром обер-брандмейстер Гемп сказал, что поджигателей несколько и горючие вещества принесены были заранее.

— Арестованный оказался членом голландской компартии,— не отходя от окна, сказал бургомистр.

— Ах, голландской! — протянул Тревиранус.— Почему же именно голландской?

— Да, почему не патагонской? — поддержал его Бертольд Штауффенберг.

— Слишком далеко,— отозвался Клаус.

— Вы не собираетесь покинуть Германию при таких обстоятельствах? — обратился к Тревиранусу генерал Рундштедт.

— Боюсь, что всем нам придется это сделать,— грустно улыбнулся экс-министр.— Рейхстаг — это повод для того, чтобы взять всю полноту власти. А что за этим последует, вы сами догадываетесь. Он же оповестил нас в своей «Майн кампф». Головы, действительно, покатятся.

— Да,— все так же мрачно и сосредоточенно кивнул Клаус.— Но сначала им предстоит перегрызть друг другу глотки.

— Вы полагаете, капитан? — спросил Рундштедт.

— Уверен. Я видел их церемонию освящения знамен. На трибуне стояли Гитлер и Рем... А диктатор всегда один, господа. Иначе он не диктатор.

Глава 6

Французское посольство

В тот же вечер в роскошном особняке у Бранденбургских ворот, в непосредственной близости от пылающего рейхстага, французский посол Андре Франсуа-Понсе с супругой провожали гостей. На этот раз гостями были только дипломаты, причем без жен.

Накануне граф фон Бассевиц из протокольного отдела германского МИДа уведомил первого секретаря посольства, что заместитель министра фон Бюлов вынужден перенести запланированную на будущий четверг встречу с господином послом. О сроках условлено было снестись позднее. В тот же день Франсуа-Понсе имел «случайную» встречу с фон Бюловом в «Клубе господ» на Герман-Герингштрассе во время обеда, который давал директор пароходной компании «Северогерманский Ллойд».

Когда на десерт был подан сыр, посол посетовал:

— Мне вновь досталось от госпожи Франсуа-Понсе, господин фон Бюлов. И в этом виноваты только вы.

— Сожалею, господин посол, но искренне надеюсь, что в конце будущего месяца смогу лично засвидетельствовать вашей супруге свое неизменное восхищение.

— Благодарю, господин министр, без вас наши приемы проходят весьма бесцветно. К сожалению, современная дипломатия все больше утрачивает романтический дух. Тем приятнее принимать дипломата старой, бисмарковой школы.

— Рекомендую попробовать это вино. — Бюлов взглядом указал на покрытую паутиной бутылку, которую почтительно поднес на литом серебряном блюде метр-девин.

— «За́мок Рейнгартсхаузен»? — в голосе посла явственно прозвучало удивление.

— 1914 год, — пояснил фон Бюлов. — Из подвалов поместий принца Генриха Прусского.

— Божественное вино! Роковой год! — заметил посол, выбрав на блюде с сырами ломтик камамбера. — Я, кажется, говорил о благородных традициях старины? Это, извините, моя слабость, хотя, в отличие от вас, господин министр, я не могу похвастаться достаточно длинным перечнем предков. И это не удивительно! Если не ошибаюсь, ваш род восходит к тринадцатому веку?

— По крайней мере, так написано в «Готском альманахе», — тонко улыбнулся фон Бюлов. — Поверьте, я сам огорчен, что скучные обязанности порой лишают меня удовольствия общаться с таким приятным собеседником.

— Благодарю, ваше превосходительство. Я вдвойне огорчен и буду уповать лишь на случай, подобный сегодняшнему.

— О, господин посол, это уже дипломатическая шпилька! Сегодняшний обед не в счет. Просто у меня

уж очень занята будущая неделя... и последующие тоже.

— Великолепно! — бросил пробный шар Франсуа-Понсе.— Буду иметь честь послать в вашу канцелярию пригласительный билет на завтрашний вечер... Скажем, он будет называться на берлинский манер «бирабенд» — вечер с пивом? — Он позволил себе сдержанно посмеяться, чтобы в случае необходимости обратить все в шутку.

Но фон Бюлов только вздохнул:

— Такова уж наша участь. Либо сплошные обеды да рауты, либо бесконечные бумаги... Прошу кланяться вашей очаровательной супруге.— С этими словами фон Бюлов встал из-за стола и раскланялся с послом.

Положение было достаточно неопределенным. В тот же день секретарь посольства отвез пригласительный билет на Вильгельмштрассе. Аналогичные приглашения на несколько необычный для французского посольства «бирабенд» получили испанский посол Луис Сулуэта, посланник Бельгии граф де Кершов и, конечно, начальник протокольного отдела Бассевиц. Для придания вечеру неофициального характера были приглашены также внук «железного канцлера» Герберт фон Бисмарк и весьма популярный в дипломатической среде Остер — один из самых блестящих сотрудников абвера.

Госпожа Франсуа-Понсе после некоторого размышления решилась все же добавить к пивным закускам страсбургский паштет и ранние черные трюфели из Перигора.

Вечер удался, и посол сумел обменяться мнениями с фон Бюловом по поводу будущего Рейнской области, к чему, собственно, оба они как будто и стремились.

И вот теперь, в самый разъезд, Франсуа-Понсе явно нашел необходимые слова для заверения заместителя министра в своей личной дружбе.

Одна за другой подъезжали к подъезду машины, и гости, довольные проведенным вечером, прощались в круглой

«наполеоновской» гостиной с радушными хозяевами. Ярко горели позолоченные бра в виде ангелочков, отражаясь в зеркальном паркете, где из редких сортов дерева был выложен вензель N, осененный императорским орлом, благоухали орхидеи в севрских вазах на каминной доске.

Часы в стиле Людовика XV показывали ровно девять.

Через час после разъезда политический советник Шарль Жироду доложил послу о пожаре рейхстага. Франсуа-Понсе мог только гадать, знал ли об этой несомненно заранее запланированной нацистами акции фон Бюлов.

— Пожалуй, нам бы следовало побывать там,— сказал посол, ловко обрубая игрушечной гильотинкой кончик длинной регалии из Гаваны.

— Все улицы, наверное, оцеплены,— возразил Жироду.

— Не сомневаюсь. Но нам незачем брать автомобиль с расчехленным флагом. Пройдем, сколько можно, пешком. Давайте только сначала переоденемся.

На следующее утро Франсуа-Понсе составил депешу, которая начиналась словами: «Нацисты инсценировали поджог, чтобы еще до выборов захватить власть». Он сам отнес ее в шифровальную комнату и, пока шифровальщик возился с таблицами, Франсуа-Понсе решил добавить в свое сообщение еще одну фразу, последнюю: «Эти люди способны на все».

— Поместите это в конце, — распорядился посол, положив красный карандаш на шифровальный стол.

Возвратившись к себе в кабинет, он вызвал Жироду.

— Подготовьте мне досье по этому делу. И вообще попытайтесь разузнать что-нибудь такое...— он пошевелил пальцами, словно растирая понюшку табаку.— Ну, да вы понимаете, что я имею в виду.

ДЕКРЕТ

На осиовании абзаца 2 статьи 48 имперской конституции в целях противодействпя коммуиистическим актам насилия, представляющим угрозу для государства, постаиовляется следующее:

§ 1

Статьи 114, 115, 117, 118, 123, 124 и 153 имперской коиституцпи впредь до дальиейших распоряжений отменяются. Поэтому ограничения свободы личиости, свободы выражеиия мнений, включая сюда свободу печати, право союзов и собраиий, иарушение тайиы почтово-телеграфной корреспонденции и телефоиных разговоров, пропзводство обысков и коифискаций, а также ограиичеипя права собствеииости, допускаются независимо от пределов, обычно устаиовленных закоиом...

§ 6

Настоящий декрет вступает в силу со дня его опубликования.

Берлии, 28 февраля 1933 года.

Президеит Германской республики
фон Гинденбург

Рейхсканцлер
Адольф Гитлер

Имперский мииистр внутренних дел
Фрик

Имперский мипистр юстиции
д-р Гюртнер

Глава 7

Пир Лендциана

На другой день Фриц Лендциан был приятно обрадован пятнадцатью марками наградных. Конечно, благодарность в приказе за арест поджигателя кое-

чего стоит! Любой полицейский был бы счастлив иметь такое в своем послужном списке. Но пятнадцать марок тоже на улице не валяются.

И все же какая-то неясность продолжала тревожить вахмистра. Он доложил начальству о странном поведении чиновников, которых встретил вчера в вестибюле. Непонятно было, что они делали в темноте. Собирались уходить, как заметил шеф? Но они-то сказали, что ключей у них нет! Кто же запер подъезд? Кто-то третий, неизвестный? Быть может, так оно и было, а он, Лендциан, напрасно заподозрил, что его заперли в горящем здании те двое. Что ж, очень даже вероятно.

Но не только это мучило вахмистра. Подробно описывая приметы чиновников (один высокий, с длинным лошадиным лицом, глаза и волосы светлые, свежий красный шрам в форме подковы на переносице; другой среднего роста, темноволосый, красивый молодой человек), Лендциан не то что начальству, самому себе боялся признаться, что второй поразительно похож на одну высокопоставленную особу. Нет, Лендциан вовсе не был уверен, что это именно он. Бывают ведь и поразительные сходства. Но одно вахмистр знал твердо: назови он эту особу по имени, ему не дожить до следующего дня. Поэтому на вопрос шефа, узнал бы он тех двоих при встрече, Лендциан ответил отрицательно. Ведь было не слишком светло, и видел он их не больше минуты.

Шеф благосклонно выслушал его и спросил, настаивает ли он в таком случае на приметах? Нет, вахмистр не настаивал. Приметы он мог незаметно для себя домыслить уже потом. Правда, такую примету, как шрам на переносице, не домыслишь, это нужно видеть. Но надо учесть и обстановку: пожар, волнение... Недаром шеф сам обратил на это внимание. Разве не мог Лендциан ошибиться и принять за шрам, скажем, размазанную вокруг легкой царапины кровь? В том-то и дело, что мог.

Но тогда уже нельзя говорить об «особой» примете, о примете долговременной. Шеф согласился с вахмистром и сказал, что в столь сомнительном случае о приметах лучше вовсе не упоминать. Так он и доложил начальнику гестапо Дилсу.

Вот только странно ведет себя этот красный поджигатель. Он как будто доволен, весело смеется. Не соображает, что поджог будет стоить ему головы?

Впрочем, надо ли обо всем этом думать? Он, Лендциан, честно выполнил свой долг и получил награду, впереди долгий, свободный от службы день. Не лучше ли поскорее отправиться к фрау Войте в «Парижский погребок»?

Вахмистр принес из кухни горячей воды, взбил пену для бритья, включил репродуктор. Как раз передавали зондермельдунген — важные сообщения. Выступал сам рейхсминистр доктор Геббельс: «Тельман в личных интересах покинул на произвол судьбы своих сторонников и бежал, перейдя под Нимвегеном голландскую границу».

«И правильно сделал,— подумал Лендциан, аккуратно намыливая щеки дорогой колонковой кисточкой,— иначе они его тут же прихлопнули бы».

Он брился неторопливо, можно даже сказать, с наслаждением, краем уха прислушиваясь к проклятиям, которые обрушивал на Тельмана министр пропаганды. Удивлялся, почему Геббельс так возмущается бегством коммунистического вождя. Разве сам Гитлер не бежал в двадцать третьем? Да и Геринг спасся в Италии... Причем смерть им тогда не грозила, не то что теперь этому Тельману. Нет, конечно, он правильно сделал... К тому же, многие говорят, что Тельман хороший и простой человек.

Обрызгав лицо одеколоном, Лендциан опять поймал себя на мучительном обдумывании какого-то неуловимого совпадения. Но какого?

Он выключил радио и вытер шею свежим крахмальным полотенцем. «Ну да, конечно,— обрадовался Лендциан,— в этом все дело. Вот что значит полицейский образ мышления! Ван дер Люббе — голландский коммунист, а Тельман перебежал голландскую границу. Едва ли это случайное совпадение. Геббельс просто умышленно не договаривает. Он хочет, чтобы люди дошли до этого сами. Тельман сбежал за границу и прислал оттуда своего агента, этого придурковатого поджигателя. Как все просто...»

Аккуратно вымыв бритвенный прибор, Лендциан надел коричневый в белую полоску выходной костюм и повязал черный в красную искорку галстук. В «Парижском погребке» он всегда появлялся в штатском, хотя и не делал секрета из того, что служит в полиции. Он даже гордился своей профессией, но служба службой, а выходной — это выходной. Чего бы стоила вся человечья жизнь без маленьких праздников?

...По вечерам «Парижский погребок» обычно наполнялся народом. Но сегодня ресторан почти пуст. Может быть, потому, что здесь, сдвинув столы, кутила компания эсэсовцев и штурмовиков. Все были уже изрядно на взводе, а двое спали: один — сидя на полу возле ножки стола, другой — уронив голову на загаженную окурками скатерть.

Все настроение было испорчено. Лендциан прошел к своему излюбленному столику в дальнем углу, затененному пышным кустом гибискуса.

Фрау Войте отослала кельнера и пожелала лично обслужить постоянного клиента. Это была большая честь, и Лендциан, слегка привстав, церемонно поцеловал ей руку.

— Как поживаете, фрау Войте? Как идут дела?

— Вы же видите! — не поворачиваясь к сдвинутым

столам, за которыми «нибелунги» стучали кружками и, раскачиваясь, орали «Иоганну», она сморщила нос и энергично стрельнула глазами в потолок.

— И давно?

— Четвертые сутки,— зашептала хозяйка, сменив скатерть и сервируя стол.— С небольшими перерывами. Одни уходят, другие приходят. Всю солидную клиентуру распугали. Что будете пить, господин вахмистр?

— Мозельское.

— У меня как раз есть хорошее. Недавно получили. Водки?

— Рюмочку яблочной, пожалуйста.

— Есть телячьи почки, рольмопс, жареные миноги, гусиные потрошки.

— На ваше усмотрение, фрау, как всегда...

— Хлебный суп? Или из бычьих хвостов?

— Право, не знаю...

— Может быть, горячий гороховый с жареным луком, свиными шкварками и сухариками?

— Пожалуй...

— А на десерт я принесу вам деревенской яблочной водки и,— она понизила голос,— свежей земляники со взбитой сметаной.

— О, фрау Войте, в такое время?

— Да, господин вахмистр, только для вас... Эти потребовали,— она двинула локтем назад,— сосиски с капустой, редьку и бычьи головы. Пьют только пиво и водку. Они просто оккупировали мой ресторан!.. И если б вы знали, что они говорят,— закусив нижнюю губу, она покачала головой.— У-ух! Даже страшно становится. Хорошо все-таки, что вы работаете в полиции, господин вахмистр.

— Не согласитесь ли выпить со мной вина?

— С удовольствием, господин вахмистр, я велю подать вишневой настойки и приду к вам.

Когда вахмистр расправился со свежайшим рольмопсом и застывшими в дрожащем янтарном желе миногами, фрау Война подсела за его столик.

— Прозит! — улыбнулся Лендциан, поднимая запотевший стакан с холодным зеленоватым мозельским.

— Прозт! — как истая северянка произнесла фрау Войте и пригубила густой, почти черной вишневки.

— Так вы говорите, милая фрау, они прочно стали у вас на постой?

— Да, господин вахмистр. Вот уже четвертый день. Сначала это было терпимо. Забегали, уходили, брали с собой бутылки. Но со вчерашнего дня прямо осатанели.

— Но ведь вчерашний день, кажется, был особенный?

— Вот именно.— Фрау Войте отставила рюмку и поджала губы.

— Вы тоже имеете в виду...— вахмистр не договорил.

— Это самое... Конечно, не будь вы нашим постоянным клиентом и господином вахмистром, я бы не решилась... Времена, сами понимаете, наступают нелегкие, и...

— Полно, фрау Войте, со мной вы можете быть откровенны.

— Я знаю, господин вахмистр, что вы приличный человек, я отношусь к вам как к другу.

— Знаю и ценю, милая фрау,— отложив вилку, вахмистр доверительно притронулся к локотку собеседницы.

— Видите, один там на полу? — Лендциан кивнул.— И другой в расстегнутом кителе у окна? — Вахмистр краем глаза глянул на растрепанного эсэсовца, который пытался что-то выдуть из губной гармошки.— Это Вебер и Симон. Я их давно знаю. У Вебера неподалеку лавка. Он фармацевт и торгует мылом. Теперь он в СС. Торговлю ведет его жена, тихая такая женщина... Они бывают у нас в ресторане. А Симон — просто беспутный малый, хотя его родители почтенные люди. «Скобяная торговля Симон и сын». Может, видели?

— Нет, фрау, не видел.
— Это в Далеме.
Лендциан понимающе кивнул.
— И что же они — эти Вебер и Симон, фрау Войте?
— Так вот, они к нам часто забегают. Особенно в последнее время. Это не удивительно, мы-то знаем, что они служат в охране дворца господина Германа Геринга. А то, что они всегда под пара́ми, так это от воспитания. Такая нынче молодежь...— Фрау Войте вздохнула и покосилась на сдвинутые столы.— Но вчера вечером, около десяти, они ворвались к нам совершенно невменяемые. Уж на что я привыкла видеть их во всяком состоянии, так и то испугалась. Они потребовали десять бутылок водки и шесть ящиков дортмундского пива... Может быть, выпьете кружечку, господин вахмистр?
— Благодарю вас, лучше вина... Немного погодя.
— Сразу видно, что вы южанин, господин вахмистр. Наше заведение не какая-нибудь бирштубе, но я, конечно, держу и пиво. Берлин все-таки...
— Они, значит, взяли шесть ящиков.
— Да, господин вахмистр, шесть! И десять бутылок водки. И как вы думаете, надолго им хватило? Конечно, я не знаю, сколько их там было. Сейчас вон их четырнадцать. Да... Через час — полтора, когда мы закрывались, они ворвались опять. Но на вынос уже не брали, а сдвинули столы... Так с тех пор и сидят.
— Что, со вчерашней ночи?
— Да, господин вахмистр. В четвертом часу разлеглись прямо на столах, точно здесь казармы, а не солидное заведение... А с утра опять пьют.
— Надо было вызвать полицию.
— Полицию?! Да что вы, господин вахмистр. Это же СС! К тому же, они заплатили. Арендовали ресторан на всю ночь.
— О! Видно, большие деньги завелись.

— Вот именно! Вебер похвалялся мне, что исполнилась его мечта,— теперь он сможет стать владельцем первоклассной аптеки. Я спросила, где он заработал такие деньги. «Это награда»,— похвастался он.

— Недурная награда! — вздохнул Лендцнан, вспомнив свои пятнадцать монет.

— Меня это тоже удивило... Хотя чему удивляться? В нынешние-то времена... Я никогда никого не выспрашиваю, господин вахмистр. Но вчера не удержалась — уж очень они веселились, буквально с хохоту покатывались — и спросила Вебера, чему они так рады. А он как стукнет полной кружкой об стойку: «Теперь мы с ними разделаемся!» Я поинтересовалась, о ком идет речь. Он вытер с себя пиво и сказал с усмешечкой: «О коммунистах». И тут же спьяну понес околесицу о каком-то подземном коридоре при котельной, где они видели поджигателей. Тут к нам подошел еще один, противный такой, тоже бывал у нас иногда. Имени его я не знаю, но очень противный, из штурмовиков. А на носу у него жуткий шрам от бутылочного горлышка. Что вы, господин вахмистр? Принести что-нибудь?

Лендциан незаметно для себя привстал и наклонился к фрау Войте.

— Нет, нет, благодарю вас. Я слушаю.

— Значит, этот облокотился о стойку и передразнивает Вебера: «Мы, мы и ты больше всех, конечно? А я где? Ты лучше руки мои понюхай!» И сует Веберу под нос грязные свои ручищи. «Чем пахнет? Духами?» Вебер его оттолкнул: «Заткнись сейчас же!» А тот не унимается: «Никого не обошли, никого! А я? За что меня-то лишили? Ну, споткнулся, бывает, так нельзя же всего лишать? Эх, Вальтер, это ты группенфюреру...» Но Вебер не дал ему договорить и как въедет кулаком в лицо. Я тут же убежала. А когда вернулась в зал, того, со шрамом, уже не было: ушел или свои увели.

— Какой он из себя, со шрамом? Темный, светлый?
— Блондин. Лицо длинное и зубы большие.
— Высокий, низкий?
— Высокий. Повыше вас будет.
— Так... А почему вы его противным назвали?
— А это, господин вахмистр,— зашептала фрау Войте,— я только вам, в большом конфиденсе, сказать могу. Позавчера, накануне, значит, событий, были у нас постоянные клиенты, господа Кирон и Лойхтер. Оба работают во дворце: Кирон — слесарем, а Гуго Лойхтер — швейцаром. Ах, как они этого типа честили, если бы вы только слышали! Он такое вытворял! Уж так себя показал! Запугивал всех. Каждому пистолет в лицо наставлял.
— Кому это каждому?
— Прислуге дворцовой, истопнику, горничным, Кирону и Лойхтеру. Горничных по щекам хлестал. А все почему, господин вахмистр? Одна уборщица заметила, что в туалете долго горит свет. Взломали дверь и нашли там Карла Вильде, швейцара,— мертвого... Хороший был человек. Старый наш клиент. Каждый день забегал кружечку-другую пропустить — ведь рядом. Гуго Лойхтер говорит, что если бы в тот день дежурил не Вильде, а он сам, то убили бы его. Понимаете? Убили! Охрана-то сказала, что здесь самоубийство. Но никто из прислуги не поверил. Что они, Вильде не знали? А тот, со шрамом, велел всем молчать и стал пистолетом запугивать. Очень даже противный тип, страшный.
— И что же все это значит, фрау Войте?
— Не моего ума это дело, господин вахмистр. Одно скажу вам: мне страшно. Знаете, что еще этот, со шрамом, сказал Веберу?
— Да, фрау Войте?
— Он у Вебера денег требовал, а тот грозился пристрелить его как собаку. Тогда он и говорит Веберу: «Ты мне в долг дай, я отдам. Мы с тобой большое дело можем

сделать. Один знакомый сказал мне, где прячется крупный, очень крупный зверь: награда большая будет». А Вебер: «Ну так иди и бери эту награду, а меня оставь в покое». Но тот не отстает: «За этим зверем сейчас агент Шнейдер охотится, он его почти выследил». «Ну, ладно! — сдался Вебер.— Назови имя и адрес, а там посмотрим». Здесь-то он все ему и выложил: «Адрес точно не установлен, нужно поработать денька три. А имя... Дай хоть пятьдесят марок в счет аванса». Вебер дал. Тот и говорит: «Тельман. А знаю я это от приятеля из штаба Берлин-Вест. К нему ходит некий Герман Хилигес. Он и донес, что случайно видел Тельмана в соседней квартире... Теперь ты все знаешь». «Почему же его не взяли?» — спросил Вебер. «Сейчас его там нет, скрывается где-то поблизости. Хотели сделать облаву, но боятся спугнуть. Да и делиться тогда придется со многими. А так нужно только Шнейдеру заплатить, чтобы отступился — он про Хилигеса ничего не знает. Вот и остаемся мы с тобой, мой приятель и Хилигес. А награда ожидается большая».

— Понятно, фрау Войте, все понятно. Только лучше молчать об этом.

— Разве я не понимаю, господин вахмистр? Одному лишь вам... И то всего говорить не хотела. Я ведь не убежала тогда из зала, когда Вебер в драку полез. Присела за стойку и все слышала...

Радиограмма полиции

28.2.33

Арестовать нижепоименованных членов Центрального Комитета Коммунистической партии Германии: 1) председателя партии транспортного рабочего Эрнста Тельмана, род. 16.4.86, Гамбург, прож. Берлин, Шарлоттенбург, Бисмаркштрассе, 24, прописан у г-на Ковальского; 2) редактора Франца Далема, род. 14.1.92, Рорбах, прож. Берлин, Грейфсвальдерштрассе, 147...

11) секретаря ЦК партии Вильгельма Пика, род. 3.1.76. Губен, прож. Штеглиц, Шаденруте, 2; 12) рабочего-металлиста Вильгельма Флорина, род. 16.3.94, Кёльн-Полль, прож. Берлин, Вернейхенерштрассе, 17, в качестве квартиросъемщика.

Глава 8

Геринг и Гейдрих

Вечером 2 марта министр-президент Геринг вызвал к себе исполняющего обязанности заместителя начальника прусского гестапо Рейнгарда Гейдриха, шефа берлинского гестапо Дилса и генерала СА Шиля. Первым он принял в своем кабинете Гейдриха.

От бессонных ночей и без того одутловатое лицо Геринга еще более обрюзгло, четче обозначились темные круги вокруг глаз. Но зрачки были расширены и лихорадочно блестели. Взбодренный порцией наркотика, Геринг, казалось, не чувствовал усталости. Движения были четки, даже несколько лихорадочны, в голосе проскальзывали довольные бархатистые нотки.

— Кажется, вы вчера выражали некоторые опасения, дорогой Гейдрих? — министр откинулся в кресле и, сцепив пухлые, неестественно белые пальцы, вытянул руки.— Только вперед! Только вперед! Чем грандиознее спектакль, тем менее заметны ошибки статистов. Главное — это гениальный замысел режиссера. Мир — это воля и представление. Не помню, кто это сказал... Ну да вы, наверное, знаете, Гейдрих.

— Шопенгауэр, экселенц... Что же касается ошибок статистов, то они, к счастью, в пределах нашей компетенции.— Гейдрих раскрыл лежавшую на коленях папку.— У обер-брандмейстера действительно обнаружились кое-какие грешки. Пока мы не приняли мер, но в нужный момент...

— Да-да! — удовлетворенно кивнул Геринг.— Дальше, пожалуйста.

— Непосредственные исполнители ведут себя несколько шумно, что нежелательно. Рейхсфюрер Гиммлер уже дал это понять. Что же касается коллег из СА, то, боюсь, здесь дурной пример подают люди, которые по своему положению должны бы служить примером для подчиненных.

— Это не наша забота, Гейдрих. Вы же знаете, фюрер принимает близко к сердцу все, что касается его личного друга.

Геринг не назвал Рема, и Гейдрих это отметил. Очевидно, здесь было нечто большее, чем простая ревность к человеку, который стал в свое время начальником штаба штурмовых отрядов, оттеснив при этом Геринга.

— Фюрер вручил мне меч против врагов национал-социализма,— после некоторой паузы продолжил Геринг и, повернувшись в кресле, довольным взглядом окинул недавно приобретенный антик: прикованный к стене топор средневекового палача из города Регенсбурга.— Поэтому я и говорю своей полиции: стреляйте, стреляйте, стреляйте!

Гейдрих не уловил в этой тираде связи с предыдущим и насторожился.

— Врагов мы будем искоренять без пощады.— Геринг сделал отстраняющий жест.— К искренне заблуждающимся применим меры перевоспитания. Мы теперь правящая партия. Цели борьбы остаются прежними, но тактика меняется. К сожалению, часть — уверен, ничтожная часть — старых борцов этого не понимает. Тут нужна разъяснительная работа.

— Понимаю, экселенц. Вожди СА партайгеноссен Карл Эрнст или Эдмунд Хайнес — лучшие люди нации. Случайная, как вы метко выразились, ошибка статиста не может бросить на них тень. Но моя обязанность

думать о том, как устранить такие ошибки, раз уж они обнаружились.

— Вы глубоко правы, дорогой Гейдрих! Это наша святая обязанность. От вас у меня нет секретов, и вы знаете, как озабочен фюрер и партия некоторыми нездоровыми тенденциями, которые проявились в последнее время среди наименее сознательных участников национал-социалистского движения. Что у вас?

— Речь идет о так называемом деле Вёля, экселенц. Он состоит в четырнадцатом штандарте СА Берлин-Вест.

— Помню. Он был допущен к участию в операции.

— Совершенно точно, и показал себя хорошо. Но на другой день оказался замешанным в уголовном деле.

— Что именно?

— Ограбление с изнасилованием. К тому же потерпевшая в тяжелом состоянии. С трудом удалось замять дело и избежать широкой огласки.

— Ну, я думаю, это дело его непосредственного начальника.

— Не совсем, экселенц. Группенфюрер СА Карл Эрнст уже наложил на Вёля дисциплинарное взыскание, но это лишь усугубило дурные последствия.

— Говорите яснее, Гейдрих!

— В пьяном виде Вёль разболтал случайным собутыльникам весьма деликатные моменты операции.

— Что?! — побагровев, взорвался Геринг.

— Кроме того,— бесстрастно продолжал Гейдрих,— он оказался причастным к акции, проводимой штабом СА Берлин-Вест совместно с нашими людьми.

— Арест Тельмана?

— Да, экселенц. Здесь Вёль наделал непоправимых глупостей.

— Птичка улетела?

— Своевременное вмешательство...

— Хорошо. Об этом после. С Вёлем все?

— Нет. Поступили сведения, что он намерен пойти на шантаж и угрожает серьезными разоблачениями.

— Он что, спятил?

— Вчера он был замечен в обществе советника французского посольства Жироду. Беседа длилась сорок минут в кафе Ашингера. О чем шла речь, установить не удалось.

— Ликвидировать.

— Если Рем проявит неудовольствие, вы меня прикроете?

— Само собой разумеется.

— Благодарю, экселенц. К счастью, вмешиваться не придется. Сегодня утром Вёль попал под автомобиль. Водитель скрылся. В крови погибшего найден большой процент алкоголя.

— Моя полиция действует расторопно! А, Гейдрих? Так где Димитров?

— Кельнер одного из ресторанов, член партии с 1929 года, Гельмер, увидев в газете портрет каменщика Ван дер Люббе, пришел в полицию дать показания, что видел означенного каменщика в обществе человека с эффектной запоминающейся внешностью. Нарисованный Гельмером словесный портрет совпадает с приметами Димитрова, он же Рудольф Гедигер. Приняты меры к задержанию.

— Главное, чтоб не ушел! У вас все, Гейдрих?

— Все, экселенц.

— Тогда прошу вас задержаться и принять участие в обсуждении вопроса о Тельмане.— Геринг нажал кнопку на телефонном столике.

В кабинет вошли Дилс и Шиль. Отдали нацистский салют.

— Хайль Гитлер! Садитесь, господа,— пригласил Геринг.

— Разрешите доложить, экселенц? — сидя согнулся в полупоклоне Дилс.

— Начинайте,— кивнул Геринг и стал ковырять в зубах серебряной зубочисткой.

— В качестве отвлекающей меры мы послали двадцать восьмого февраля наряд полиции на Бисмаркштрассе, двадцать четыре,— официальную квартиру Эрнста Тельмана в Берлин-Шарлоттенбурге. Хозяйка квартиры заявила, что (цитирую) «господин Тельман две недели назад уехал по своим делам и с тех пор не дает о себе знать». Во время обыска на письменном столе Тельмана были обнаружены и конфискованы брошюры «Долой Гитлера!» и «Церковь и коммунизм». Хозяйка квартиры арестована. За домом ведется наблюдение. У меня все, экселенц.

— Теперь вы, Шиль.— Геринг демонстративно повернулся к нему боком, спрятал зубочистку и, выдвинув ящик, начал сосредоточенно копаться в бумагах.

Гейдрих хорошо ориентировался в создавшейся обстановке. Доклад Шиля он слушал, как всегда, внимательно.

— Агент гестапо Пауль Шнейдер доносит,— монотонно бубнил Шиль,— что он напал на след Тельмана. Тельман (цитирую, экселенц) «днем и ночью находится в районе Шарлоттенбург, Лютцоверштрассе, девять, в квартире членов КПГ Ключинских, которые ранее также прятали у себя коммунистов, перешедших на нелегальное положение. Хозяин квартиры Ганс Ключинский, инвалид мировой войны, находится почти постоянно в Гатове под Берлином на своей даче, где помещается склад оружия и коммунистической нелегальной литературы».

— Это все? — любуясь холеными ногтями, спросил Геринг. Голос его упал, взгляд делался все более тусклым. Вновь давала знать о себе усталость последних горячих деньков и лихорадочных ночей.

— Еще два момента, экселенц.

— Давайте.

— Сегодня утром, то есть второго марта, в одиннадцать часов сорок минут, в полицейский участок явился некий Герман Хилигес и сообщил, где скрывается Тельман. Адрес тот же: Лютцоверштрассе, девять, квартира Ключинского.

— Это нам известно, генерал,— вмешался Гейдрих.— Нас больше волнует вопрос о координации действий СА и полиции. Тут не все благополучно. Агент Шнейдер, в частности, жаловался на известные препятствия.

Шиль заерзал, сложил досье и промокнул лоб сложенным вчетверо платком.

— Штурмбанфюреру Пробсту уже было указано,— он аккуратно прокашлялся.— В настоящее время все трения устранены...

— У вас нет сведений насчет этого...— Гейдрих сморщил лоб, словно что-то усиленно пытался припомнить.— Вёль? Так, кажется?

— Штаб СА Берлин-Вест уже отдал приказ о его задержании. Ведутся розыски.

— Поставьте нас в известность.— Геринг поднял палец.

— Непременно, экселенц,— с видимым облегчением вздохнул Шиль. — Позволю себе добавить, что Пробст направил в штаб донесение о подготовке ареста Тельмана, в котором уточняются агентурные данные о его местонахождении и содержится запрос по поводу вознаграждения.

— Кто бы мог подумать, что из-за этого вознаграждения может завариться такая каша! — возмутился Геринг.— Свалка. Соперничество. Мерзость... Да, мы назначили вознаграждение за Тельмана, и оно будет выплачено. Но передайте вашим людям, что руки у них должны быть чистые! Надеюсь, я больше не услышу, что кто-то пытается подкупить, дать отступного... Это политическая борьба, а не черная биржа! СС это тоже касается, Гей-

дрих! — нахмурился, может быть, чуть сильнее, чем следовало, Геринг.

— Слушаюсь, экселенц.— Гейдрих почтительно склонил голову.

— Я немедленно доведу до сведения штаба ваше пожелание, экселенц,— заверил Шиль.

— Не пожелание — приказ, — осторожно поправил Гейдрих.

— Так что же вы ответили насчет награды? — поинтересовался Геринг.

— Я написал, что буду только приветствовать, если это денежное вознаграждение получит отряд СА в Шарлоттенбурге.

— Хорошо! — подытожил Геринг. — Пусть победит достойнейший. Только действуйте в полном контакте и товариществе с моей полицией. И помните: операция строго засекречена!

— Настолько засекречена,— заметил Дилс,— что гестапо рекомендует не выписывать ордера на арест. Достаточно одного приказа.

— Правильно, — одобрил Геринг. — Мы посоветуем прокурору Миттельбаху признать арест законным задним числом.

— Когда назначена операция? — спросил Гейдрих.

— Мы планируем на восемь ноль-ноль.— Дилс зачем-то глянул на часы.

— Лучше в шесть,— посоветовал Гейдрих.

— Хорошо, в шесть,— согласился Шиль.

— Итак, третьего марта в шесть ноль-ноль,— подытожил Геринг.— Держите нас в курсе дела. Благодарю вас, господа.

Генералы откланялись и пошли к дверям. Но на полпути Гейдрих сошел с голубой ковровой дорожки и возвратился к столу рейхсминистра. Подождав, пока за дверью скрылась черная фигура Дилса, предупредительно

пропустившего Шиля вперед, он доверительно спросил:

— Как быть с недавним сообщением рейхслейтера Геббельса, экселенц? Боюсь, что своими действиями мы дезавуируем его. Факт задержания Тельмана на конспиративной квартире опровергнет сообщение о его бегстве в Голландию. Может быть, стоит уведомить доктора Геббельса о предстоящей операции?

Геринг молчал. На черном фоне мундира лицо Гейдриха казалось ему меловым.

— Как гаулейтер Берлина он должен быть посвящен в операцию,— не выдержал долгого молчания Гейдрих.— Пропагандисты смогли бы подготовиться.

— Безусловно. Но рейхслейтер опытный пропагандист. Он найдет что сказать. Поэтому воздержимся.

Геринг хотел было добавить, что Геббельс еще припишет арест Тельмана себе, но промолчал. Он, как и Гиммлер, не любил Геббельса. Но не спешил объединиться против министра пропаганды с рейхсфюрером СС. Блокироваться еще на одном фронте было, пожалуй, опасно. Это могло сковать, лишить маневренности. Всегда лучше оставить запасной ход, чтобы при случае отыграть назад.

Гейдрих еще раз резко, по-прусски, дернул головой и, повернувшись четко, как на параде, широким уверенным шагом пошел к белым дверям с позолоченными амнирными ручками.

«Неужели боров сомневается в том, что Тельман будет взят?» — подумал он.

— Простите, группенфюрер,— остановил его Геринг.— Еще один момент... Попрошу вас лично проследить вот за чем. Мне нужен живой Тельман.— Он сделал на слове «живой» ударение.— На процессах должны быть обвиняемые, а не их тени. Вам ясно?

— Да, экселенц,— Гейдрих остался у дверей и лишь повернулся к Герингу лицом.

— Знаете что? Сделаем лучше так. Пусть арестует полиция, а штурмовики примут участие, ну, скажем, в оцеплении. Так будет лучше.

— Понимаю, экселенц.— Гейдрих позволил себе легкую ироническую улыбку.— Вам нужен живой Тельман для процесса, а на штурмовиков в таких делах полагаться трудно. Пусть поэтому им займется полиция.

— Вы меня поняли правильно.

Радиограмма

Всем управлениям государственной полиции:

1. На основании § 7 распоряжения от 4.2.33 полиции надлежит наложить арест на все листовки, плакаты, местные газеты и тому подобные печатные издания КПГ и конфисковать их.

2. Всех коммунистов — депутатов ландтага Тюрингии и всех функционеров КПГ в соответствии с § 22 распоряжения от 4.2.33 и § 86 уголовного кодекса в интересах общественной безопасности арестовать.

3. Произвести тщательные обыски у всех функционеров Коммунистической партии, так как они подозреваются в подготовке к совершению изменнических действий.

Глава 9

Берлин, полицай-президиум, Александерштрассе, 5/6

Холодное и солнечное утро 3 марта. Небо светится весной, и тротуар, еще грязный и пыльный, по-весеннему светел. Черные длинные тени строго ломаются на нем. Люди спешат, особенно женщины в тонких чулочках от Бемберга. И ветер стремительно гонит их все дальше. Морозец пощипывает, а ветер поры-

висто задувает, и колючая пыль летит по площади от универмага Тица, мимо Вертгейма, на Кёнигштрассе, где потише. Но колдовское невероятное утро гонит людей из темных улиц к яростному свету и распахнутому простору площадей. И пути их пересекаются на Александерплац, на Алексе.

Грохочут колеса по рельсам падземки — штадтбана. От вокзала к Яновицскому мосту паровозы, пыхтя, набирают скорость, а ветер сдувает с черных труб клочки облаков, дышащих углем, разогретым металлом и маслом. Встречные поезда тяжело и натужно сбавляют ход и, кажется, бесшумно почти ползут вдоль кирпичных домов. А над крышей «Прелата», где подают знаменитое пиво «шлосброй», тормозная судорога с лязгом пробегает от вагона к вагону.

Из восточных районов Берлина сбегаются сюда трамваи. На дугах, как на мачтах, трепещут голубые огни. Из фешенебельного Вестена — автобусы. Машины — с юга и с севера, из Панкова и Штеглица.

Автобусы и трамваи везут передачи. Машины везут арестантов. Это — сердце Берлина, Алекс: полицай-президиум и следственная тюрьма.

Но каковы времена? Нынче за счастье считают попасть в Алекс. Это вам не казармы СА — жуткий, леденящий кровь «Колумбиа-хауз», где, заглушая вопли людские, днем и ночью орет патефон: «Вахт ам Рейн» и «Юбер аллес». Алекс — это воспоминание, это призрак кайзера и Веймара. Сюда доставляли на «зеленом Гейнрихе» тех, кого до суда формально считали вполне порядочными людьми.

Германия — олицетворение порядка, Алекс — оплот Германии. Петь, свистеть и шуметь запрещается. По сигналу к подъему немедленно встать, убрать койки, умыться, причесаться, вычистить платье и одеться. Мыла отпускают достаточно. 5.30 — подъем! 6.00 — отпирают

камеру. Поверка. Завтрак. Работа. Обед... В 18.00 камеру запирают — до следующего утра. До следующего удара колокола. И человек может быть уверен, если только не отдаст ночью душу творцу, что утром услышит колокол. Ровно в 5.30.

Нет, Алекс — это не «Колумбиа-хауз»...

Отряд из двадцати полицейских под командованием лейтенанта ворвался в то утро в квартиру Ключинских. Тельману сразу же надели наручники. Но и после этого полицейские не убрали оружия. Все так же, с пистолетами в напряженных руках, отконвоировали они его к машине. По иронии судьбы она стояла там, где обычно ждала машина, увозившая Тельмана на тайные встречи.

Его втолкнули внутрь, а два шупо крепко зажали его с обеих сторон, и машина тронулась. Сначала повезли в участок, потом в Алекс.

Когда Тельмана выводили из подъезда, утро только разгоралось. В улицах еще плавал синеватый сумрак. Сухо поблескивали глазурованные льдом сточные решетки. Занавешенные окна были слепы. Только в одном узком оконце на четвертом этаже чуть дрогнула синяя штора. Легкое движение руки, пугливый и жадный взгляд. Неуловимый взгляд предателя.

О чем думал Хилигес в то раннее утро? О награде? Или мимолетный призрак грядущей смертной тоски все же коснулся его? Нет, он не мог знать, что по прошествии лет сунет голову в самодельную петлю и спрыгнет, поджав ноги, с тюремного табурета. Нет, он не мог знать, что страх справедливого возмездия пересилит в нем ужас перед смертью. Но разве в каждом предательстве не отражен отвратительный лик всех предательств и распятий?

Хилигес как был, в носках и кальсонах, крадучись, отошел от окна и сел на постель. Все было кончено. Он видел, как большого, грузного человека с могучей лысой

головой втолкнули в полицейский автомобиль. Но радости не было. И покоя тоже не было.

После полудня Хилигес отправился в участок, где вручил прошение о вознаграждении, коротко перечислив свои заслуги в деле...

А Тельман думал о своей большой ошибке. Он недооценил угрожавшую опасность и не согласился с решением товарищей переправить его в Букков на старую виллу «Охотничий домик Хорридо». Это была ошибка, как теперь очевидно, непоправимая.

Впервые речь о Буккове зашла еще в Нидерлеме, сразу же после пленума. Но Тельман наотрез отказался «лезть в нору».

— Я буду руководить борьбой,— сказал он,— только из Берлина. К тому же, в городе человека труднее выследить. Находясь в Берлине, я смогу быть везде. В Букков же придется посылать ко мне много людей. Нет, со всех точек зрения Берлин лучше,— и тут же заговорил о подпольной работе.

Центральный Комитет заблаговременно подготовился к переходу партии на нелегальное положение.

30 января 1933 года, когда престарелый президент фон Гинденбург сделал Адольфа Гитлера канцлером, Коммунистическая партия экстренно выпустила воззвание.

«В Германии устанавливается кровавый варварский режим фашизма. Массы, не допустите, чтобы смертельные враги немецкого народа, смертельные враги рабочих и бедных крестьян, трудящихся города и деревни осуществили преступление!.. Все на улицы! Прекращайте работу! Немедленно отвечайте на наступление фашистских кровавых собак забастовкой, массовой забастовкой, всеобщей забастовкой!»

Это был своего рода сигнал пустить в ход сложный невидимый механизм явок, конспиративных квартир, под-

польных типографий, секретных складов нелегальной литературы, партийных документов. На границах Чехословакии, Дании и Швейцарии были организованы надежные переправочные пункты — «коридоры». Вся структура партии подверглась коренной реорганизации. Низовые ячейки насчитывали теперь не свыше пяти человек. Между собой ячейки никак не соприкасались. Связь осуществлялась только через инструкторов и уполномоченных вышестоящей организации. Провал одного человека мог привести к провалу ячейки, но не далее. Тут сеть обрывалась.

Казалось, все было предусмотрено: германские и зарубежные центры нелегального издания «Роте фане», коммунистических брошюр и листовок, пути доставки и распространения.

Вновь зашел разговор о вилле в Буккове.

После поджога рейхстага и последовавших за ним массовых арестов Политбюро приняло решение переправить Тельмана за границу, откуда он продолжал бы руководить партией. Отъезд назначили на 5 марта, и, конечно, эти несколько дней разумнее было провести в Буккове...

Ганса и Марту Ключинских Тельман знал еще по Гамбургу. Когда понадобилась конспиративная квартира, он сразу же подумал о Лютцоверштрассе, где обычно останавливался, приезжая в Берлин из Гамбурга.

Узнав, что у них опять будет жить Тедди, Марта первым делом вымыла полы. Потом освободила письменный стол и этажерку, перестелила постель. Некоторое время размышляла над тем, что бы еще такое сделать. Наконец придумала и сменила на окнах занавески. Повесила тюлевые, чтобы, не дай бог, не заметили с улицы. Тедди человек приметный. В Шарлоттенбурге его каждый знает. Да и во всей Германии тоже. Марта сама наклеивала на стены агитационные плакаты с его портретом на прези-

дентских выборах. Поэтому ему и на улице теперь показаться нельзя — сразу схватят. Придется подолгу сидеть в комнате. А он такой подвижный, общительный. Трудно ему будет. Надо придумать что-то, хоть как-то облегчить Тедди вынужденное заточение... Марта перенесла в его комнату приемник, купила пакет хорошего кофе. Конечно, в зернах. Она их поджарит и смелет потом на кухонной мельничке. И, как раньше, сама станет поить по утрам Тедди на кухне.

Но вышло иначе...

Первое время Тельман редко бывал дома. По ночам за ним приезжали, и он дворами перебегал на соседнюю улицу, где его ожидала машина. Чтобы не привлекать внимания к дому, на Лютцоверштрассе старались не заезжать.

Но, как видно, не помогло и это. Они его выследили. И все-таки почему он не перебрался в Букков? Не считал возможным удаляться от центра острейшей борьбы с фашизмом?

Конечно, это сыграло определенную роль. Но было и другое. Какое-то необъяснимое чувство собственной удачи, вера в конечную победу. Тем более, что с Букковом все время поддерживалась связь. Казалось, что в случае необходимости он всегда успеет укрыться в «Охотничьем домике». Необходимость была, а вот укрыться так и не пришлось. Да, необходимость была, настоятельная, грозная необходимость. Но был ведь и азарт борьбы, работа, не оставлявшая времени на раздумье. Уверенность, наконец, что фашизм долго не удержится. Здесь-то и кроется главная ошибка. За нее еще долго и тяжело придется платить...

Накануне поджога гаулейтер Саксонии Мучман истерически вопил, что для ликвидации коммунизма нужна Варфоломеевская ночь. «Без этого не обойтись! — Он был полностью откровенен, этот нацистский сатрап, на ора-

торской трибуне.— Национал-социалисты будут наготове. Никакой жалости! Сентиментальность неуместна!»

В ночь на 28 февраля, в ночь поджога, в одном только Берлине они арестовали тысячи коммунистов...

Уже тогда Тельман увидел, что события застали партию врасплох. Переход в подполье сопровождался страшными потерями. Теперь ясно, что их можно было избежать, уменьшить, во всяком случае. Переоценка своих сил и недооценка врага — одинаково опасны. Особенно такого врага — небывалого, лютого, бесчеловечного.

Все эти дни у Тельмана был постоянный контакт с Димитровым. Последний раз он виделся с руководителем Западноевропейского бюро Коминтерна на конспиративной квартире в Шёнеберге. Кажется, это было 10 февраля. Они обсуждали возможность установления фашистской диктатуры. Георгий не сомневался, что нацисты попытаются взять в свои руки всю полноту власти. Но тогда казалось, что это случится не так скоро. А произошло все быстро и очень просто. Примитивно просто. Конечно, никто не поверил комедии с рейхстагом. Но разве это помешало им? Разве они хоть когда-нибудь обращались к разуму?.. Здесь тоже есть известная недооценка врага... «Кровь, земля и меч» — это зов наглой силы, это вопль во тьму инстинкта.

...Во дворе полицай-президиума партии арестованных выгружаются. Приезжают и уезжают машины. По узкой железной лестнице людей гонят наверх, в широкий и длинный коридор, женщин направо, мужчин налево. Потом обыск. Натренированные агенты ощупывают каждый шов в белье, заглядывают в рот, между пальцев и еще кое-куда. Толкотня, давка, ругань, полицейские орут, угрожают, увещевают...

В канцелярии — стены покрыты олифой, матовые стекла окон зарешечены — за длинными столами сидят чиновники в штатском. Здесь придирчиво изучают доку-

менты, отсюда звонят в полицейские участки и наводят справки. Здесь взволнованные обыском, ошарашенные заключенные должны ответить, кто они и зачем живут на земле. Здесь человек приобретает сомнительные права арестанта...

Тюремный бланк — как пропуск в первый ров, в первый ярус. Документ, к которому прилагается арестованный. Место совершения преступления, в районе какого участка, место задержания, обстоятельства и т. п. Время поступления: утром, днем, вечером. Имя, фамилия, сословие или занятие, число, месяц и год рождения, место рождения, адрес, постоянного адреса нет, арестованный не мог указать адреса, указанный арестованным адрес оказался по выяснении на месте вымышленным. Опись приобщаемых к делу вещественных доказательств, предметов, имеющих отношение к настоящему или какому-либо иному преступному деянию. Опись предметов, оказавшихся при задержанном, которыми он мог бы причинить повреждение себе или другим, как-то: трости, зонтики, ножи, револьверы и т. д.

Какие ножи? Какие трости? Это было давно, на иной планете, в иные времена. Это недавнее прошлое Алекса. Милый его уголовный сон. Тихая греза мрачного квадратного двора.

Этот арестант одинок. Пуст нахмуренный двор, куда не проникает солнце и где нет ветра, а только холод. Пусты лестницы и коридор.

Зверски избитый, весь в крови и грязи, лежал Тельман на каменном полу следственной тюрьмы где-то в подвалах, самый воздух которых пропитался вонючей влагой пропущенного сквозь мясорубку человеческого естества.

Чем измерить и какими словами передать унижение

и боль этих первых часов заключения, которые разрывают циферблаты и корежат стрелки отсчета времени? Мера — это удары сердца. Частые, как паровой молот. Это задыхающиеся от боли легкие. Мера — это количество крови: светлой артериальной и темной венозной, но одинаково густой и солоной, застывающей ржавыми корками на лице. Бешеной вспененной крови, бьющей в виски, разрывающей мозг. Мера — это запас ненависти. Мера — это сила любви.

А слов нет, ибо тюремная цензура черной тушью заливает такие слова. Останутся короткие точные фразы. Без эмоций. Без соленого металлического вкуса во рту. Без тошнотворного запаха. Без осклизлой сырости выщербленного каменного пола.

«На меня надели наручники. Затем — в машину и в ближайший полицейский участок, а оттуда под охраной особой полицейской команды — в берлинский полицай-президиум на Александерплац. Краткий допрос. Никаких показаний. 5 часов ожидания. Наконец я был водворен в камеру тамошней полицейской тюрьмы».

Значит, «это» тянулось пять часов. И назвать «это» можно ожиданием. Здесь есть и мера и слова. Мера? Обычная мера времени — часы, всего пять часов, триста минут, от восемнадцати до тридцати пяти тысяч ударов сердца. Слова? Но что может быть проще и обыденнее скучного слова «ожидание»? К тому же это и впрямь было ожидание. Самое страшное ждало его впереди. И он это знал.

Странное утро, странный день для Алекса — огромной свобододробительной мельницы, скопища человеческих мук. Ветер выдул с жуткого в своей нежной голубизне неба все облака, и солнце беспощадно сверкает над медленно оттаивающим после ледяной ночи Алексом. Люди с рабочего Остена поворачивают назад. Кордоны полиции. Сегодня Алекс не принимает посылок и пере-

дач, сегодня он не дает свиданий. Проходите мимо и по Клостерштрассе возвращайтесь в свой Остен. Даже арестантов не принимает сегодня Алекс. Великий пожиратель свободы замер и притаился.

Вся полицейская машина работала сегодня только ради одного человека. Ради одного узника, которого, согласно приказу, не должен был видеть никто. Кроме участников операции, разумеется... О его задержании было немедленно сообщено по телеграфу всем органам полиции: «Тельман арестован». К сему присовокуплялось: «Необходимо продолжать контроль за всеми прибывающими из-за границы пассажирами».

Глава 10

Гамбург, Тарпенбекштрассе, 66

Ветры принесли на побережье теплый воздух с Гольфстрима, дышащий влагой и электричеством далеких океанических гроз. Набухли почки буков и лин. Отчетливей ощущался запах рыбачьих причалов. Портовые чайки залетали далеко в город.

Таких домов, как этот, в районе Эппендорф много. Серый, массивный, он смотрит большими окнами на две улицы. Внизу магазины, на остальных четырех этажах живет трудовой гамбургский люд. Ничем не отличается этот дом от других — ни крохотными окошками на лицевых скатах черепичной крыши, ни балкончиками, на которых стоят ящики с белыми и розовыми азалиями. Но нет в городе человека, который бы не знал, что здесь живут Тельманы.

У входа в подъезд эмалированная табличка: «Тарпенбекштрассе, 66». Узкая винтовая лесенка, гулкая, полу-

темная, круто уходит вверх. На каждом этаже три квартиры. Третий этаж, правая дверь. Здесь...

За дверью — тесный коридорчик, две смежные комнаты с балконом слева, кухня и комната — справа. Здесь уже знают, что Тельман арестован. Что-то горькое носится в воздухе, душит, царапает горло. Нависшее над домом ощущение беды. Ожидание.

Фортка на кухне открыта, и черный пепел разметался по всей квартире. Это испытывают новую печь. Старая вконец развалилась.

Она и так была капризна. Последние же дни Роза не давала ей отдыха. Набивала бумагой и жгла. Кладка не выдержала и дала трещину. Вниз заструился тяжелый синий дым. Роза и маленькая Ирма вынесли ее по кирпичику, тайком. Хозяин дома, конечно, ничего не должен знать. Теперь вот друзья сложили новую. Неизвестно, даст ли она много тепла зимой, но пока греет и бумага прогорает в ней быстро. А это сейчас главное. Пачка за пачкой сгорают в огне, но когда Роза открывает дверцу, чтобы подбросить еще, в красных раскаленных глубинах вдруг что-то стреляет, вспыхивают голубые огни, и черные хлопья вылетают наружу. Роза едва успевает захлопнуть чугунную дверцу. Подхваченная сырым ветром гарь несется по комнате, как черный снег.

Нет, видимо, придется подождать, пока все прогорит, решает Роза, потом еще положу. Она тщательно отмывает руки от сажи и выходит на балкон. Город встречает ее смутным гулом. Это похоже на поднесенную к уху раковину. В порту ревут пароходы, грохочут краны, бочки и ящики, утробно сигналят автомобили, воркуют голуби, кричат чайки. Ну и ветер! Того и гляди, сорвет у соседей белье. Клочья бумаги, точно птицы, взмывают в поднебесье, где круто перемешиваются мутные облачные волокна.

Печь, наверное, прогорела, надо вернуться в комнаты,

но Роза свешивается и смотрит вниз. Ветры подчистую вымели всю площадь.

Площадь... Гамбуржцы между собой называли ее «Красной». Может быть, в честь Эрнста, может быть, потому, что здесь так часто собирались коммунисты. Впрочем, разве это не одно и то же? Ведь так или иначе, название связано с Эрнстом. В день его рождения сюда уже спозаранку стекались со всего города люди с подарками. Эрнст сетовал, что не может пригласить всех в дом, смеялся и, крепко обняв Розу, тащил ее на улицу, поближе к гостям. Он был их Тедди.

Последние годы, став председателем партии, он жил в Берлине и редко бывал дома. Но, несмотря на всю занятость, не пропустил ни одного крупного мероприятия гамбургского окружкома. Комитет собирался по субботам, после обеда. Поэтому Тельман приезжал в Гамбург в пятницу, вечерним поездом Берлин — Гамбург — Альтона, отходящим в 21.05 с Штеттинского вокзала.

Но редко кому удавалось застать Тедди в субботнее утро дома. С рассветом он уходил в гавань. Бродил по докам и эллингам, складам угля, досок, бидонов с горючим и бочек, забредал в крохотные кабачки, в освещенные керосиновой лампой таверны, где так любят посидеть портовые рабочие. Он и сам остался таким же портовиком, знающим каждый закоулок в городе из досок и мешков. Брал, как все, «Большую Лизу» — кружку на добрых два литра или, если задувал норд-ост, стаканчик крепкого грога и, присев за чей-нибудь столик, тут же включался в разговор. Он был здесь свой, его приходу радовались, но не удивлялись, как не удивляются люди нормальному течению жизни. Городские новости он узнавал из первых рук. А то, что происходило в Берлине, Москве, во всем мире, портовики узнавали от него.

Из гавани портовый рабочий Тельман направлялся в Винтерхуде, в квартал, где были прачечные. Ему при-

шлось когда-то поработать и там. Возчиком. Поэтому и в Винтерхуде он знал каждого. Когда же подходило время обедать, он шел в трактир неподалеку от драгунских казарм. С незапамятных времен этот трактирчик на пять-шесть столиков был резиденцией возчиков. Такое же заведение содержал когда-то и его отец. Роза никогда не ходила туда вместе с ним. Но она очень ясно видит, как это происходило.

Он заходит, приподнимает за козырек свою рабочую фуражку с черным витым жгутом, здоровается за руку с хозяином Маком, обходит столики, каждого называет по имени, хлопает по плечу, по пузу — у кого есть, вышучивает, хохочет.

Это не забегаловка, это серьезное место, трактир возчиков. Сюда не заскакивают на минуту опрокинуть рюмку пшеничной водки. Рабочему человеку ведь надо и плотно поесть! Мак это понимает. Недаром стоит он за стойкой вот уже третий десяток лет. Ну и время бежит! Но разве так уж всевластно время? Слава богу, все живы, и дела, как будто, идут неплохо.

Как-то сам собой забывается берлинский диалект, и Тедди говорит, как и все здесь, только на гамбургском — соленом, пронзительном. Он садится в углу и, хлопнув ладонью, широкой и крепкой, кричит: «Бульон и жаркое с яйцом!». И Мак тут же встает из-за стойки, но не суетится, а как-то плавно, хоть он и грузен, скрывается в кухне. Так пропадает из глаз, заходя за мол, большой сухогруз. А потом он выносит жаркое по-гамбургски, с пылу, с огня! Тедди спешит обмакнуть хлеб, пока пузырится белок и скворчат кубики сала. И все уважительно ждут: пусть поест человек.

Но постепенно его берут в окружение. Подсаживаются за столик, придвигают стулья, и начинается неторопливая мужская беседа. Ровно в два он встает, пожимает собеседникам руки и с кружкой в руке идет к стойке.

Допивает пиво, ставит кружку и, достав кошелек, рассчитывается.

Теперь он пойдет, отдохнувший и сытый, жадно вдыхая морской воздух, на Валентинскамп, где находится окружком. Над входом часы со звездой, и красное полотнище свисает с окон.

Роза знает все его излюбленные маршруты. Сколько раз она мысленно следила за ним, когда он уходил. Вот и сейчас, стоя на балконе, она не видит серых клубящихся туч над зубчатыми крышами. Небо словно распахнулось. В этом сила воспоминаний, цепкая, сладкая власть. Они раздвигают тесные стены, небо, улицы, само время.

Все эти дни она просыпалась по утрам с ясным, физическим ощущением беды. Как предчувствовала, так и случилось. Пятого марта, в день выборов в рейхстаг, к ней подошел товарищ по партии. Даже мысленно она старалась не называть имен. Да, к ней подошел товарищ и предложил проводить. Немного отойдя от избирательного пункта, он сказал: «Роза, в «Гамбургер фремденблатт» напечатано, что Эрнст арестован. Если это правда, то мы получили страшный удар».

Она прибежала домой и тут же, пока могла еще сдерживать слезы, рассказала дочери. «Не горюй, мама,— Ирма прижалась к ней.— Не горюй. Я этому просто не верю. Ты же знаешь, что папа скрывается и им его так просто не взять. Как можно верить какой-то газете? Если бы это была правда, мы бы сразу об этом узнали. Берлинские товарищи нам бы сообщили. Разве не так?». «Так, девочка, так!» — она поцеловала ее и вышла на улицу, чтобы побыть одной. Уже тогда она знала, что это правда. Счастливая Ирма, что может так спокойно и твердо не верить.

И вот сегодня утром приехал из Берлина связной, которого она знала по кличке Герберт. «Товарищ Роза Тель-

ман,— сказал он, взяв ее за руку,— поедем вместе со мной в Берлин. Эрнст арестован. Ты должна его разыскать и установить с ним связь».

Вот она и поедет сегодня в Берлин шестичасовым. Покончит с бумагами и начнет собираться. Догадывалась, что едет не на день, не на неделю. Знала, что надолго. Но Ирме и Иоганну Тельману, свекру, спокойно сказала, что едет в Берлин на несколько дней. Они узнают, конечно, но... Пусть это будет позже!

Проводив дочку в школу, она и принялась жечь бумаги. Роза прищурилась, еще раз глянула в слепящее затуманенным рассеянным светом небо и ушла с балкона.

Да, чем позже, тем лучше, решила она, пусть у Ирмы будет хоть одним беззаботным днем больше...

Телеграмма прусского министра внутренних дел.

Потсдам, 11 марта 1933 г.

Секретно!

Всем прусским регируигспрезидентам:

По окончании выборов арестовать всех коммунистов — депутатов рейхстага и лаидтага. Немедленно препроводить их в полицай-президиум в Берлии. Срочио запросить их имеиа у председателей окружных избирательных комиссий. Принять меры для иеукоснительного исполнения распоряжеиия. Список депутатов, которые предположительио будут избраиы, будет доставлен курьером.

Глава 11

Камера № 32

Ордер № 208 о немедленном аресте депутата рейхстага Эрпста Тельмана был выдан только 6 марта. Отныне Тельман превращался в «законного» жильца камеры № 32 в доме печали Алексе. Бесконечные

ночи этого дома, его изломанные, бредовые дни! Вдруг наступает тишина, наполненная неясными шорохами и гулом. Он словно тонет в ней. Она вливается в уши, давит на барабанные перепонки, как темная забортная вода. Далеко впереди, а может быть и совсем близко, высвечиваются тусклые расплывчатые пятна. Что это — память о свете в глазах? Отпечаток выключенной на ночь электролампы? Огни города, просочившиеся сквозь стены? Огни и шумы города?

Грохот железной двери не дает Тельману забыться. Опять эта банда штурмовиков! Это они оцепили улицы в день ареста, набившись в кузов, поехали вслед за полицейской машиной. Они не оставляют его и здесь, в Алексе. Барабанят кулаками в дверь. Грозятся выволочь из камеры и убить. Но он не даст им лишить себя сна! Портовый рабочий любит подремать, когда выдается свободная минутка, под рев гудков и лязг цепей. Пусть себе беснуются. Будем лучше думать о деле!

«Вы находитесь под крайним подозрением в совершении действия, караемого на основании §§ 81—86 уголовного кодекса... в интересах общественной безопасности Вы подлежите заключению под полицейский арест впредь до особого распоряжения».

Итак, «вы находитесь под крайним подозрением». Если сохранилась прежняя процедура, превратить подозрение в доказательство может лишь суд. Надо исходить из этого. Тогда — немедленно адвоката, перо и бумагу. Прежде всего, нельзя допустить, чтобы они перевели его в лагерь. Там уже не будет железной двери, в которую колотят эти выродки, но которая все-таки их удерживает. Нужно отправить письменное заявление на имя генерального прокурора имперского суда. Заключенный, не совершивший ничего противозаконного, должен требовать ускоренного следствия по своему делу. Только так.

Необходимо дать знать Розе. Тельман вытягивается

на узкой койке. Каждое движение все еще отдается тупой болью, унылой ломотой в костях. Ничего, это скоро пройдет, если, конечно, они не вздумают повторить сеанс... Было бы хорошо, если бы она поставила в известность адвоката Хегевиша и поговорила с ним.

Если разрешат писать, надо уведомить Курта Розенфельда из Берлина... Необходимо установить связь! Ах, как чертовски необходимо! Что произошло в мире за эти дни? До сих пор он не получил еще ни одной газеты. Это тяжкое лишение. «Роте фане», конечно, не разрешат... Нечего и мечтать. Впрочем, теперь она стала подпольной. Пусть хоть «Фремденблатт». Подследственный заключенный имеет право на газеты... Как там дома? Что делают Роза, Ирма, отец? Знают ли? Все деньги, включая последние заработки, конфисковали. Семье придется туго... Особенно маленькой. Ей предстоит многому научиться, ко многому привыкнуть. Первый удар нанесет ей, конечно, школа. Но она сумеет постоять за себя. Ирма — смелая, упорная девочка. Когда-то он увидит ее!

То, что случилось, лишь закономерный эпизод в борьбе. Разве он не был готов к аресту? К долгому заточению? Даже к смерти? Ему казалось, что готов. Но арест — это всегда внезапность. Нет, он не готовил себя ни к этой железной камере, ни к зверскому избиению в подвале. Он недооценил стремительную подлость врага. Товарищи были правы. Ему следовало уехать сразу же, как начался террор. Это непростительно, что он дал им себя схватить. Непростительно! Но запоздалые сожаления не должны размагничивать волю. Кто борется за идею, за великую и могучую идею, тот сумеет перенести все. Спокойно, сознательно и с величайшим упорством. Это экзамен на право считать себя революционером. Высокое право. Высочайшее.

Тюрьма не отменяет революционной борьбы. Напротив, обостряет ее. Значит, нужно разработать тактику и

стратегию в новых условиях. Итак, стратегическая задача — во что бы то ни стало сорвать все планы нацистов. А это значит: выжить, победить, выйти на свободу. Да, выйти на свободу, а это подразумевает и выжить, и победить. Теперь — тактика. Ее еще предстоит разработать. Начать придется с мелочей — в тюрьме все вдруг становится важным. Он должен использовать все свое время для подготовки к грядущим боям. Тюрьма — это школа революционера. Он будет учиться, пробьет себе дорогу в тюремную библиотеку. Конечно, нечего рассчитывать на обширный выбор книг. Но иногда ведь и самое скудное приобретает ценность первоклассного. Как сушеные овощи во время войны...

Вагоны. Вагоны. И рельсы — как горячие натруженные клинки. Рассеченное тело Европы. Ее истерзанные, загаженные поля. Веер взрыва. Лопнувший раскаленный воздух. Осыпающаяся земля. Блиндированные окопы. Обожженные лозы Шампани, вздувшаяся вода Соммы, кровавое месиво Шмен-де-Дам, Мец и Верден. Но спадает прилив, и вода возвращается вспять. Забытье госпиталей, заскорузлые бинты. Бессилье, изнеможение. Запах лизола и йодоформа, неизбывный, как тошнота, как режущий свет фитиля в бесконечные, наполненные стоном и скрежетом ночи.

Вот он поднимает голову, полузасыпанный, оглушенный разрывом бомбардир первого батальона двадцатого артиллерийского полка. Серая, пропахшая дымом и вечной сыростью шинель залеплена вязкой глиной. Клейкая желтая жижа налипла на подошвы. В опаленные глазницы въелась земля. И он поднимает голову, распластанный, вмятый в глину солдат. Он осторожно приоткрывает запорошенные глаза, беззащитный, открытый со всех сторон, как черепаха, потерявшая панцирь. Бескрайнее поле вокруг, выжженное, хорошо простреливаемое поле. Впереди обугленные, расщепленные стволы. Это были



деревья. Теперь — начиненные металлом пни. Ржавая, разорванная проволока. Под тусклым ветром дрожат на ней какие-то лоскутки. Рядом, совсем рядом мертвый солдат. Он упал здесь, прошитый пулеметной очередью, когда выполз из окопа, чтобы соединить порванные гранатой концы проволоки. И остался на этой чужой земле. И шесть дней нельзя было высунуться из окопа, похоронить его. Синие шинели французов, серо-зеленые — немцев. Повисшие на проволоке, выброшенные на бруствер, сваленные в воронку трупы. Пугающая тишина. Он задвигался и пополз, щекой касаясь взбухшей от долгих дождей земли. Вот и воронка от снаряда. Глубокая яма с желтой водой на дне. Здесь можно перевести дух. Оглядеться. Кажется, по-прежнему тихо, хотя в ушах еще рвется и лопается кислый горячий воздух. На опушке черного, сожженного леса валяются, задрав к небу колеса, опрокинутые повозки, орудийные лафеты, раздутые и черные от вспузырившейся краски стволы, снарядные ящики. Мертвый лес. Мертвые люди и мертвые лошади.

Он закуривает. Достает из кармана бумажку — потертую на сгибах, запачканную землей. Несколько недель переходила она из рук в руки, пока не попала к нему. Здесь, в раскисшей воронке, где тихо шуршит осыпающаяся при каждом движении земля и хлюпает в воде ошалелая крыса, самое подходящее место для чтения. Воззвание Карла Либкнехта «Главный враг — в собственной стране». Это дойдет до солдат, зарывшихся среди мертвого поля в мокрую, проросшую мохнатыми корешками глину.

Он выглядывает из воронки, согнувшись, быстро перебегает в окоп. Надо передать листовку другому.

Грохот и треск разрывов. Французские гаубицы возобновили обстрел?

Нет, это опять «запсиховали» штурмовики в стальном и каменном коридоре берлинского Алекса.

На войне — как в тюрьме; в тюрьме — как там, под Верденом. Разве начальство не установило тогда строжайшую цензуру? Тельману запретили читать газеты, все его письма просматривались. Но разве это помогло тем, кто отправил на Западный фронт красного агитатора? Разве, получив мобилизационную красную повестку, он перестал быть собой, гамбургским портовиком, сыном своего класса?

Он вернулся, он вернулся тогда домой с этой белой земли, полной крыс и ужей, опаленной, горячей земли. Не дал себя убить и не дал поймать себя за распространением спартаковских листовок. Борьба продолжается. Перед ним все те же смертельные классовые враги. Это они создавали «черный рейхсвер», в добровольческих корпусах шатались по болотам Латвии и Польши, стреляли из-за угла. Убийцы из тайных средневековых судилищ — «фемы», палачи Карла Либкнехта и Розы Люксембург, герои генеральских мятежей и пивных путчей, сегодня они взяли власть над всей Германией.

В ход пущена невиданная машина одурачивания! Политические паяцы, вчерашние уголовники и маньяки не скупятся на обещания. Здесь хлеб голодным и кров бездомным, работа для безработных и война коррупции, обновление духа и возрождение нации. Капитализм вовлек Германию в войну и привел ее к поражению. И вот сегодня его же прислужники взывают к национальной гордости: «Воспряньте, немцы! Разорвите грабительский Версальский договор. Довольно кормить империалистов Антанты!» Голодным, задавленным нуждой людям говорят, что отныне они хозяева своей судьбы, хозяева своей страны, завтрашние хозяева мира. «Германия вновь создаст армию и продиктует свою железную волю потрясенному человечеству!» Преступный бред, наглый обман... Наци кричат о свободе, о революции, о социализме. Вот она, их свобода — тюрьмы для тысяч и тысяч! Железный

ошейник на горло рабочего класса! Вот она, их революция — пьяный дебош, погромы, разнузданный вой на площадях, где сжигаются книги. Они смеют говорить о социализме! Марионетки магнатов угля и стали, цепные псы биржевых воротил из «Клуба господ»...

Но наступит, неизбежно наступит час прозрения. И тогда немецкому рабочему особенно остро будут нужны слова правды. Горькой, беспощадной, всеочистительной. Нужно дожить до этого часа, нужно дожить...

Он засыпает под грохот кулаков по железу и вопли штурмовиков.

(Из секретного циркулярного письма министра внутренних дел от 7 июня 1933 г.)

Как стало известно, в связи с предстоящим в г. Лейпциге 14 и 15 июня 1933 г. процессом над Тельманом, коммунисты собираются провести в эти дни кампанию протеста, а также саботировать органы юстиции. Просьба принять соответствующие контрмеры. Особенно обращаем внимание саксонского правительства. Просим принять необходимые меры по охране имперского суда в г. Лейпциге.

Глава 12

Дедушка Тельман и Ирма

Ирма поймала себя на том, что прислушивается к тишине, словно ждет чего-то. Но чего? Знакомых шагов у двери? Нет, так больше нельзя. Так она больше не может. Конечно, о ней заботятся. Приходят друзья-пионеры, товарищи отца. Но разве этого достаточно человеку? Вот и сейчас она совершенно одна в пустой квартире. Не с кем слова сказать. Вчера пришла из Берлина открытка от мамы. Пишет, что в квартире

на Бисмаркштрассе орудует гестапо. Она уже знает, в какой тюрьме находится отец, но все еще не получила с ним свидания. Ей постоянно отказывают, и она не знает, когда сможет возвратиться домой.

Учить уроки не хотелось. И вообще все валилось из рук. Ирма закрыла учебник, походила немного по комнате, потом решительно тряхнула коротко остриженной головой и пошла к двери. Она заперла замок, заглянула в дырочки почтового ящика — нет ли писем,— насвистывая, выбежала на улицу.

Было хорошо и тепло. Девочки прыгали через веревочку. Старушка кормила под деревьями голубей. Как всегда, когда ей становилось скучно, Ирма решила пойти к дедушке Тельману.

— Что у тебя с лицом, Ирма? — нахмурился он, увидев красные полосы на ее щеке.

Она пожала плечами и, сунув руки в карманы, с независимым видом перешагнула порог.

— Давай попьем чаю, дедушка, — предложила она, входя на кухню.

— Хорошо, детка, сейчас поставлю. Яблочную пастилу любишь?

— Люблю.

— Вот и славно! Ну, рассказывай.— Дедушка весь такой домашний, такой привычный, что она совершенно успокоилась, повеселела.

— Да что рассказывать-то? — усмехнулась она.— Так, поговорили с одной нацисткой.

— Ах, Ирма, Ирма! — вздохнул старик.— Ты же мне обещала.

— Я не виновата, дедушка. Она первая задела меня. Я была очень осторожна, но она первая.

— Как это произошло?

— Помнишь, я говорила тебе, что нам велели явиться в школу на фашистский праздник?

Дедушка Тельман кивнул и зашуршал пергаментной бумагой с пастилой.

— Ну вот... Не пойти было нельзя. Только мы, пионеры и «красные соколы», сели все вместе, в последнем ряду. И когда они внесли свое знамя, когда запели гимн, мы не встали. Учителя приказали нам встать, подталкивали в спину, но я сидела как каменная. Девочки испугались и встали, а я нет. Я одна во всем зале сидела и молчала, когда все стояли и пели. Понимаешь?

Дедушка Тельман только вздохнул и рассеянно поиграл серебряной цепочкой карманных часов.

— И вот вчера меня вызвали на заседание педсовета! — с торжеством объявила Ирма и, достав чашки, принялась разливать чай.

— Тебя исключили из школы? — Дедушка Тельман надел очки в тонкой стальной оправе и стал нарезать пастилу.

— Пока нет,— отпивая чай, покачала головой Ирма.— На меня орали, топали ногами, ты такая да растакая, всей сворой накинулись. Но я молчала. А они все приставали, почему я не встала. Наконец я не выдержала и сказала: «Мой отец невинно посажен в тюрьму. Я никогда не буду петь этих песен». Они и заткнулись.

— Ну, а это откуда? — дедушка бережно погладил ее по щеке.— Смотри-ка, припухло! — нахмурился он.

— Это? — небрежно отмахнулась Ирма. Ей стало жалко деда. Она вдруг увидела, какой он старенький в этой лоснящейся от глажек жилетке, застиранной рубашке без воротничка.— Понимаешь, комсомольцы и «красные соколы» решили устроить нелегальный митинг. За городом, на Борстлерском болоте. Мы с одной девочкой пошли туда вдвоем. Было так хорошо и весело идти, дедушка! Солнце светит, птички поют, сосны — ну прямо благоухают! Как вдруг навстречу нам дылда в коричневой блузе «Союза немецких девушек»,— Ирма перекосила

рот, словно передразнивая кого-то.— Взрослая. Идет и небрежно так арапником по сапогам похлопывает, пыль сбивает, а впереди нее овчарка бежит с черной спиной, большая, страшная. Когда мы поравнялись, она вдруг как толкнет меня, но я не поддалась на провокацию, и мы с подругой молча прошли мимо.

— И правильно сделали.

— Как видишь, не очень-то правильно,— усмехнулась Ирма.— Эта фашистка вдруг как закричит: «Эй ты, Тельман, ты коммунистка!» Конечно, коммунистка, а ты гестаповская сволочь, думаю, но не оборачиваюсь и тихо говорю подруге: «Спокойно. Товарищи близко, митинг нельзя ставить под удар. Кто знает, чего она хочет». Как видишь, дедушка, я в драку не лезла. Но эта стерва, увидев, что мы молчим, бегом догнала нас и стала хлестать меня по лицу. Понимаешь? И свою собаку науськивала. Только собака, видно, оказалась умнее ее. И знаешь, что мне особенно обидно? — она отодвинула чашку и отвернулась к окну, где стояли горшки с резедой.— Там было много взрослых, дедушка! Сидели на полянке, закусывали, пили пиво. Они все видели, но никто не вступился, не отнял у нее плетку. Как же! Она была в форме! Мне потом сказали, что это Грета Клуге — дочь крайслейтера. Она велит, чтобы ее называли Гудрун — на древнегерманский манер.

— Да, девочка,— кивнул старик.— В форме. Эсэсовские бандиты тоже носят форму. Ешь пастилку, деточка... А что было на вашем митинге? Он состоялся?

— А то нет? Конечно, состоялся. Скоро весь Гамбург узнает, что мы решили на нашем митинге. Знаешь, какой у нас теперь лозунг? «Все на улицу! Протестуйте против ареста вождей рабочего класса! Украшайте дома Гамбурга красным!» Вот! Увидишь, первого мая весь город будет красным. Мы не дадим сделать наш пролетарский Первомай фашистским праздником.

— Береги себя. Отцу будет еще труднее, если с тобой беда какая случится.

— Ничего не случится, дедушка. Ты не смотри, что я молодая. Отец тоже молодым начал. Расскажи про него еще что-нибудь, дедушка.

— Что ж тебе рассказать, Ирма? Я уж, наверно, все рассказал.

— Нет, не все! Налить еще чаю? Расскажи про его молодость. Или детство.

— Знаешь, Ирма,— старик снял очки, собрал в ладонь крошки с клеенки.— У твоего отца не было детства. Ему только-только исполнилось четыре года, а я уже брал его с собой на базар, будил в четыре часа утра. Он быстро одевался и помогал мне запрягать лошадь. И никогда я не видел, чтобы он плакал. Я грузил овощи, а он сторожил лошадь...

— А какой он был, дедушка?

— Красивый был мальчуган. Светлые локоны и смышленое доброе лицо. Умница. До школы научился читать, торговцы задавали ему трудные задачи, и он их быстро решал.

Брал я его с собой и в трактир. Там мы все завтракали. Эрнст, как постарше стал, внимательно так ко всему прислушивался. А когда он сам вмешивался в разговор, я часто становился в тупик. О чем он только не спрашивал!.. И про богатых, и про бедных, и про кайзера, и про бога.

— Он верил в бога?

— Нет, он не верил. Он очень любил свою мать, твою покойную бабушку, но часто с нею спорил. Она была набожная. Однажды она хотела взять Эрнста в церковь, а он спросил: «Разве это справедливо, что у нас в школе так много детей ходят зимой без пальто? Разве это справедливо, что дети голодают? Сколько детей у нас в школе едят сухой хлеб! Они страдают от голода и холода. А вот

дети богатых не голодают, не мерзнут. Разве бог не понимает, что это несправедливо?» — Дедушка Тельман улыбнулся и покачал головой.— Однажды утром я спросил его: «Зачем ты берешь с собой так много хлеба?» И как ты думаешь, что он мне ответил? «Я ношу его в школу товарищам, которые голодны, папа!» А когда в порту разгружали уголь, он всегда бывал там с несколькими приятелями — он помогал им заработать немного угля для родителей. Такой он и сейчас... Да ты и сама знаешь.

— Потому он и политикой рано занялся! — кивнула Ирма.

— Вся наша жизнь была политикой, внучка. Понимаешь? Эрнсту было десять лет, когда началась массовая забастовка портовых рабочих. Это было большое событие в его жизни. Часами он где-то пропадал. Оказалось, у бастующих рабочих. Когда я его наказал, он обиделся: «За что ты меня бьешь? Портовые рабочие говорят, что мы должны им помогать. И еще они говорят, чтоб угольщики перестали торговать углем. Тогда жители Гамбурга поддержат забастовку». Его как магнитом тянуло в порт. Так это в нем и осталось. Он сам выбрал свою судьбу.

— И было ему всего десять лет!

— Да, Ирма, десять.

— А я в десять лет почти ничего не понимала! Очень плохо разбиралась в политике. Ну ладно, пойду домой, дедушка. Спасибо тебе. Ты так интересно рассказываешь. Я очень, очень люблю папу.

— Твой отец очень хороший... А ты держись подальше от людей, которых не знаешь. Им ведь не сказали правды о твоем отце, их уверили, будто он хотел вызвать в Германии беспорядки, будто бы он виновен в пожаре рейхстага... Поэтому, детка, будь очень осторожна.

Глава 13

Маленькие победы

Однажды Тельман вдруг с удивлением понял, что мелкие тюремные новости тоже интересуют его, как и большие события в большом мире за каменной стеной.

Это была незаметная подтачивающая работа времени. Так растут гигантские сталактиты в пещерах, так день за днем море подмывает берега. Привычка грозила перерасти в тупое равнодушие. Правда, до этого было еще далеко, очень и очень далеко. Но Тельман умел различать корни явлений. В тюрьме нет мелочей, твердил он себе, зная, что из крохотных зерен привычки произрастут плевелы, а мелкие тюремные новости, которые хоть как-то выбиваются из монотонного и беспощадного течения дней, могут неожиданно стать жизненно важными. Извечное единство противоборствующих начал. Он должен был его разрешить для себя. От этого, в конечном счете, зависело все. Нельзя дать сломить себя, но нельзя и сломиться самому. Страшно упустить даже самый малый шанс на победу. Поэтому — жесткий контроль надо всем.

Случайные встречи в тюремных коридорах, каждое слово надзирателя, вести с воли, обрывок газеты, собственная тоска и боль, даже сны, кошмарные сны одиночки — отныне все это он должен сам строго разбирать, ежедневно контролировать.

Другого пути нет. Если руки не могут совершить подкоп под тюремные стены, это сделает разум. Каждый день должен приносить хоть какую-то крупицу на его, Тельмана, чашу весов. Пусть она еще очень, очень высока, перевешенная чудовищной гирей прусского изощренного опыта по части тюрем, но крупица за крупицей,

капля за каплей, и она пойдет вниз. Пойдет вниз.

Он попытался подвести итог своим маленьким победам. Прежде всего, он открыл себе путь в библиотеку. Это значило, что изнурительной изоляции ума пришел конец. Память — не бездонный колодец. Без живительного потока новых сведений, впечатлений она может и оскудеть. Книги! Как нужны ему книги! Они важнее лекарств, важнее гимнастики. Гимнастика — для тела, чтобы оно внезапно не отказало, не предало, а книги — это окна для души, без них она может захлебнуться в темноте.

Он получил письма от Розы и отца. И сам написал им. Ему стали приносить кое-какие газеты. Тонкие шелковинки, скудные ручейки, бегущие с воли. Но если вдруг оборвутся его связи с волей, он, как маленький, гонимый ветром паучок, вновь примется плести паутину. Даже твердо зная о неизбежности смерти, настоящие люди живут с ощущением вечности. Бессмертие дела — вот источник этого ощущения.

Он постарался выжать все, что возможно, прежде всего из газет. Жаль, что не хватает некоторых номеров — затерялись при пересылке. Тут он подумал, что пересылка стоит Розе слишком дорого. Надо посоветовать ей отправлять открытыми бандеролями, это дешевле. Хорошо, что ему удалось настоять, чтобы ей перевели хотя бы 30 марок из конфискованных у него денег; еще 20 марок советник прокуратуры Миттельбах обещал положить на его счет в тюремную кассу. Этого вполне хватит на почтовые расходы. Без табака можно и обойтись. Письма и газеты — вот что важно, как сама жизнь.

Из газет он составил себе хотя и отрывочную, но довольно ясную картину тех насильственных изменений, которые произошли в Германии за эти несколько недель. Фашизация страны шла полным ходом. Отмена гражданских свобод, запрет оппозиционных газет и политических

партий, аресты, ограничения, заметный крен в сторону войны. Он достаточно ясно видел завтрашний день. Люди, которые сегодня восторженно приветствуют победный топот нацистских колонн, еще не раз задумаются над тем, как их одурачили. Тяжек будет миг просветления...

Роза пишет, что была у «отца» и нашла его не совсем здоровым. Значит, партия все еще теряет своих сынов. Скольких еще не досчитаемся мы, пока пройдем сквозь эти темные годы!

Тельман придвинулся к забранному двойной решеткой оконцу и попытался в косом луче света прочесть зачеркнутые цензурой слова. Но не смог, черная тушь залила все намертво.

О чем же Роза хотела рассказать ему? Скорее всего, о связи: иначе она написала бы не «дочь», а «Ирма». Роза знает, что теперь для него самое главное — связь. Очевидно, эзопов язык оказался слишком прозрачным для цензуры. Пусть попробует написать еще раз, надо обратить ее внимание.

Он садится за стол и обдумывает фразу, чтобы без нажима, медленно, экономя карандаш и бумагу, написать: «На второй странице твоего письма зачеркнули некоторые места, которые я уже не могу прочесть. Особенно приятно, что Ирма перешла в последний класс. Из ее строк видно, что она начинает становиться все более самостоятельной и спокойно, трезво оценивает создавшееся положение...»

Да, она явно писала о связи. О прямой, постоянно действующей связи между ним и партией. Связь эта налаживается. Ее еще нет, но она уже налаживается. Обидно, что вычеркнули как раз те места, где говорилось о конкретном. Что это могло быть? Сроки? Средства? Люди?

Он вспомнил своих связных. Спокойного, невозмутимого, невероятно изобретательного Герберта. Рихарда Зорге — быстрого как ртуть, способного на самые отчаян-

ные поступки. Пылкий, рисковый парень, с исключительно ясным аналитическим умом.

Как ему нужен сейчас такой связной! Он должен, он обязан все знать. Удалось ли переправить за границу нужных людей, выходит ли «Роте фане», кто арестован, кто продолжает борьбу. И о себе, о своем положении он должен рассказать. Только тогда помощь с воли будет действенной.

Газеты разносят о нем по всему миру самые невероятные слухи. Несколько корреспондентов, среди них даже один иностранный, сумели пробраться в Алекс и переговорить с ним лично. Посмотрим, как это отразится на потоке ежедневной лжи, которая стекает с газетных полос, на водопаде фальсификаций и слухов. Впрочем, это не ново. Враги всегда старались исказить истину, правдоподобной подделкой отравить общественное мнение. Сам он лишен возможности сказать свое слово. Чисто физическое отвращение, которое он всегда испытывал, сталкиваясь с клеветой, вспыхивает в нем с особенной силой. Это мешает ему бороться с одиночеством, отвлекает, лишает столь необходимого спокойствия. Он не имеет права поддаваться эмоциям. Они не для заключенных. В последних газетах говорится и о его самоубийстве, и о том, будто его сместило с поста председателя партии московское руководство. Что ж, сам он не может выступить в свою защиту. Неужели никто из корреспондентов не напишет о нем правды?

Но пока нет надежной связи, об этом лучше не думать. Сомнение и надежда — злейшие враги заключенного. С разных сторон, попеременно, они подтачивают его душу, ржавчина разъедает его единственный якорь — веру. Вера должна быть непоколебимой. Здоровый дух, уверенность в будущем — вот в чем его сила, вот источник мужества и оружие в борьбе.

Привычные заботы на миг вырывают его из тюрем-

ных стен. Он думает о подпольной типографии на Ландкирхенштрассе, о тайных переходах на голландской и польской границах — о них ему рассказывал Макс, — о тех, кто успел уйти в подполье еще до той роковой ночи. Он вспоминает отца и почему-то случай с рыбой... Они поймали тогда с Рудольфом здоровенную щуку, а она прикинулась мертвой и, улучив момент, выпрыгнула из лодки... Ушла.

В памяти всплывают лица товарищей, тысячи лиц. Бремен, Нюрнберг, Вупперталь, Гессен, Франкфурт, Дортмунд, Эссен и, конечно же, Гамбург, конечно, Берлин. Вот она, трудовая Германия металлистов, портовиков, железнодорожников, типографских рабочих. Эти люди не поверят, что Тельман повесился в камере! Они знают его!

Уже здесь, в Алексе, он получил телеграмму от руководителя двадцать третьего избирательного округа Дюссельдорфа. Телеграмма, адресованная в Берлин, полицайпрезидиум, I отдел, извещала транспортного рабочего Эрнста Тельмана, что он вновь избран депутатом рейхстага! Вот ответ немецкого рабочего класса. 4 800 000 голосов за находящихся в тюрьмах и лагерях, за ушедших в подполье коммунистов. И это в условиях фашистской диктатуры, политической травли, полицейских репрессий и убийств. Такие люди не поверят нацистской пропаганде, гнусной клевете, состряпанной по геббельсовским рецептам.

Тельман еще и еще раз перечитывал открытки и письма, пришедшие к нему из Гамбурга. Писем из других городов ему не вручили. Сотни людей, наверно, поздравляли его с избранием, с днем рождения. Ведь из одного только Гамбурга пришло больше шестидесяти открыток. У него были все основания для веры, для непоколебимой веры. Пусть Германия кричит сегодня: «Хайль Гитлер!» Это еще не вся Германия! Поэтому так жизненно необходимо установить связь с партией, которая возглавила

сопротивление миллионов честных людей. Как намекнуть Розе на Герберта, не называя его по имени, не называя партийной клички? Что, если так: «Может быть, наш друг, с которым мы однажды на троицу совершили четырехдневное путешествие, сможет прислать сюда небольшую сумму денег?»

Это должны пропустить. Они привыкли, что он постоянно пишет о деньгах. И не удивительно, потому что обещанные доктором Миттельбахом 20 марок все еще не пришли. С деньгами вообще плохо. Роза, дочь-школьница, два старика (отец Розы совсем плох)... Розе, наверное, снова придется пойти работать, а со здоровьем у нее не все ладно. Будет тяжело. Всем им будет очень тяжело...

Он знает, что родные постоянно думают о нем. Понимает, что никакие заверения не избавят их от изнурительного беспокойства за него и ожидания беды. И все же он ищет такие слова, спокойные, но не успокоительные, а главное — правдивые. Да, правдивые, хотя и не внушающие подозрения тюремному цензору.

Не считая коротких бесед с адвокатами, разговаривать здесь не с кем. Тем сильнее в нем чувство написанного слова. Особое, обостренное тюрьмой чувство, когда фальшь и неискренность сразу бросаются в глаза, царапают сердце. Долой успокоительную ложь! Но умолчать, о многом умолчать он может. Пусть все же думают, что ему здесь лучше, чем на самом деле. Да и нельзя писать на волю о жизни в полицейской тюрьме.

«Свое предварительное заключение,— он находит, кажется, нужную формулировку,— переношу с величайшим хладнокровием и наряду с само собой разумеющимися обязанностями, которые у меня здесь имеются, занимаюсь чтением книг».

Пусть пришлют ему несколько хороших романов и пьес. Это дозволяется, если, конечно, книги не имеют особой политической окраски. Так он, сначала мысленно, а

потом уже на бумаге оттачивает фразу за фразой. Каждое слово должно быть точным, единственно необходимым. Нельзя дать цензуре повод для придирок, но необходимо и сказать все, что нужно сказать. К тому же, он не может позволить себе перечеркивать написанное. Каждый клочок бумаги — драгоценность, а каждое письмо может стать последним.

Итак, «чувствую себя хорошо, поскольку всегда был очень крепким». Это чистая правда, и дома все поймут как надо. Но чтобы они не толковали это его «поскольку» чересчур расширительно, не придавали этому слову смысл «несмотря на все мучения», придется приписать в конце: «Но подчеркиваю, что для какого-либо беспокойства с твоей стороны пока нет никаких оснований».

Итак, подготовительная работа закончена! Можно приниматься за письмо. Это приятная минута. Он пишет и мысленно переносится домой. У Розы — он тихо улыбается — 27 марта был день рождения. Ей уже 43 года. 11 апреля — день рождения отца... Уж так случилось, что они родились приблизительно в одно время.

Сначала он пишет письмо жене, потом отцу. Он уже знает, что Роза в Берлине добивается свидания. Сначала весть об этом обожгла его радостью, взволновала мучительным нетерпением ожидания. Это чуть не выбило его из колеи. И он понял, что еще не готов к встрече с родными. Трудная школа подготовки к долгому одиночеству еще не была пройдена. Он заставил себя временно подавить чувство и, насколько мог, трезво взвесил все «за» и «против». Потом принял тяжелое решение отговорить Розу от встречи. Но писать Розе об этом не стоит. С отцом он уже вел такую переписку.

Моя дорогая Роза!

Твое письмо и посылку ко дню рождения получил с большой радостью. Из Гамбурга мне прислали более

60 поздравительных открыток. Ни одной открытки из других городов мне почему-то не передали.

Газета для меня здесь — единственный источник информации. Поэтому неприятно, что снова два номера где-то застряли.

Своему письму от 13.IV я придаю очень большое значение, потому что набрался решимости и изложил в нем без обиняков все, что думаю о своем положении.

Человек, исполненный чувства собственного достоинства, не отказывается от своих действий. Добро и истину, если они однажды пустили корни, можно, конечно, преследовать, но нельзя подавить надолго. Пусть утешает тебя мысль о том, что много-много женщин вынуждены переживать нынешнее время вдали от своих мужей, кормильцев и любимых.

Эрнст.

Дорогой отец!

Я полностью разделяю твое мнение о поездке Розы в Берлин. Неописуемая радость встречи омрачится прощанием, которое будет и для меня нелегким. Неизбежное расставание для нас обоих будет очень тяжелым. Для меня особенно, поскольку я сижу здесь один и буду бесконечно вспоминать о том счастливом мгновении. Пока мое здоровье вне опасности, острой необходимости в свидании нет. Попытайся утешить и успокоить Розу, используй и те веские аргументы, которые ты привел в своем последнем письме. Поживем — увидим. Человек без надежды — все равно что корабль без якоря...

С самым горячим сердечным приветом
твой любящий сын Эрнст.

Глава 14

Штурмбанфюрер Зиберт

Фюрер сказал, что словесные битвы лишь внешне бескровны. Национал-социалист должен быть беспощаден всегда и везде. Поэтому словесная битва не кончается ни разгромом неприятеля, ни его полной капитуляцией. Она требует отречения. Побежденный солдат вражеской армии может либо сдаться, либо умереть. Идеологический противник обязан покаяться и громогласно признать правоту победителя. Иначе победы не будет. Иначе победителем остается не гордый триумфатор, а пленный кандальник на эшафоте.

Профессор Института кайзера Вильгельма Хорст не удивился, когда обнаружил в почтовом ящике официальный конверт со штампом Главного управления имперской безопасности.

Конверт без марки, письмо не облагалось почтовым сбором. Внутри лежала повестка. Его вызывали на Принц-Альбрехтштрассе к штурмбанфюреру СС доктору Зигиоргу Зиберту. Доктор! Даже имя свое он отождествлял с «черным орденом»: он подписывался двумя руническими «С». Наверно, очень гордился этим.

Хорст еще не знал тогда, что штурмбанфюрер известен среди друзей под прозвищем Геникшус — выстрел в затылок. Он вообще не знал этого человека, даже имени его не слышал.

В приемной уже сидела женщина с усталым, прорезанным глубокими морщинами лицом.

— Вы сюда? — зачем-то осведомился Хорст, словно на приеме у дантиста.

Она молча кивнула.

— Фрау Тель... — секретарша в коричневой блузе «Союза немецких девушек» осеклась, но Хорст не обра-

тил на это внимания.— Фрау придется еще немного подождать, пока придет ответ на запрос о дочери,— после некоторой заминки договорила она. — А вас, господин Хорст, просят пройти.

...Доктор Зиберт вежливо поднялся и, не выходя из-за стола, указал Хорсту на кресло. Молча сопел, низко склонившись над столом, долго рылся в бумагах. Потом вдруг вскинул голову и уставился на Хорста долгим, чуть-чуть отсутствующим взглядом. Но, как и было рассчитано, глаза в глаза. Хорст не отводил взгляда, чувствуя, что глаза штурмбанфюрера уплывают от него все дальше... Сто, двести, миллионы световых лет.

— Рад познакомиться с вами, профессор. Много наслышан о вас. Вы могли бы стать гордостью немецкой науки. Почему вы подали в отставку?

— Мне дали отставку, господин штурмбанфюрер.

— Вот как? Ничего об этом не слышал. Странно... Но я пригласил вас, собственно, по другому делу. Фюрер поручил созвать конференцию, посвященную оккультным наукам. Торжественная церемония, возможно, состоится в начале ноября. Вы, конечно, понимаете, что священная миссия немецкого человека, суровое величие нордической мифологии и то предназначение, которое тайно живет в лучших из лучших представителях нашего народа, превыше любого так называемого объективного знания. Поймите простую вещь, господин профессор, и многое для вас упростится и облегчится. Наука живет сама по себе, а великая яростная вера возносит нас на высшую ступень озарения.

Хорст перестал понимать, что ему говорят. Отключился. Думал о своем.

— ...ждем от вас, что вы не только будете присутствовать на церемонии, но и выступите с небольшим приветствием.

Из дальнего далека влетели в его уши эти слова.

Оккультное знание? Ах да, конечно... Под большим секретом ему рассказали, что у Гитлера есть личный ясновидец. Вернее, был. Тот самый знаменитый Ганнусен. Среди высокопоставленных наци он известен под именем «фюрера». А это кое-что значит. У «фюрера» несколько расплывчатая, но вполне официальная должность: полномочный физики, астрономии и математики. Что-то в последнее время о нем ничего не слышно.

— ...и пора, господин профессор, давно пора прекратить эту фронду. Мы надеемся, что в своей речи вы скажете несколько слов по поводу арийской космогонии.

— Вы имеете в виду доктрину вечного льда господина Гербигера?

— Совершенно справедливо,— Зиберт преувеличенно благожелательно улыбнулся и откинулся в кресле.

— Я высказал свое мнение об этой... системе мира на межзональном астрономическом конгрессе.

Улыбались щеки, губы, сверкали улыбкой стальные зубы. Только не глаза. Глаза леденели.

— Это было досадное недоразумение, господин профессор.— Зиберт продолжал улыбаться.— Столь же досадное, как и ваша отставка. Так не пора ли нам все уладить?

Хорст испугался, что эсэсовец может выйти из-за стола и раскрыть ему свои мертвящие объятия, улыбаясь все той же застывшей улыбкой, давно похороненной в провалах глаз.

— Боюсь, господин штурмбанфюрер, мы плохо понимаем друг друга. У меня не может быть иной точки зрения.

— Про себя вы можете думать что угодно,— кадык Зиберта дернулся вверх и вернулся на место. Эсэсовец смотрел сумрачно и равнодушно, как будто проглотил и уже успел переварить в желудке свою улыбку.— Но когда вы начинаете публично проповедовать свою точку зре-

ния,— он пренебрежительно выпятил губы,— то тем самым вмешиваетесь в политику. А этого мы никому не позволим! Поэтому вам и предлагают загладить ошибку. Великому ученому, профессору Гербигеру не нужно ваше признание! Учтите, лишь благодаря нашей исключительной гуманности с вами вообще разговаривают. Вам дается последний шанс, не проморгайте его...

— А если я этого не сделаю? Вы меня арестуете?

— Право, вы озадачиваете нас, профессор.— Зиберт улыбнулся и развел руками.— Зачем вы так упорно домогаетесь мученического венца? Зачем? Вас ожидает спокойная академическая работа. Не создавайте ненужных затруднений себе и нам. Выполните нашу просьбу, и все будет в порядке.

— Я не могу, господин штурмбанфюрер. Это идет вразрез с моими убеждениями.

— О каких убеждениях вы говорите? В то время как фюрер и национал-социалистская партия в творческом порыве закладывают фундамент великого рейха, вы позволяете себе иметь какие-то иные убеждения. Вы плохой немец, господин профессор.— Эсэсовец снял пенсне и откинулся в кресле. Он смотрел на Хорста, как на неприятное насекомое.

Хорст еле сдерживался. Он готов был плюнуть в физиономию этого черного ландскнехта с дубовыми листьями к железному кресту. Закричать во все горло. Ударить кулаком по столу. Но заставлял себя сидеть спокойно, молчать и ничего не бояться. И все же боялся. Всего боялся: ландскнехта, серого, угрюмого здания, длинных коридоров с рядами одинаковых дверей, красного флага со свастикой в белом круге, окаменевших часовых. Страх, ненависть, раздражение и какое-то детское недоумение — все это сковывало, мешало находить нужные слова.

— Не будем к этому возвращаться. Я не выступлю в

защиту теории Гербигера и не смогу принять участие в конференции по... черной магии.

— Оккультных наук! — Зиберт хлопнул кончиками пальцев по столу и брезгливо скривил губы.— Вы, наверное, масон? Аристократ и масон! Убежденный враг империи!

— Я ученый и служу только науке, чистой науке. С чистой совестью служу науке.— Ему стало неприятно, когда эти чуть выспренние слова сами сорвались с его губ.

— Ваша наука ложная! Вредная она, ваша наука. Бескрылый материализм. Она не нужна нашему народу! Понимаете? Мы народ-созидатель, народ-солдат! Ни вы, ни ваша вонючая наука нам не нужны. Наука — служанка, шлюха! Вопрос лишь в том, кому она служит.

Зиберт механически изливал на старомодного профессора и его глупую науку поток хулы. Но, право, этот упрямый интеллигентик не был ему особенно неприятен. Он был всецело в его, Зиберта, власти, несмотря на большую, как говорили, международную известность. Но у Зиберта не выходило из головы, что предстоит разговор с этой Тельман, которая опять требует свидания с мужем для себя и своей дочери. Брать решение на себя явно не хотелось. Знать бы, что может еще выкинуть эта назойливая посетительница. Беспокойство и раздражение штурмбанфюрера волей-неволей изливались на Хорста. Он даже подумал, что старого дурака следовало бы ненадолго отправить в лагерь. Для некоторого перевоспитания.

— У нас есть средства сделать вас более лояльным к национал-социализму! — Зиберт встал.— Советую хорошенько подумать... Посидите немного в приемной. Сейчас отпечатают протокол. Вам нужно его подписать.

— Какой протокол, позвольте вас спросить?

— Протокол допроса!

— Это был допрос? А по какому праву...— Хорст тоже поднялся.

— Допрос! — оборвал его эсэсовец.— На самом законном основании. И выкиньте из головы такой хлам, как право. Право — понятие, выработанное плутократами! Есть закон германской империи о превентивном заключении. Только от нас зависит применить его к вам. Запомните это!.. Прошу пройти в приемную.

Он открыл дверь и вежливо пропустил Хорста вперед.

— Фройляйн Гудрун, перепечатайте. Господин профессор, поставьте свою подпись в трех местах. Здесь, здесь и здесь...— обернулся Зиберт к сидящему на диване Хорсту.— Хорошенько прочтите, прежде чем подписать. Вот ваш пропуск. Можете быть свободным... Пока свободным. Мы еще вызовем вас. До свидания, господин профессор.— Эсэсовец чуть наклонил голову и вернулся в кабинет.— Пройдите,— бросил он ожидавшей женщине. Она с достоинством встала.

Светловолосая секретарша в коричневой блузе метнула хмурый взгляд вслед посетительнице. Быть может, она вспомнила, как однажды в Гамбурге натравливала овчарку на ее дочь? Жаль, что собака тогда не перегрызла девчонке горло. Она, видите ли, тоже намеревается приехать в Берлин! На свидание с матерым врагом фюрера и рейха. Какая наглость! Подумать только, из-за этой дряни у шефа целый день плохое настроение. И чего только начальство церемонится с этими Тельманами?

В несколько коротких очередей «олимпия» обстреляла разделенные копиркой бланки. Темные трупы букв легли на заснеженное бумажное поле.

— Прошу вас, господин профессор.

Профессор встал с жесткого кожаного дивана и подошел к секретарскому столу. Навстречу улыбающемуся фюреру. Художник-академист тщательно выписал каждый волосок. Офицерская фуражка, железный крест под

карманом, орел со свастикой на галстуке, золотой партийный значок на лацкане... «Ну прямо как живой!» — казалось, это паточное дежурное восклицание сочится из каждой поры тщательно загрунтованного и отлакированного холста.

Хорст полез во внутренний карман за вечным пером. Надел очки в черепаховой оправе. Пробежал глазами по строчкам. Остановился на отпечатанных типографским способом словах «обязуюсь не разглашать содержание беседы». Подписал.

— Пропуск отдадите дежурному внизу.

— Хорошо. Благодарю вас. До свидания.

Он вышел на улицу. Лениво капала серая вода. Сотни ног ступали по мокрому асфальту. Автомобили с шипением разбрызгивали лужи. Где-то кричал репродуктор. Звенели трамваи. Грохотала надземка. Дрожали под военными машинами мосты.

День оглушил его. Ворвался привычным шумом, чуть приглушенным шелестом дождя. Поблескивали раскрытые зонты, резиновые плащи. Утекающий ток, жужжа, потрескивал в мокрых проводах. И все казалось удивительно свежим и пронзительно острым, точно впервые увиденным.

Он поднял воротник плаща и пошел домой.

Он вышел «оттуда». Был жив и свободен. «Пока свободен». Инстинктивно чувствовал, что это только прелюдия. Все еще впереди. СС без маски, подлинный арест и настоящий допрос. Сегодняшний допрос — не настоящий. Говорят, что они обычно допрашивают иначе.

Почти невесомый дождь опускался на голову. Город дышал и шевелился. Блестели мостовые и черные автомобили. Но дождь, и город, и мокрый блеск тоже не были настоящими. Все сделалось зыбким и преходящим. Осталась только видимость.

Глава 15

Роза и гестапо

Вот уже несколько недель почти каждый день Роза Тельман ходила в страшное здание государственной тайной полиции на Принц-Альбрехтштрассе, 8 и требовала немедленного свидания с мужем. В первый раз с ней даже не хотели разговаривать. С большим трудом удалось узнать, в какой хоть тюрьме содержится Тельман. И это было все. Просьбы и письменные заявления о свидании с ним встречали отказ. Сначала о них еще докладывали Карлу Гирингу, который вел дело Тельмана, потом перестали. В конце концов она была обыкновенной просительницей, каких много, и Гиринг сказал, чтобы с ней особенно не церемонились. В последний раз какой-то младший эсэсовский чин пригрозил ей арестом и принудительной высылкой из Берлина.

Тогда она, через посредство друзей, встретилась с несколькими иностранными журналистами.

— Боюсь, — заявила она им, — что Эрнст Тельман подвергается в тюрьме тяжелейшим лишениям, может быть даже пыткам. Иначе трудно объяснить, почему они боятся показать его мне.

Минуя гитлеровскую цензуру, это сообщение в тот же день было переправлено за границу. На другое утро оно появилось на страницах влиятельных европейских газет. Очевидно, этим и объяснялось согласие гестаповского руководства принять госпожу Розу Тельман.

Мрачный обрюзгший эсэсовец с плетеными квадратиками штурмбанфюрера на левой петлице кивком пригласил ее в кабинет и небрежным жестом предложил сесть.

— Ваше заявление с просьбой о свидании с заключенным Тельманом нами рассмотрено,— без предисловий

начал он.— И принято решение на время воздержаться.

— На какое время? — Роза изо всех сил старалась казаться спокойной. Чтобы унять внезапную дрожь в руках, она поправила волосы, словно непроизвольным жестом проверила завивку.— На какое время?

— По усмотрению государственной тайной полиции.— Штурмбанфюрер хмуро глянул на нее и закрыл лежавшую перед ним папку.

Старый полицейский служака, он находил вполне извинительной настойчивость, с какой она добивается свидания с мужем. Это естественно в ее положении. Немецкая женщина должна любить своего мужа и заботиться о нем, что бы с ним ни случилось. Но муж этой женщины — не обычный заключенный. Им постоянно интересуется высокое начальство. Самое высокое. Некоторые имена, как, например, группенфюрера Гейдриха, не положено называть даже в своем кругу. А ведь ему регулярно докладывают о Тельмане! Иногда звонит министр-президент Геринг или рейхслейтер Геббельс, если поднимается шум в заграничной печати.

Как раз только что был такой разговор. Он оставил очень неприятный осадок. Начальству легко кричать: «Заткните ей глотку!» А как, спрашивается? Принудительные меры не рекомендованы, уговоров она, очевидно, не понимает. Они хоть бы мотивировку отказа ему подсказали. Так нет, одни лишь общие категорические указания. Заткните глотку, видите ли...

— Чего же вы ждете? — не выдержал долгой паузы гестаповец.— Надеюсь, вы понимаете, что вам отказано в свидании?.. Временно! — он раздраженно отвернулся.

— Я хочу знать, что означает это ваше «временно». Когда? Когда конкретно?

— В зависимости от обстоятельств.

— От каких обстоятельств? — она говорила намеренно медленно и негромко.

— У меня все.— Гестаповец бездушно повторил любимую фразу своего высокого шефа Германа Геринга.

— Хорошо, — Роза поднялась. — Тогда я заявлю на весь мир, что вы его убили.

— Подождите в приемной! — с ненавистью сказал гестаповец после короткой паузы.

Нет у меня власти разрешать такие свидания, раздраженно думал он, глядя вслед уходящей Розе. А случись что, с меня же спросят. И еще недовольны, что беспокою по пустякам. Пока занимаюсь этим я — все для них пустяки, но случись что-то — пустяки сразу превращаются в дело государственной важности и начинается тарарам. Тут уж они на ругань не скупятся. Одним словом, и так плохо и этак нехорошо. Что делать? Все же лучше доложу.

Он придвинул к себе прямой телефон спецсвязи и набрал номер Гейдриха. Гирингу звонить бесполезно. Он имел право накричать на штурмбанфюрера, даже покарать его, но принять самостоятельное решение по делу Тельмана не мог. Служить же промежуточным звеном между своим подчиненным и высшим начальством Карл Гиринг не желал. Поэтому штурмбанфюрер из всех зол выбрал наименьшее: позвонил Гейдриху в обход Гиринга.

— Гейдрих,— услышал он в трубке хриплый голос. Шеф СД, тайной эсэсовской службы разведки, как всегда, был на месте.

— Хайль Гитлер! Группенфюрер, докладывает штурмбанфюрер Зиберт. Тельман угрожает сделать заявление, что ее муж убит.— Он доложил, как всегда, точно и предельно кратко. Изложил самую суть, как и требовал от подчиненных Гейдрих.

— Хочет свидания?

— Настаивает,— ответил Зиберт, хотя собирался сказать «требует».

— Пообещайте ей... Скажем, через две недели. Но

пусть не делает глупостей. Дайте понять, что ее необдуманные заявления тут же отзовутся на муже. Выясните, с кем из журналистов она встречается. Мы их вышлем.

— Войдите, фрау Тельман,— пригласил Зиберт ожидавшую в приемной Розу. Лицо его приняло еще более недовольное выражение. Теперь-то он знал наверняка, что за новую шумиху по делу Тельмана спросят с него лично. Одно дело угрозы Гиринга, даже самого Геринга, другое — ясное и спокойное указание Рейнгарда Гейдриха.— Сегодня больше приема не будет, фройляйн Гудрун,— бросил он секретарше.

Глава 16

Первый контакт

Ночи Алекса полны тайных переговоров. Они превращали тюремные стены в телеграфные провода.

Человеческое сознание, потаенные глубины нашего Я загадочны и полны противоречий. Одни и те же события по-разному воспринимаются нами в зависимости от времени суток. Ночное сознание полно сомнений, оно окрашено трагическими, подчас безнадежными тонами. Ночью ощущение безысходности обретает над человеком странную пугающую власть, перед которой рассудок бывает бессилен. И тогда наступает жестокая бессонница. Чаще всего это случается в трудные минуты жизни. Только наступление утра освобождает человека от оков ночи. И там, где еще несколько часов назад не было выхода, внезапно высвечивается спасительный путь, неожиданный, круто меняющий ситуацию вариант. Его подсказало утро, трезвый свет, резкая бодрящая синева. Словно и впрямь с первым криком петуха развеялись ночные фантомы, мрачные порождения усталого, трепещущего в

тисках безысходности сознания. Но как трудно дождаться рассвета!

Особую власть приобретает ночное сознание в тюрьме, за каменными стенами и стальными запорами. Иногда оно остается надолго, не хочет сгинуть, как нечисть с перепончатыми крыльями нетопыря, даже от петушиного крика. Да и не долетит сюда этот отрезвляющий крик, и не откроются тюремные двери с рассветом. Уж это-то заключенные знают. Отсюда и тиранство ночного сознания, доходящего до границ, за которыми лежит распад разума, гибель души.

Нет тишины в тюремной ночи. Она полна перестуков, в такт которым бьются сердца. Необходимо знать, что ты не один в этом каменном склепе, что где-то за стеной, под полом, над потолком томятся такие же несчастные. Но кто они? Быть может, друзья? Это откроет перестук. Тюремная азбука, в которой каждая буква зашифрована определенным числом ударов. Столько-то по горизонтали, столько-то по вертикали. Магический квадрат. Азбука обреченных. Удар за ударом, буква за буквой, слово за словом. И если камера товарища далеко и он не слышит зова, его все же найдут и твоя весть долетит к нему по длинной эстафете.

Так от одного телеграфиста к другому летят телеграммы в самый дальний, заброшенный на край света угол.

Прислушайтесь!

Это каменная глыба Алекса дрожит и поет в ночи: ...Тельман здесь... Тельман здесь... Тельман здесь... Тельман в тридцать второй... Тельман в тридцать второй... Передайте Тельману... Передайте Тельману... Здесь Димитров... Здесь Димитров... Передайте Тельману — здесь Артур Фогт...

Лязгнул замок, и с противным скрежетом отворилась дверь. В тридцать вторую вошел надзиратель — худой

сутуловатый служака с ленточкой железного креста первого класса и сивыми усами тюремной крысы.

— В душевую! Живо! — скомандовал он.

Тельман удивился. Он мылся не далее как вчера. Или в банном расписании ошибка? Что же, в однообразии тюремных буден такая ошибка — улыбка судьбы.

— Торопитесь,— пробурчал надзиратель,— времени у вас мало.

— Времени у меня сколько угодно,— улыбнулся Тельман.— Но я мигом.

Скорым, широким шагом, ибо даже эта внеплановая прогулка была для него подарком, шел Тельман впереди надзирателя.

Уже на лестнице, ведущей в подвал, он услышал шаги и обернулся. Вели Димитрова. В чахлом и мутном, как сыворотка, свете Тельман узнал его только по глазам. И еще по осанке — голова его была как-то особенно гордо поднята, словно вверху сияло чистое голубое небо.

Сжав кулаки в салюте Рот фронта, они молча приветствовали друг друга и улыбались. Эта безмолвная улыбка не оставляла Тельмана весь день.

Секундой раньше или позже, и мы бы не увиделись, подумал он. Какой удачный сегодня день. И еще он подумал, что Димитров сильно исхудал, но отнюдь не подурнел от этого. Высокий, с пышной шевелюрой, он стал похож на итальянского карбонария. Пусть они виделись только короткий миг. Но походка и четкое порывистое движение, которым Димитров приветствовал его, сказали Тельману больше, чем долгие часы откровенных разговоров. Тельман словно в грозу попал. Он всем своим существом ощутил, какая энергия сконденсирована в этом человеке. Меньше всего нужно радоваться встрече в тюрьме, и все-таки это радость, даже трудно передать, какая радость!

Тельман не знал, что это была не первая их встреча

в коридорах Алекса. Димитров уже дважды видел Тедди. Как хотелось, чтобы Тельман хоть обернулся, но он не почувствовал тогда горячего нетерпеливого взгляда Димитрова. Зато сегодня они действительно увиделись, даже улыбнулись друг другу.

В душевой никого не было. Тельман чуть отвернул медный вентиль и, запрокинув голову, ждал, когда из проржавелых дырочек польется вода. Хлопнула дверь, и кто-то зашлепал по каменному полу.

Тельман медленно обернулся и увидел, что к соседнему крану идет Фогт. Артур Фогт! Поистине щедрость судьбы не знала сегодня предела. Не успев поздороваться, не успев даже улыбнуться товарищу, Тельман рванул вентиль на полную мощность, чтобы шум воды заглушил слова.

Последний раз они виделись незадолго до фашистского переворота. В этот незабываемый день 25 января Компартия организовала беспримерную по размаху антифашистскую демонстрацию. Берлинский пролетариат выступал единым фронтом. В бесконечных колоннах, рука об руку с коммунистами, шли социал-демократы и рейхсбаннеровцы. По Бюловплац к Дому Либкнехта шел нескончаемый поток демонстрантов. Это был ответ рабочего Берлина на фашистские провокации — сборища штурмовиков у Дома Либкнехта, где находился Центральный Комитет КПГ. Штурмовики были в полнейшей панике, когда им пришлось бежать сквозь колонны взволнованных, протестующих рабочих. Не помогли и подоспевшие на защиту фашистов шупо. Рабочий Берлин выступал единым фронтом, и не было, казалось, в Германии силы, которая могла бы ему противостоять.

23 января на совместном заседании бюро ЦК КПГ и ее берлинского окружного руководства Тельман внес предложение провести внушительную политическую демонстрацию. Оно было принято единогласно. Подготовку

демонстрации взял на себя по поручению ЦК секретарь Берлин-Бранденбургского окружкома Артур Фогт. Сроки были самые сжатые, практически всего один день. Тельман разговаривал с Фогтом несколько раз. Его интересовало решительно все: состояние дел в районных комитетах, контакты с руководством местных антифашистских организаций, с представителями от безработных, лозунги и, конечно, меры по защите демонстрантов от провокаций фашистов и полиции. Тельман требовал, чтобы такая защита, не ослабевая, действовала от самого места сбора до возвращения рабочих групп по домам.

И демонстрация состоялась. Сотни тысяч рабочих не вышли в тот день на работу, ибо шествие к Дому Либкнехта началось уже в двенадцать часов дня. Воздух казался сизым от мороза. Над темными, шагающими в ногу шеренгами стлался туман. Пар от дыхания застывал колючими снежными блестками. У многих демонстрантов не было теплой одежды, подходящей обуви. Люди часто кашляли, задыхаясь во время пения «Интернационала» от морозной влаги, пританцовывали, оттирали побагровевшими кулаками уши.

На трибуне, где стояли Тельман, Вальтер Ульбрихт, Ион Шеер и Франц Далем, кто-то предложил немного погреться. Но люди шли сплошным потоком. Они приветствовали вождей партии частоколом поднятых рук, знаменами, лозунгами.

— Здесь, на улице, наше место, демонстранты тоже не могут сделать перерыва! — Тельман поднял сжатый кулак. Оживленный, захваченный общим подъемом, он не чувствовал холода, хотя уже четыре часа стоял на морозе.

Шли рабочие районы: Веддинг, Нойкёльн, Моабит. Только единство рабочего класса могло преградить дорогу фашизму.

— Мы вновь должны обратиться с предложениями о

совместной борьбе к СДПГ и Всеобщему объединению немецких профсоюзов,— обращаясь к товарищам, тихо сказал Тельман. И, приветствуя все новые и новые колонны, выкрикнул: — Да здравствует боевое единство пролетариата!

Фашизм стоял на пороге. Воздух Германии был отравлен его тлетворным дыханием, а ее государственная машина напоминала источенный червями трухлявый пень. И в этот час смертельной опасности берлинцы воочию увидели ту единственную силу, которая способна преградить Гитлеру путь к власти. Казалось, это внезапное, ломающее льды зимнее половодье вышло из тесных русел сиюминутных политических интересов, интриг и честолюбивых чаяний партийных вождей. Рабочая Германия шла единым человеческим потоком, в котором уже нельзя было отличить коммуниста от социал-демократа или рейхсбаннеровца. Решительный час требовал ото всех одного: будь антифашистом!

Тельман помолодел от счастья. Казалось, он никогда не знал ни сомнений, ни колебаний. И это передавалось другим. Совсем еще молодой партийный функционер Фогт подумал тогда, что дело почти сделано. Демонстрация всколыхнет не только Берлин, но и всю страну. Руководители СДПГ узнают теперь волю рабочего класса.

Такая демонстрация могла стать поворотным пунктом в судьбе Германии! Могла... Но не стала. Так даже сильный пожар в мокрую осеннюю пору не воспламенит торфяное болото, хотя в сушь и зной оно могло бы загореться от одной лишь спички и полыхать открытым огнем или подспудно гореть, передавая все дальше и дальше нестерпимый подпочвенный жар.

Руководство СДПГ медлило с организацией единого фронта... На другой день после демонстрации редактор независимой «Берлинер тагеблатт» Бернгард писал: «А «Интернационал» все же сильная песня!» Социал-



демократический «Форвертс» тоже не скрывал своего восхищения мощью рабочих колонн. Люди, пославшие в рейхстаг своих рабочих депутатов, видели в фашизме самую страшную угрозу. Но их гневная вспышка не долетела до рейхстага. Оборвалась и угасла где-то на полпути. Впрочем, нет, не угасла. Скорее воспламенила классовую ненависть к пролетариату. Склонила чашу весов на сторону наци. Недаром ровно через четыре дня рейхспрезидент Гинденбург поручил Гитлеру возглавить кабинет. А еще через месяц запылал рейхстаг.

Два узника молча сжимали друг другу руки под конусом шумящих водяных струй. Да, они не встречались больше с того дня, когда над улицами подымался сизый туман, а шаги тысяч и тысяч людей сливались в грозный победный рокот, который долго не затихал в морозном воздухе. Сколь многое случилось с ними и с теми, кто шагал тогда мимо трибуны, за это, в сущности, очень короткое, даже в масштабах человеческой жизни, время. Непоправимо много...

— Здравствуй, товарищ Фогт.

— Здравствуйте, товарищ Тельман. Здравствуй, Тедди...

— Это случайная встреча? — Тельман быстро огляделся. Но кроме них в душевой никого не было.— Пусти воду.

— Нет, не случайная, хотя я тоже не знал, что увижу тебя,— Фогт отвернул свой кран и, зажмурившись, стал под душ.

— Надзиратель? — спросил Тельман, утверждая скорее, чем спрашивая.

— Да, товарищ Тельман. Пусть тебя не смущает его железный крест. Это надежный человек и старый член СДПГ. Он носит побрякушки из-за нацистов. Боится, чтобы не докопались до его прошлого. А чего бояться? Рядовой социал-демократ, герой войны. Таких не преследуют. Но он честный человек и очень сочувствует нам.

Товарищи сказали, что на него можно положиться, к тому же он участвовал тогда в демонстрации...

— Ладно, не будем терять времени! Поскорее расскажи, что произошло после моего ареста. Я же почти ничего не знаю. Кого еще взяли?

— Многих, товарищ Тельман. Почти все депутаты-коммунисты были арестованы сразу же после выборов. Большинство руководящих работников партии...

— Но подполье функционирует?

— Да. Еще при мне была распространена листовка «Наша борьба за революционное свержение фашистской диктатуры и за новую Советскую социалистическую Германию». Налаживается работа в эмиграции...

— Связь у тебя есть?

— Подо мной сидит наш товарищ, он уже кое-что наладил, думаем посвятить надзирателя.

— Что думают о нем на воле?

— Его проверяли. Сначала он нес наружную службу и лишь недавно перешел сюда, в Алекс. Наши сразу же вошли с ним в контакт.

— Очень хорошо. Связь сейчас важнее всего. Как только наладите, сразу же дайте мне знать.

— Обязательно, товарищ Тельман.

— Я только что встретил Димитрова, его куда-то вели.

— Да, я знаю, что он здесь. Нацисты готовят показательный процесс против Компартии.

— В связи с рейхстагом?

— Да. Димитров, очевидно, будет первым.

— Это понятно. «Рука Москвы»!.. Сначала они попытаются продемонстрировать перед мировым общественным мнением, что агенты Коминтерна подожгли рейхстаг, потом обрушат судебное преследование на партию. Это наступление на коммунизм в мировом масштабе, товарищ Фогт... Но они не знают Димитрова, не знают нас! Мы, коммунисты, сами должны быть заинтересованы в откры-

тых процессах, чтобы сорвать маску с фашистов. Понимаешь, товарищ Фогт? — Тельман как будто не замечал, где они находятся. Он рассуждал спокойно, но с необычайным подъемом, словно не было скользкого каменного пола, желтых тоскливых стен и льющейся воды. Фогт видел перед собой человека, которого хорошо знал по выступлениям на митингах, заседаниям в Доме Либкнехта. И говорил он все так же просто и ясно, может быть, даже слишком просто, без полутонов, как будто никогда не знал сомнений и не делал ошибок. Лишь потом, когда Фогт мысленно воссоздал свою последнюю в жизни встречу с Тельманом, он увидел то, отличное от прежнего, что было в словах Тедди.

Тельман говорил с ним не только как товарищ с товарищем после долгой разлуки. Его вопросы, ответы, короткие рассуждения и точные замечания были очень конкретны и вместе с тем как бы не подвластны времени. Может быть, поэтому они так прочно врезались в память Фогта. Тельман говорил с ним как с товарищем, с которым продолжает борьбу. Он говорил с ним как с близким, которого видит в последний раз. Тельман слишком хорошо сознавал свое положение. Именно поэтому могло показаться, что в радости неожиданной встречи он забыл, где находится. Нет, не забыл он. Слова транспортного рабочего и коммуниста Тедди, как пули, были нацелены в мишень современности. Без внешней торопливости, он говорил быстро и коротко, зная, что им отведены считанные минуты.

Узник фашистской тюрьмы, он не мог не видеть, что не властен более над течением событий. Он стремился наладить связь, продолжать борьбу, даже надеялся вырваться на свободу. Но знал, что все его усилия могут пойти прахом. С трудом возведенная башня могла и обвалиться. Он трезво оценивал свои возможности в этой неравной борьбе. И своему товарищу по партии, даже

при такой случайной встрече, Тельман сумел высказать глубоко продуманные мысли о дальнейшей борьбе, составлявшей смысл их жизни.

Время встречи пролетело слишком быстро. Каждый из них припоминал потом с досадой, как много упустил, забыл спросить или рассказать.

Открылась дверь, и вошел надзиратель.

— Выходи! — крикнул он и, нацелив палец на Фогта, сказал: — Ты первый.

Когда дверь за Фогтом закрылась, Тельман слышал удаляющуюся ругань усатого надзирателя:

— Вы и так пробыли в душевой вдвое больше положенного. Уж не шушукался ли ты там со своим соучастником? Смотри! Проводить заключенного! — уже спокойно и четко скомандовал он кому-то.

Тельман улыбнулся этой примитивной хитрости и посочувствовал усатому надзирателю с железным крестом, который ради этой их короткой встречи рисковал жизнью.

— Спасибо, — одними губами прошептал он, когда надзиратель вернулся за ним.

Тот ничего не ответил и, лишь закрывая за Тельманом дверь камеры, буркнул:

— Помалкивай.

Глава 17

Герберт

Роза Тельман не придавала значения попыткам дедушки Тельмана и самого Эрнста уговорить ее возвратиться в Гамбург. Они, конечно, догадываются, думала она, насколько изнурительны эти бесконечные хлопоты. Но если ей удастся увидеть мужа, то все, все будет тогда оправдано.

Но иногда ее охватывало сомнение. Может быть, Эрнста уже нет в живых, или он в таком состоянии, что его ни за что не покажут? С отчаянной тоской сознавала она всю тщету своих надежд и глубокое свое одиночество. Зная, вернее догадываясь о том, что гестапо постоянно следит за ней, она старалась как можно реже встречаться с друзьями и знакомыми.

Но в тот день, когда ей сообщили, что завтра наконец-то будет дано свидание, ее переполнила такая шальная, сумасшедшая радость, которую просто нельзя пережить одной. Она выбежала на улицу и, сдерживая нетерпение, влетела в четвертый или даже пятый по счету автомат. Здесь, если ее даже подслушивают, не будет известно, кто звонит. Опустив монету, она набрала номер, который дал на этот случай товарищ, что привез ее из Гамбурга.

Нет, дело, конечно, не в избытке радости. Уж как-нибудь она справится! Каждый бы день такое. Нет, она звонила сейчас незнакомому другу не затем, чтобы сказать, как она сегодня счастлива. Ей ли не знать, какоо значение придавала партия этому свиданию! И сейчас она выполняла задание, которое лишь чисто случайно переплелось с ее личной жизнью. Относиться к этому иначе она себе не позволяла.

Лишь только в сердце своем они будут в те короткие минуты встречи мужем и женой, в улыбке, в глазах. И, конечно, в глазах тюремщиков, которые позволят им говорить только о семейных делах. Не это главное, не это. Товарищ Роза идет связной к товарищу Эрнсту. И сейчас она узнает, что должна передать ему под видом семейной беседы. Она не жалеет, что даже в такой час им нельзя говорить о себе. Именно в такой час! Потому что нет для Эрнста ничего важнее тех слов, которые она должна будет скрытно ему передать. И если есть у них надежда хоть когда-нибудь быть снова вместе, то и она зиждется на этих словах.

О чем ей было сожалеть, даже просто раздумывать, если дело Тельмана давно стало для нее неотделимой частью его существа. А значит, и ее тоже. Как редко, в сущности, они были вдвоем. Эрнста всегда окружали люди. Сколько она помнит, в квартире постоянно кто-нибудь был. Приходили перед собраниями, митингами, маевками и уж, конечно, после, чтобы подвести итоги. Да и сами они сблизились на митинге. Она даже не помнит, на каком. Но сам Эрнст — она словно увидела его тогда впервые, хотя они работали вместе, в одной прачечной — ей хорошо запомнился, на всю жизнь. Потом она привыкла к его ораторской манере, а тогда была поражена. Как непривычно просто, как удивительно просто он говорил. Словно ножом вспарывал нутро вещей. Он не убеждал, не доказывал, он открывал людям глаза. Нет, даже не открывал, ибо глаза людей и без того раскрыты. Он заставлял людей видеть. Он делал это так, что проблемы, на которые он обращал внимание, казались простыми и ясными. В тот самый первый раз он призывал рабочих объединиться в профсоюзы, которые будут стоять на страже их интересов. О чем еще мог говорить молодой профсоюзный руководитель, как не об этом? И казалось удивительным, как это еще находятся рабочие, которые не идут в профсоюз. Но, честно говоря, она не очень-то прислушивалась к его словам. Ей просто нравилось смотреть на этого тощего паренька с такой удивительно доброй улыбкой.

Наверно, тогда она в него и влюбилась. А поженились они за несколько часов до его ухода в действующую армию. И молодая фрау Роза Тельман, урожденная Кох, пережила первую большую разлуку. Да, именно тогда она и научилась ждать. И еще как ждать!

За все два года ее Эрнст не получил ни одного отпуска. Все солдаты, кого пощадила пуля, хоть ненадолго приезжали домой. Лишь худощавого усатого артиллериста

не отпускали. В наказание за антивоенную агитацию его после очередного госпиталя сразу же бросали в окопы. Он не перевоспитался, но ведь и не погиб! Может быть, и теперь он сумеет обмануть смерть, этот упрямый, упрямый Тельман? Сегодня это казалось ей очень возможным.

Да, недолго, очень недолго были они вдвоем. Даже их маленькая квартирка — они жили тогда на Симзенштрассе — им не принадлежала. Сразу же после войны, после Ноябрьской революции, она превратилась в партийный центр, в настоящий военный штаб.

Каждый, кто хотел, мог в любое время дня и ночи прийти на Симзен, привести с собой друзей. И постоянно гостили у них приезжие, иногда по месяцам. И все же она готова была со всем мириться, лишь бы он сам почаще бывал с ней. Но он привел в свой Гамбург революцию, и этим все было сказано. Он постоянно задерживался на собраниях, а когда возвращался, его ждали товарищи. Потом, далеко за полночь, сидел, подперев ладонью щеку, за книгами.

Однажды она не выдержала. Дала себе волю, что называется, на полную катушку. Потом выревелась. Один раз за все эти суматошные дни, бессонные ночи и за два года империалистической войны. Ни слова не говоря, он дал ей выплакать все до капельки, до последней слезинки. И когда, уже облегченная, она успокоилась и могла только всхлипывать, он сказал ей те самые слова. Спокойно, как всегда просто, с улыбкой, и она запомнила их на всю жизнь: «Роза! — сказал он, привлекая ее к себе.— Ты же знаешь, как я тебя люблю. Никакая другая женщина мне не нужна. Если же я иногда поздно возвращаюсь домой, значит, так надо. У меня есть партийные дела, их я никогда не оставлю. Ты же недовольна. Остается только одно: если ты меня очень любишь, твое сердце подскажет, какой путь избрать, чтобы наши интересы были общими».

Чего проще, кажется, а вот запомнилось. Он заставил ее взглянуть на все его глазами, и она поняла, что выбора для нее нет. Ах, не так это было легко, как кажется теперь, спустя много лет. Она не спала и всю ночь шмыгала носом. Но и он тоже не спал, хоть и делал вид, что спит крепко.

Не таким уж он оказался железным в этих делах. И ему было не слишком спокойно на душе, не очень-то безмятежно. И той ясности, с какой он сказал ей те самые, навсегда запомнившиеся слова, не было в его сердце в ту ночь. Но что другого выхода нет и быть не может, она поняла. И была благодарна ему за то, что он тоже не спал, что не было в глубине его сердца той простоты и ясности, которые всегда звучали в его речах.

Утром поднялась опухшая, невыспавшаяся и, пряча улыбку, проворчала: «Может быть, ты скажешь мне, что я должна делать? — И тут же, счастливо смеясь, кинулась к нему на грудь.— Я на все готова, только бы нам быть вместе!» И видела, что у него прямо гора с плеч свалилась, так он обрадовался. Но сказал в привычной своей манере: «Ну вот и хорошо!» — словно убедил в деловом споре, а затем добавил: «Участвуй в наших делах, живи нашими интересами». И слова эти были выстраданы, рождены несокрушимой уверенностью.

И так было всегда...

Она вспомнила ту страшную зиму двадцатого года, когда им пришлось особенно тяжело. Курс доллара поднялся до нескольких миллионов марок. Зарплату выдавали ежедневно, и люди спешили хоть что-нибудь купить на нее, пока не установится новый курс. За ночь деньги обесценивались еще больше. В этом неустойчивом, лихорадочном мире у них не было даже такой призрачной опоры, как ежедневная скачущая зарплата. Только пособие по безработице. На него нельзя было купить даже угля для отопления. Она сидела, укачивая маленькую

Ирму, в холодной кухне, где тусклый синеватый огонь газового рожка угрюмо и бессмысленно боролся с холодом и темнотой. Завернутая в теплое одеяльце, Ирма, может быть, одна во всем Гамбурге, не чувствовала, как неумолимо набирает бег чертово колесо, выбрасывающее из жизни тысячи и тысячи оглушенных, изверившихся людей.

Но и до маленькой Ирмы докатывался приглушенный рокот за туманным кухонным окном, рокот тревоги и неуверенности. Мучительно искажая в крике мокрый ротик, она вдруг заливалась слезами и долго не могла потом успокоиться. Может быть, ей просто не хватало молока или же с материнским молоком и в нее вливалась внезапная горечь.

Эрнст ходил по кухне, стиснув кулаки. От плиты к двери, от двери к столику с облупившейся краской. За окном задувал норд-ост, скрипели под ногами расшатанные половицы. Даже он не находил выхода. Мир раскололся на тысячи кусков и катился в пропасть. Эрнст, конечно, понимал, какие силы управляют этой внешне хаотической катастрофой. Но глобальные схемы политэкономии не могли подсказать ему, где достать хлеб, уголь и деньги на квартплату. «Так дальше жить невозможно, Роза! — сказал он, прислонившись к дверной притолоке. Она испугалась. Если даже он отчаялся, то выхода действительно нет и надеяться не на что.— Да, так больше продолжаться не может. Все должно измениться! Сейчас миллионы детей мерзнут так же, как наша Ирма и ты. У многих портовиков давно нет работы! Надо бороться, Роза, за лучшую жизнь!» Это она уже слышала, конечно, не один раз. Тельман оставался верен себе. И ей стало легче оттого, что среди мрака и холода умирающего мира было хоть какое-то постоянство. Слова Тельмана, как всегда, были предельно просты. Но сколько силы должно было быть в человеке, чтобы все еще верить.

и поддерживать веру в других. Она-то уж, во всяком случае, ему верила. В их квартирке по-прежнему толпился народ. Иногда кто-нибудь приносил с собой пакет угля или несколько поленьев. Становилось теплее. Веселое пламя уютно гудело за раскаленной дверцей печи...

— У аппарата,— деловито отозвался на другом конце провода незнакомый голос.

— Добрый день. Говорит Мария.— Роза инстинктивно огляделась, но ничего подозрительного не заметила.

— Здравствуй, Мария. Очень хорошо, что наконец позвонила. А то ты совсем нас забыла.

— Была занята. Сверхурочная работа. Теперь вот немного освободилась. У меня завтра свободный день.

— А сегодня?

— И сегодня тоже.

— Тогда приходи сегодня. Я буду ждать тебя через час на станции городской электрички Ноллендорфплац. Нет, через полтора часа. Тебе ведь нужно еще отпроситься с работы? Хоть ты и заслужила отдых, хозяина все равно же надо предупредить? Так?

— Да,— сказала она, соображая, что на дорогу ей понадобится меньше получаса, а за час она, конечно, избавится от возможной слежки, «отпросится у хозяина».— Буду через полтора часа.

Достав на ходу пудреницу, она поправила волосы, коснулась ваткой носа и щек. Сзади как будто никого не было. Быстрым шагом дошла до ближайшей станции подземки и села в поезд, идущий к центру. Но на следующей же остановке выскочила из вагона в самый последний момент, когда уже закрывались двери. Поезд тронулся. После нее никто из него не вышел. Побродив на платформе, она поднялась наверх. Села в первый попавшийся трамвай и доехала до очень оживленной

улицы. Это была длинная Кантштрассе. Возле старинной башни с часами продавали бананы, крашеные хлебцы и фиалки. С натужным горловым стоном ворковали голуби.

Она вдруг подумала, что весна в самом разгаре. Где-то играл патефон. Заезженная пластинка пела танго «Берлин танцует». Тротуары и мостовые залиты солнцем. Улица была красочной и беззаботной.

Часы на башне громко пробили двенадцать. У нее еще чуть больше часа. Она остановилась у витрины универсального магазина. Полюбовалась туфельками из кожи ящерицы, хрустальными гранями флаконов Герлена, воздушными валансьенскими кружевами. Под весенним ослепительным солнцем, среди этой пестрой снующей толпы витрина была неплохим зеркалом.

Роза вошла в магазин и поднялась на верхний этаж — в кафе. Неторопливо выпила стакан молока с бриошью. Подкрасила губы. Как только в кафе появились новые посетители, она бросила пудреницу в сумочку и встала. Медленно пройдя через весь зал, вышла в другие двери. Но вдруг, будто вспомнив, быстро вернулась и разменяла десять марок. В кафе ничего не изменилось. Никто из пришедших после нее не выказал намерения встать.

Оказавшись вновь на Кантштрассе, она взяла такси и доехала до Тиргартена. Ранняя бабочка неуверенно порхала над травой, проросшей сквозь перегнившие листья. Мимо фонтана, где рабочие заделывали цементом трещины, она прошла на мост Геркулеса. Облокотившись о чугунные перила, полюбовалась тихой посветлевшей водой канала и направилась к площади Большой Звезды, чтобы доехать на чем-нибудь до Ноллендорфа. Время позволяло...

Она пришла немного раньше назначенного срока. Став в сторонке, смотрела, как приходят и уходят городские электрички. Она не знала того, с кем должна была встре-

титься, и потому не всматривалась в мелькающие лица, никого не искала в толпе. Просто ждала.

Она не видела, как он подошел к ней, и едва заметно вздрогнула, когда ее тихо окликнули:

— Мария.

Она обернулась. Перед ней стоял худощавый молодой человек. Каштановые волосы гладко зачесаны назад, черные внимательные, без улыбки, глаза.

— Меня зовут Герберт,— представился он.

— Здравствуйте, товарищ Герберт, — она медленно пошла рядом с ним по перрону.

Очередная электричка прогрохотала по виадуку и с шипением сбавила ход. Люди на платформе зашевелились. Здесь было самое подходящее место для разговора, хотя каждые десять минут металлический грохот заставлял их умолкать.

— Я не знаю, что за этим кроется, но они согласились дать свидание.— Роза коротко пересказала Герберту свой разговор в гестапо.

— Вынуждены были, товарищ Роза. Борьба за его освобождение приобретает все более широкие масштабы. Организован международный комитет. На борту каждого немецкого судна в зарубежных портах рабочие пишут: «Свободу Тельману!» Эти же слова — на заводских трубах пограничных городов Чехословакии, Австрии. Германские посольства забрасываются письмами и петициями. Самые знаменитые люди мира требуют освободить Тельмана. Нацистам просто не оставалось ничего другого... Партия решила как можно скорее освободить товарища Тельмана из тюрьмы. Вы понимаете?

Она только кивнула в ответ, потому что не смогла говорить, так сильно вдруг заколотилось сердце.

— Нацисты явно в затруднении, — продолжал Герберт. — Мы не должны дать им опомниться, придумать новую подлость, переменить тактику. Понимаете?..

Постарайтесь передать Тельману, что мы разрабатываем план побега. Я связной. Первое время мы будем держать связь с ним через своих людей в тюрьме, потом, надеюсь, сможем установить непосредственное общение. Это вы ему передайте. Пусть ждет и готовится. И еще передайте, что, несмотря на всю тяжесть ударов, партия живет и работает. Вы сумеете рассказать это товарищу Тельману под видом разговора о домашних делах?

— Да, товарищ Герберт, сумею. Мы поймем друг друга.

— Прекрасно! Скажите ему еще, что всей работой по-прежнему руководит Политбюро и его оперативное представительство внутри страны, в которое входят Шеер и Ульбрихт. Пик, Флорин и Далем — в Париже. Имен не называйте. Послезавтра в это же время буду ждать вас на остановке электрички у Штеттинского вокзала. Если не сможете прийти, позвоните. Ну, всего вам самого лучшего,— он сжал ей локоть и вошел в вагон подошедшей электрички.

Регирунгспрезидент **Лигниц, 2 июня 1933 г.**

Секретно! Строго конфиденциально!

Циркулярное распоряжение.
О коммунистической деятельности.

Уже почти в течение месяца наблюдается чрезвычайная активизация нелегальной организационной деятельности коммунистических функционеров. Для оценки коммунистического движения, несколько месяцев тому назад целиком перешедшего на нелегальное положение, совершенно не важно, хотя это часто упускается из виду, различие между КПГ, Межрабпомом, Революционной профсоюзной оппозицией и другими вспомогательными и примыкающими к партии организациями. Полиции следует всегда иметь в виду, что эти организации в то время, когда они существовали легально, служили лишь для того, чтобы маскиро-

вать подрывную деятельность коммунизма, и что все эти организации, поскольку они еще существуют, в настоящее время служат той же цели, что и нелегальный партийный аппарат.

...После того как нам удалось путем ареста большей части функционеров парализовать основной руководящий аппарат КПГ, внимание полиции должно быть постоянно направлено на то, чтобы следить за появлением новых руководителей и своевременно арестовывать их.

Глава 18

Берлин, NW *40,* *Альт-Моабит*

Они стояли друг против друга, разделенные узким зарешеченным коридором, по которому, заложив руки за спину, ходил надзиратель. Их руки могли пролезть сквозь прутья, но не могли встретиться. Им разрешалось только смотреть и, если они хотели, говорить, но не о тюремном режиме, политике, обстоятельствах дела и прочих так или иначе связанных с его заключением вещах.

Она вышла на свою зарешеченную половину первой и приготовилась к долгому ожиданию. Но не прошло и двух минут, как там, на недосягаемой стороне, открылась дверь. Он вошел в комнату как всегда, уверенный и спокойный, может быть, только несколько осунувшийся, усталый. Улыбнулся, ласково подмигнул ей и, широко расставив ноги, остановился у решетки. А ее руки сами собой отчаянно вцепились в черные толстые прутья от пола до потолка, словно это она, а не он, пребывала в заключении. Она что-то шептала, беспомощно шевеля губами, не находя слов, может быть, не понимая или забыв все, что готовилась сказать.

— Здравствуй, Роза! — он уже забыл, что хотел отговорить ее от встречи.

Она пришла, и вот он видит ее, может тихо сказать ей: «Здравствуй, Роза». Казалось, он заставил себя привыкнуть к мысли, что если они и увидятся когда-нибудь, то очень нескоро. Эта насильственная привычка должна была успокоить его. Но облегчения она не принесла. Не потому ли весть о свидании с Розой отозвалась всеоблегчающей радостью, в которой потонули все сомнения и тревоги, тяжелые мысли о том, как он будет справляться со своими сердцем и памятью, когда вновь останется в долгом одиночестве.

Когда он увидел ее, то почти успокоился, словно все случившееся за эти несколько недель было сном.

— Ну, здравствуй же, здравствуй, дорогая моя!

Она замотала головой, сглотнула колючий слезный комок и вымученно улыбнулась:

— Здравствуй, Эрнст,— и тут же нахмурилась, заторопилась.— Мне так много надо сказать тебе. А времени у нас...— она беспомощно пожала плечами.

Надзиратель все так же ходил туда и обратно по коридору, глядя прямо перед собой, словно не было по обе стороны ни этих людей, ни самих решеток, словно дефилировал он между непроницаемыми стенами.

— Как отец? — пришел ей на помощь Тельман.

— Отец? — она взяла себя в руки, как растерявшаяся ученица, вытянувшая счастливый экзаменационный билет.— Отец все еще болен.— Нужные слова являлись как бы сами собой. Она хорошо знала, что слово «отец» значило «партия».— Состояние очень тяжелое, он обессилел за эти дни. Очень волнуется за тебя. Но держится. Он просил передать тебе, чтобы ты не беспокоился о нем, он переборет болезнь.

— Но он уже выходит на улицу?

— Д-да,— будто преодолевая сопротивление, кивнула

она.— В последние дни. Немного оправился и стал выходить, но, конечно, еще не очень далеко, вблизи дома.

— Хорошо бы вывезти его за город. Ведь уже весна, Роза, весна!..

— Мы так и хотим, Эрнст. Вот только с врачом посоветуемся. Он ведь должен быть под постоянным наблюдением. Некоторые из его врачей уже выехали на море, но кое-кто остается в городе. Одним словом, он не окажется без медицинского присмотра. Не беспокойся...

— Да? Меня это очень волнует, очень. Как Ирма? Она все такая же маленькая или немного подросла?

— Немного подросла. Особенно в последнее время.

— Я так и думал,— улыбнулся он.

— У нее очень хорошие друзья. Если бы ты мог видеть их, они бы тебе понравились.

— Может, когда и увижу.

— Надеюсь, что скоро. Так что не беспокойся, у нас все более или менее благополучно. Да! Чуть не забыла самое главное... Отец видел тебя во сне. Ему снилось, что ты вез фургон с пивом. Он долго был под впечатлением этого сна. Все рассказывал нам, как видел тебя нагруженным ящиками с пустыми бутылками.

— Странный сон.

— Я думаю, это к добру.

— Наверно, на отца подействовал свежий весенний воздух. Он же долго не выходил из дома. От воздуха пьянеешь почище, чем от пива. Эх, с каким наслаждением я бы выпил сейчас кружечку!

— Потерпи. Твой адвокат...

— Об этом не разрешается,— монотонно прогнусавил надзиратель, не прекращая своего возвратно-поступательного движения, равнодушный, как вышагивающий по клетке волк.

— Хорошо...— она смешалась, не находя других слов.

— Ну, ничего, Роза. Это я так. Пусть отец не беспо-

коится обо мне, и ты не беспокойся. Я буду терпеливо ждать перемены в своей судьбе.

— Да-да! Обязательно жди! — обрадовалась она.— Я так очень жду, и отец тоже.

— А дочка? — он лукаво прищурился.— Она не забудет своего папочку?

— Нет, она не забудет. Мы с ней только о тебе и говорим. Может быть, и ей разрешат повидаться с тобой.

— Вот это будет здорово! Очень даже здорово.

— Свидание заканчивается.— Надзиратель так и не взглянул на них.— Заканчивается. Прощайтесь. Свидание заканчивается.

Роза заволновалась, лихорадочно припоминала, закусив губу, что еще ей надо сказать. Да и понял ли он все до конца? Смогли ли ее глаза досказать то, о чем умолчали губы?

— До свидания, Роза! — торопясь, Тельман повысил голос.— Я рад, что отец поправляется. А как там наш дедушка?

— Хорошо. Хорошо! — она часто закивала.— Дедушка Тельман хорошо. Он не болеп. И все у нас хорошо...

Дверь за ним закрылась. Его увели. Она осталась одна.

Значит, они готовят побег, думал Тельман по пути в камеру. Но это же очень трудно, почти невозможно. Придется преодолеть колоссальные трудности... Но может быть, я неправильно ее понял? Нет, правильно. Иначе зачем тогда сон о пивном фургоне?

Он хорошо помнил тот случай с фургоном...

Зимний застывший Гамбург. Закрыты двери, спущены жалюзи. Вымерший город, вымерший порт. Черные силуэты запрокинутых в дымное небо кранов. Луна несется сквозь пепельные облака. Норд, завывая, мчится по пустым улицам. Дождь со снегом пополам летит мимо

раскачивающегося фонаря. Пятна света и тени колышутся на мокрой брусчатке. Вымерший город, пустые черные пристани тридцатого года, года всемирного кризиса, когда недолгое благополучие «ржаной» марки лопнуло и все опять полетело к чертям.

Толпы безработных стекались к городу. Голодные, изверившиеся люди, подгоняемые зимой, подобно волкам, сбивались в стаи. В последнем отчаянном броске, в безмолвном марше собирались пройти они по гамбургским улицам. Подобно снежному кому, собирал «голодный марш» рабочих, батраков и разоренных экономическим кризисом крестьян — всех отчаявшихся и обездоленных Киля, Любека, Люнебурга, Гамбурга и Бремена. Полиция вначале бездействовала, быть может надеясь на то, что сильные морозы разгонят ослабевших от голода людей по домам. Но в домах не осталось ни еды, ни тепла, а у многих и дома не осталось. Была только страшная память в сосредоточенных и отрешенных глазах. Память о крови и нечистотах, о газовых атаках войны, густое похмелье после калейдоскопических перемен. Тут было все: недолгая революция, которую они не посмели довести до конца и незаметно отдали в опытные палаческие руки вчерашних врагов, путчи, мыльные пузыри биржевых курсов, чудовищная, вызванная нуждой и отчаянием инфляция моральных устоев, простых человеческих чувств. Страшная накипь кризиса, которая, застывая, могла принять любые формы. Нужда разъедает душу, как ржавчина.

Послевоенные вокзалы, пакгаузы, ночлежки, гороховый суп «армии спасения», пособие по безработице, города, деревушки и фольварки Германии, эмиграция и возвращение, подобное краху.

Эти люди могли пойти за красным флагом с серпом и молотом и за красным флагом со свастикой в белом круге. Мороз их не остановит, ибо пришли они из мрака

и холода. Эту простую истину хорошо понимали и в Доме Карла Либкнехта, и в «коричневом» доме. Наконец она дошла и до полицай-президиума. «Голодный марш» был задним числом запрещен вместе с заранее объявленными демонстрациями и митингами на гамбургских улицах. Шупо заняли помещение гамбургского окружкома на Валентинскамп, редакцию коммунистической газеты, под теми или иными предлогами арестовали многих партийных активистов. По отношению к НСДАП — национал-социалистской рабочей партии Германии — никаких репрессий не последовало. Страна шла своим неизбежным путем к выборам тридцать третьего года.

Полиция знала, что Тельман находится в Гамбурге. Но арестовать депутата рейхстага, находившегося под охраной парламентской неприкосновенности, можно было только на месте преступления: на нелегальном собрании, например, во время запрещенного полицией «голодного марша». Но это была скорее чисто теоретическая возможность. Полиция хорошо понимала, что рабочие не дадут арестовать Тедди у них на глазах. Идти же на серьезный инцидент с новыми жертвами — гамбургская полиция за последнее время несколько раз открывала огонь — было рискованно. Город и без того наполнялся «взрывоопасным элементом» Приморья. Безработные, пусть один из десяти, дошли до Гамбурга, и толпы людей устремились в район порта, где легче стрельнуть чего-нибудь съедобного. Ресторан Затебиля, в котором Компартия собиралась устроить митинг, был заблаговременно наводнен шпиками.

Через подставных лиц сняли помещение в самом аристократическом районе, где полиция меньше всего могла ожидать рабочей сходки. Хозяину сказали, что его ресторан арендует союз животноводов из Люнебурга. Но это была лишняя предосторожность — хозяина интересовала только плата.

Задолго до срока рабочие поодиночке устремились в

аристократические кварталы. Подозрений это не вызвало. К началу митинга зал был полон. Пришли все, кто был оповещен. Но полиция могла нагрянуть в любой момент, и действовать приходилось быстро и четко. Каждому оратору давалось не больше десяти минут. На сцену поднимались посланцы рабочих Приморья. Проблема у всех одна: хлеб.

Он появился из-за кулис после пятого оратора. Под гул приглушенных голосов: «Тедди!» — подошел к самому краю сцены, могучий тяжеловес в синей морской фуражке, и приветливо помахал рукой. «Тедди!» — новым вздохом ответил зал. Но секретарь окружкома тихо сказал: «Не приветствовать. Не аплодировать». Гул, медленно спадая, как рокот отхлынувшего прибоя, стих. Взошел на трибуну и еще раз приветливо поднял руку. В настороженной тишине взметнулся ему навстречу лес рук. Он привык говорить громко, быстро, иногда повышая голос до крика, звонкого, резкого. Ему с трудом удавалось приглушить свой зычный, темпераментный голос портовика. Поэтому теперь он говорил медленно, мучительно подбирая подходящие слова. Казалось, он напрочь разучился произносить речи. Но зал был спаян с ним какой-то неведомой электрической связью, тем напряженным взаимопониманием, когда все кажется понятным с полуслова. И если бы не секретарь с его предостерегающе поднятой рукой, оратору отвечали бы возгласами одобрения. Но когда он, закончив выступление, вновь поднял сжатую в кулак руку, люди не выдержали и дружно зааплодировали. «Тише, товарищи! Тише! — в отчаянии закричал секретарь.— Вы же понимаете, чего это нам может стоить!»

Но он уже скрылся за кулисами. Зал затих. Митинг посланцев рабочего класса приморских городов продолжался.

В полутемном коридоре, пропахшем кухней и табаком, его ждал человек. Зачем-то вытерев руки о потертый

передник из облупленной синей клеенки, он, словно нехотя, отвалился от стены и ногтями отлепил с губы докуренную до исчезающего кончика сигарету. «Кто вы?» — спросил сопровождавший Тельмана секретарь райкома.— «Я не к вам, я вон к нему,— он вздернул обросший к вечеру подбородок.— Я тут пиво вожу, возчик я... Помнишь, мы еще сидели с тобой в трактире у Мака? А тебе лучше на улицу не выходить. Понял? С минуты на минуту нагрянет полиция».— «Откуда ты знаешь?» — «Случайно, Тедди! Я стоял тут возле телефонной будки и слышал, как один мерзкий шпик докладывал, что ты здесь. Понял? На всякий случай я хорошо запомнил его поганую рожу. Рыжий такой, на висках волосенки кудрявятся, а над левой ноздрей нарост такой, вроде розовой шишки. Имей в виду».— «Спасибо тебе, товарищ, но мне необходимо немедленно ехать на вокзал. Через полчаса отходит берлинский скорый, а завтра на семь вечера назначено заседание Центрального Комитета партии...» — «Да нельзя тебе выходить, Тедди! О чем я тебе и толкую! Ты думаешь, тот рыжий ушел? Черта с два! Слушай, Тедди, если ты выйдешь на улицу, то пусть меня съедят черти, в Берлин ты сегодня не попадешь. Понял? И не суйся в таком виде...» — «Что значит «в таком виде»?»

Возчик только хмыкнул и, наклонившись, поднял с пола сверток. Развернув газету, достал такой же, как был на нем, синий фартук и кожаный картуз. «Бери, Тедди. Это вещи моего грузчика. Сам-то он болен и сидит дома, а его спецовка осталась в фургоне. Понял? Я, Тедди, как только услышал разговор того рыжего гада, сразу смекнул, что эти вещички очень даже могут нам пригодиться. Я уже все как следует обмозговал. Ты давай переодевайся и берись за ящики с бутылками. Понял? — и, одобрительно следя за тем, как Тельман без лишних слов стал снимать куртку, добавил, кивнув на секретаря райкома: — А куртку свою и фуражку отдай ему. Вот так.

Ящики не тяжелые, не бойся. Давай берись! Бутылки пустые». «Ну-ну! — усмехнулся Тельман.— В порту приходилось таскать и потяжелее».

Когда Тельман поднял поставленные один на другой три ящика и, прижав их к животу, двинулся к заднему выходу, рабочая охрана подняла тревогу: у ресторана остановились машины с полицией. Шупо спрыгивали с грузовиков и, придерживая полы шинелей, бежали оцеплять ресторан. Не обращая внимания на перепуганного хозяина, в помещение влетел молодой вахмистр. Его пальцы нетерпеливо скребли сверкающую кожу кобуры.

«Всем присутствующим оставаться на месте! — крикнул он, вбежав в зал, и, обернувшись к полицейским, махнул рукой: — Давайте!» Шупо тремя темно-синими цепочками устремились к рампе.

Возчик и новый его подручный со звоном опустили тяжелые ящики на пол. Половчее примерились, и Тельман взвалил ношу на спину. Так было куда удобнее идти с опущенной головой. Миновав темную кладовую, они вышли на задний двор. Там уже стояли полицейские цепи. Возчик кивнул унтер-офицеру и проворчал: «Добрый вечер! Здесь, кажется, того и гляди начнется потасовка? Надо спасать бутылки, пока не поздно. А то и осколков не соберешь». Но полицейский не посторонился и не дал им пройти. «Дорогу, господа! — гаркнул возчик.— Поберегись!» Он шел на унтер-офицера, как бык на матадора. Тот поспешно отскочил в сторону.

Двигаясь вслед за возчиком, Тельман повернул низко опущенную голову и неосторожно задел какого-то шупо краем обитого жестью пивного ящика. «Эй, парень! — услышал он за спиной недовольный голос.— Поосторожней! Ты сбил у меня с головы каскетку».

Пивной фургон, как назло, стоял рядом с полицейскими грузовиками. Вся улица была перекрыта.

Они поставили ящики на мостовую и по одному стали

заталкивать их в фургон. Перезвон стекла и жестяной скрежет огласили улицу.

«Побыстрее,— к фургону подошел начальник поста.— Поторапливайтесь. Эти «голодные» еще тут?» — он кивнул на ресторан.— «А куда они денутся,— сплюнул возчик.— Их из ресторана не скоро выгонишь,— он усмехнулся.— А что? Кажись, у них там какой-то митинг?». «Да, митинг,— полицейский достал сигарету.— Спички есть? Их знаменитый Тедди тоже тут. На сей раз ему не отвертеться! Будь спокоен. Шум будет!». «Прикуривайте, пожалуйста»,— возчик зажег спичку и, защищая шаткий ее огонь в чаше рук своих, повернулся к полицейскому. А его подручный, который молча прислушивался к беседе, взял вожжи и вежливо пожелал: «Удачи вам, господин вахмистр!» Возчик полез к нему на козлы, и фургон тронулся. Медленно проехав мимо полицейских автомашин, он свернул в узкую затемненную улицу и загрохотал по брусчатке. Стукаясь друг о друга, бутылки выбивали тревожную перепутанную морзянку. Когда подъехали к перекрестку, где была трамвайная остановка, Тельман, натянув вожжи, остановил лошадь. «Здесь я сойду,— сказал он, снимая передник.— Не найдя меня в зале, они поймут, в чем секрет, и бросятся в погоню. Поэтому мне лучше сойти. Спасибо, товарищ!» «А как же ты это... без куртки, Тедди? Замерзнешь ведь к чертовой матери! Возьми-ка хоть это,— он полез под сиденье и достал толстую коричневую куртку.— Понял? Потом перешлешь мне».

Тельман надел куртку. Она была ему малость коротковата, но грела хорошо. «Возьми себе мою,— улыбнулся он.— Я скажу ребятам, чтоб они тебя нашли».

Подошел трамвай. Центр — Вокзал — Винтерхуде — Гавань. Тельман вскочил на подножку и, сжав руку в кулак, кивнул возчику.

Через пятнадцать минут он уже спокойно сидел в ва-

гоне берлинского скорого. Депутатский «билет на дальнее расстояние» он всегда носил при себе и мог ехать любым поездом в любом направлении.

В это же время все пивные фургоны, которые появлялись на улицах Гамбурга, останавливала и обыскивала полиция. Особенное внимание было приказано уделять фургонам с двумя седоками. Сообщались и некоторые характерные приметы разыскиваемого фургона, не ускользнувшие от бдительного ока полиции: лошадь светлой масти (не то белая, не то серая), пустые бутылки в ящиках из-под пильзенского пива. На последнее почему-то полиция обращала особое внимание...

Да, ящики с пивом, бутылки, кстати, были из-под гамбургского,— это неожиданная помощь, это неизвестный друг, это дерзкий побег из-под самого носа полиции. Только так он и понимает слова Розы. Иначе зачем вдруг вспоминать ей этот эпизод, пусть памятный, но всего лишь эпизод, один из многих в многотрудной жизни его, когда на свидании столько осталось недосказанного, необходимого, важного, а время неумолимо летело. Значит, это было важнее всего, что она не успела ему сообщить. Только так он и понимает.

Значит, он должен готовиться к побегу. Готовиться и ждать. Предприятие, безусловно, трудное, но не безнадежное, нет, далеко не безнадежное. Алекс совсем не то место, из которого нельзя убежать. При хорошей организации дела побег должен удаться... Неужели это возможно? Снова свобода, борьба, терпкий ветер лесов и полей, соленый ветер с моря. Люди, товарищи, заполненные людьми улицы, черт возьми, даже просто какая-нибудь портовая таверна с холодным пивом, и чтоб пена была густая и вязкая, с горьковатым привкусом хмеля, вкусным духом хорошего ячменного солода.

Надо подумать, надо продумать все сто раз, все хорошо надо продумать. Алекс можно перехитрить.

Моя дорогая Роза!

...Посланное мною 20.III письмо с особой просьбой к господину верховному прокурору в Лейпциг, вероятно, ускорило мой перевод в следственную тюрьму. Теперь по крайней мере сделан шаг вперед в судебном расследовании моего дела.

Перевели меня очень быстро, в течение одного часа. Здесь опять-таки совершенно иные правила и предписания, чем в полицай-президиуме. Только что узнал, что со стиркой белья здесь дело обстоит гораздо хуже. Если мне откроют частный кредит, то белье будут стирать здесь же, в тюрьме... Пока что чистого белья у меня здесь еще на несколько недель. Для выполнения всех этих необходимых мелких дел мне было бы желательно твое содействие. Если господин адвокат, которому я тоже сразу же сообщил о моем переводе, получит разрешение на свидание, то ты будешь избавлена от многих хлопот.

...К сожалению, за все это время я так и не увидел нашу дочь, хотя мы и договаривались, что я ее увижу, если мое предварительное заключение затянется на некоторое время. Шлю ей особенно сердечный привет.

Мой отец определенно будет поражен тем, что меня неожиданно перевели сюда.

Камера у меня чистая, но опять одиночная.

Твой любящий Эрнст.

Глава 19

Начальник штаба

Промозглым осенним вечером в особняке начальника штаба штурмовых и охранных отрядов Эрнста Рема на очередной бирабенд ждали гостей. В этот

раз на «вечер с пивом» были приглашены иностранные дипломаты, финансисты, промышленники и, конечно, военные. Бывший капитан генштаба и старый фронтовик не порывал связей в Бендлерштрассе, где находилось министерство вооруженных сил — рейхсвера. Даже в годы скитаний по материкам и странам, когда он, подобно легендарным кондотьерам средневековой Европы, продавал свою шпагу разным экзотическим правительствам, старые камрады не раз выручали его, приходили на помощь. Если бы не толстяк, который до сих пор не может простить ему, что именно его, Рема, Адольф поставил тогда во главе СА, эти связи были бы еще прочнее. Но ничего, он своего добьется! Его ребята еще войдут в рейхсвер, причем на правах гвардии! С полным зачетом воинских званий. Он еще сделает своих группенфюреров генералами. Но, конечно, не для того, чтобы они щеголяли перед девками малиновыми отворотами плащей. Он приведет их на Бендлерштрассе, как Наполеон своих маршалов в завоеванную Европу, а они добудут ему корону. Нет, не императорскую. Она ему не нужна. Германией повелевает тот, у кого в руках армия, а он добьется единоличной власти над рейхсвером. Во что бы то ни стало нужно объединить с армией штурмовые отряды. Это его троянский конь. Имперскую же корону лучше надеть на более аристократическую башку. Для этого есть кронпринц или его сынок Фридрих Гогенцоллерн — продувная бестия. Говорят, он последнее время заигрывает с толстяком, но это не беда. В партии его, Рема, давно знают как заядлого монархиста. И правильно! Народу нужно национальное знамя, традиционное, вечное. Третий рейх — это недурно придумано, но на вершине его должен стоять не фюрер, а кайзер — вот знамя, которое достойно осенить рейхсвер и Эрнста Рема — истинного имперского вождя и полководца.

Адольф слишком слаб. Хорошо еще, что его не то де-

душка, не то папаша догадался сменить фамилию. А то, хорошенькое дело — Шикльгрубер! Хайль Шикльгрубер! Недалеко бы ушли мы с такой фамилией! Адольф сделал свое дело, теперь ему пора дать почетную отставку. Пусть будет председателем партии, даже фюрером тысячелетнего рейха. Надо отдать ему должное — он это заслужил. Но вот на кресло рейхсканцлера надо другую задницу... Это придется сделать сразу же, как только он получит в свои руки рейхсвер. Что там ни говори, а революцию сделали его штурмовики. Если же за спиной таких ребят будет стоять немецкий солдат, то их ничто не удержит. Они уже показали недавно свою силу этой иностранной швали, которая съезжается сейчас в его, Рема, особняк на Маттхайкирхенштрассе, когда прошли гусиным шагом через весь Берлин. Да, это было зрелище! Сто тысяч отборных штурмовиков в полной форме с факелами и знаменами штандартов в руках! Вся Унтер-ден-Линден, вся Фридрихштрассе залиты огнем. Прожектора, флаги, музыка. Красные полотнища со свастикой, красно-белочерные прусские. Бой барабанов. Рев приветствия из миллиона глоток. Ничего, что ребята кричали тогда «Хайль Гитлер!». Он-то знает, какого труда стоит удержать их от восторженных воплей «Хайль Рем!» в казармах.

Ах, как они прошли, чеканя шаг, под победной квадригой Бранденбургских ворот! Карл Эрнст нарочно провел их мимо цейхгауза и дальше, к небоскребу «Шеллхауз», у самой Бендлерштрассе. Пусть старые камрады убедятся, что ремовские мальчики идут прусским шагом не хуже лейб-гвардейцев. Кое-кому это здорово не понравилось. Хромоногая обезьяна Геббельс стал зеленым, а боров, говорят, прошипел, что у нации не может быть двух вождей. Наверно, это было тогда, когда он, Рем, полез на трибуну и стал рядом с Адольфом. Толстяк глуп. Адольф просто не мог не пригласить на трибуну вождя

боевых отрядов партии. Но насчет двух фюреров — это он прав. Пора кончать.

Глянув в зеркало, Рем усмехнулся, обрызгал себя из пульверизатора одеколоном и направился к мраморной, застланной малиновым ковром лестнице встречать гостей. Уж кто-кто, а он меньше всего отвечает идеалу «нордического человека», бредням о голубоглазом полубоге с золотыми волосами и бело-розовой кожей, с какими носится этот барончик, русский прибалт Розенберг. Адольф с его мистическими откровениями любит таких умников.

Проходя через гостиную, которую бывший владелец особняка обставил чиппендейловской мебелью, он застал там своего наперсника доктора Белла и Хайнеса. Они играли в скат и тихо выпивали. Перед Беллом стояла бутылка баккарди, ангостура и вазочка со льдом — он сбивал себе порцию дайкири. Хайнес без затей пил мартель.

— Не рано, мальчики? — улыбнулся Рем.

— Самое время, шеф.— Белл взглянул на часы.— Без пяти семь. Через пять минут начнется прием, и надо будет пить пиво.

— Верно! — заржал Хайнес.— Есть новости, Эрнст.

— Важные?

— Как тебе сказать? Одним словом, Герман окончательно обделался с этим процессом. Мало того, что не сумел скрутить эту красную сволочь Тельмана, с которым все вы так цацкаетесь, так теперь он обделался и перед цыганом.

— Димитров — болгарин, — пояснил Белл, осторожно добавляя в смесь несколько капель золотисто-коричневой ангостуры.

— Это одно и то же,— отмахнулся Хайнес.— Важно, что Герман провалился.— Он всосал еще рюмку, зажмурился и, запрокинув голову, подождал, пока коньяк сам

собой перельется в горло. Только потом сглотнул и удовлетворенно выдохнул воздух.

— Приятный аромат,— кивнул Рем.

— Намекаешь, что расхищаю твои отборные запасы? Ничего, Эрнст, дай срок, это ничего. Мы еще развернемся.

— Не болтай, Эдмунд. Иди лучше встречать гостей. Да, имей в виду, что должен прибыть итальянский посол Витторио Черутти, так у него жена еврейка.

— Да? — вяло оживился Хайнес.— А мы-то при чем? Пусть об этом волнуется их дуче.

— Дуче пока такие вещи не интересуют,— нахмурился Рем.— Но я хочу предупредить возможность инцидентов. Ясно?

— Ясно, шеф.— Хайнес щелкнул каблуками.— Все будет хорошо. Итальянцы ведь! Все-таки братья по борьбе.— Он усмехнулся и, покачав головой, пошел к дверям, позолоченные ручки которых изображали сплетенных ящериц с человечьими лицами.

— Да, шеф.— Белл подождал, пока стакан запотеет, и отпил глоток ледяной смеси. Охладилась она, кажется, достаточно — алкоголь почти не ощущался.— Процесс явно провалился. И так последнее время было ясно, что дело идет к провалу. Теперь же весь свет увидит, какие мы все чурбаны, и в первую очередь этот боров. Знаешь, он все-таки форменный идиот.

— Ну, то, что Герман выставил себя идиотом, меня не очень печалит...

— Да. Это единственное отрадное явление в столь печальном деле.

— Печальном?

— А что вы скажете, если в один прекрасный день Димитров заговорит о том, что в хеннингсдорфской ночлежке поджигатель Ван дер Люббе тепло беседовал с бродягой по имени Франц Вачинский, который выполнял задание некоего доктора Белла?

— Не волнуйся, доктор, тебе это не идет. Девочки любить не будут. На кой черт ты мне тогда будешь нужен?

— В том-то все и дело! — вздохнул Белл и досадливо отстранился, когда Рем попытался потрепать его по голове.— После того, как Димитров, которого давно бы следовало прикончить вместе с Тельманом...— он остановился вдруг, потеряв мысль.— Да... После того, как Димитров потребовал, чтобы «незнакомец», с которым беседовал Ван дер Люббе в Хеннингсдорфе, был вызван в качестве свидетеля, я мертв. Мертвеца ведь нельзя вызвать в суд, не так ли?

— Ну, полно болтать ерунду! Чего ты перепугался? Суд же не удовлетворил его просьбы. Мало ли кого хотел Димитров взять в свидетели! Того же Тельмана, к примеру. Это же ход, доктор! И какой! Во-первых, еще один агитатор, во-вторых, условия, в которых содержится Тельман, облегчаются, он получает доступ, так сказать, в широкий мир. Но мы предпочли оставить Тедди в Альт-Моабите, где самому Димитрову было так хорошо,— Рем усмехнулся.— Он ведь и русских вождей предлагал вызвать в Лейпциг... Да успокойся ты!

— Вы недооцениваете опасность, шеф,— Белл не сдержал досадливой гримасы.— Моя связь с этим дебилом Ван дер Люббе каждую секунду может стать явной. А от меня до вас только один шаг...

— Ну, он-то как раз и не будет сделан,— холодно заметил Рем.

— Разумеется! Как только назовут имя доктора Белла, его собьет машина или он при загадочных обстоятельствах сдохнет в тюремной камере. Так?

— Кому ты это говоришь? — Рем налился кровью.— Ты что, меня обвиняешь?

— Нет, конечно.— Белл сразу же сбавил тон.— Но Геринг дремать не станет, и Гиммлер тоже, будьте спо-

койиы, шеф. Я неглупый человек и вижу, как могут пойти события. Согласитесь, что я кровио заиитересоваи в том, чтобы направить их, так сказать, в другое русло.

— Ты же зиаешь, что я ие бросаю друзей!

— Я и не говорю. Но ведь под автомобиль каждый может попасть? Случайио. Как Вёль, например.

— Я подумаю и постараюсь вывести тебя из игры заранее.

— Как Германн вывел «фраита»?

— Не понимаю. Не в курсе.

— «Франт» был в ту ночь во дворце.

— А, высокопоставлеииые свидетели?

— Да. Ои все, коиечио, раскусил и, когда иачался этот дурацкий процесс, спросил Гермаиа: «Меия тоже привлекут в качестве свидетеля?» «Сиди и не рыпайся,— ответил толстяк,— только тебя иам ие хватало!»

— Еще бы! Дела-то у Гермаиа пошли не блестяще.

— Но я бы предпочел даже такой выход. Вы должны меня прикрыть.

— Обещаю тебе это.

— Теперь я спокоеи. Спасибо, шеф. Геринг, кстати, хвастался иа дие рождеиия у фюрера, что поджег говорильию. При этом был генерал Гальдер.

— Ладио, теперь ие имеет значения. Поверят — не поверят, дело сделано. И сделаио хорошо.

— Но и вы с таким же успехом могли бы приписать эту заслугу себе.

— Мие такие лавры не нужиы.— Рем покачал головой.— Тем более теперь, когда боров так оскаидалился. У меия свои плаиы.

— Кто платит, тот и музыку заказывает.

— Что ты имеешь в виду?

— Гермаи официально взял все на себя, значит, ему и решать, кто нужеи, а кто иет. Если вы не прикроете меия перед фюрером, Гериит меня уберет.

— Я уже обещал тебе и повторяю, что ни один волос с твоей головки не упадет.— Рем ласково погладил его по голове.— Но как я это сделаю, предоставь уж мне решать. Если Герман официально взял все на себя, я встревать не буду. Пусть проваливается на здоровье.

— Тогда я почти покойник,— Белл допил дайкири и направился к дверям.

— Постой,— остановил его Рем.— Не уходи, я хочу с тобой еще поговорить. Но потом, когда закончится вечер. А сейчас я все же пойду встречать гостей. Будут важные господа, как-никак! Директор банка «Дисконто гезельшафт» Солмсен приглашен?

Белл угрюмо кивнул.

— Очень хорошо. Он мне нужен.

— Зачем вам понадобились эти дипломаты, шеф? И эта скользкая гадина Руст?

— Министр просвещения Бернгард Руст, мой дорогой доктор, не говорит по-английски, а я, кондотьер и вселенский бродяга, говорю. Смекаешь теперь? Дипломаты, которые уже видели меня на трибуне, пусть привыкают, что у Германии есть интеллигентный вождь.

— Ясно. Только почему такой странный набор гостей?

— Странный? Ничуть! Папский нунций — для протокола. Он дуайен. Так? Затем Франсуа-Понсе... Французик пусть будет на глазах, а то он у нас шалун. Ты мне не напрасно про Вёля напомнил. Сэр Эрик Фиппс лично мне очень симпатичен, да и сам он с пониманием относится к национал-социализму. Я даже этому русскому, Хинчуку, велел послать билет. А еще я ожидаю юного пресс-атташе из датского посольства. Если бы ты видел, доктор, что это за мальчик! Какой лыжник!

— Это уже аморально, шеф! — подмигнул несколько повеселевший Белл.

— Знаешь, доктор, не переношу я этого слова. Нет более гнусной лжи, чем так называемая общественная



мораль. Я наперед говорю, что не принадлежу к добродетельным людям. Я не гонюсь и за тем, чтобы меня к ним причислили. А к «нравственным»,— он гадливо сморщил нос,— людям я и подавно не желаю принадлежать: опыт показал мне, какого сорта в большинстве случаев их «мораль»... Когда государственные деятели, народные, видите ли, вожди и прочие распространяются насчет морали, это обычно показывает лишь то, что им не приходит в голову ничего лучшего... Когда же на этом поприще подвизаются «националистические» литераторы известного пошиба, в большинстве случаев не побывавшие на фронте и «пережившие» войну где-нибудь в тихой пристани, то этому, конечно, можно не удивляться... Но если само государство претендует на то, чтобы своими законами властвовать над инстинктами и влечениями человека и направлять их на другой путь, то мне это представляется неразумной и нецелесообразной установкой профанов... Да, я и Адольфа имею при этом в виду... Ну да ладно, заговорился я тут с тобой. Ты обязательно дождись меня. И прочти еще раз стенограмму процесса, отчеркни самое интересное. Некогда мне читать эту муру.

Он задержался у дверей, щелкнул по носу одну из ящериц и бодрым строевым шагом пошел к парадной лестнице, по которой уже поднимались первые гости — дипломаты второстепенных держав. Те, кто был в камзолах и шляпах с перьями, надели белые перчатки, господа в визитках — черные. Все было как полагается.

Рем облокотился на балюстраду и приосанился. Его непокорные жесткие волосы торчали наподобие щетки. Хозяин дома принимал высоких гостей в коричневой рубашке начальника штаба СА.

Глава 20

Город памяти

Тельман хорошо знал этот район Берлина. Пожалуй столь же хорошо, как и соседние с ним Шарлоттенбург или рабочий Веддинг. Колонна инвалидов на Инвалиденштрассе, кладбище, уголовный суд, фешенебельная Шарнгорстштрассе, а на другом берегу канала — верфи. Серая чешуйчатая крыша музея, закатное небо над ней, острый шпиль. Сказочный дракон, пораженный рыцарским копьем. Кровь облаков, уносимая быстрой водой.

Отсюда совсем недалеко было до центра... Было.

Теперь Моабит-Берлин сузился для него до стен старой тюрьмы Альт-Моабит. Чудовищно съежился в каменный мешок, затерянный в полуподвале корпуса «С» для «особо важных государственных преступников». Захлопнулся со звоном и скрежетом двух нестандартных замков бронированной двери. И ветер сорвал паутину...

Внезапно оборвались уже начинавшие налаживаться связи. В туманное далеко отодвигался побег. Надо было все начинать сначала. Вживаться в новый режим, нащупывать новые связи и ежечасно бороться за те жалкие мелочи, которые так быстро вырастали в тесноте камеры до проблем поистине жизненной важности.

Тельман грудью прижался к холодной стене и запрокинул голову. Он ловил легкое дуновение свежего ветра, далекий отблеск синевы. Как мал был этот осколочек неба за черными — в три ряда — прутьями! Вот его заволокла легкая дымка, вот показался край белого облака, и в камере потемнело. Словно в лесу перед грозой. Запрокинутая голова устает, и он чуть опускает ее, подбородком упирается в шершавый камень... Тишина кругом! Полное безмолвие в мире... Раннее утро, еще холодное и

туманное. Но уже неумолчно и безмятежно щебечут птицы. Мелькает быстрая черно-белая ласточка и исчезает за каменной грядой — границей его маленького голубого мира. Как ни становись, как ни запрокидывай голову, а больше ничего не увидишь. То, что появляется в окне,— появляется ниоткуда и исчезает тоже в никуда. И вновь, ликуя и пьянея от свободы и высоты, переворачивается в синеве ласточка. Белая грудка ее вспыхивает, как зеркало, в невидимом еще луче солнца.

Светло и празднично засияло это утро. Солнце преобразило даже стену камеры. Яркий луч сверкающей васильковой полосой прорезал тяжелую фиолетовую тень. Косой дорогой, звездным шлейфом Млечного Пути упало на стену солнце и сломалось на потолке.

Тельман замер и, словно завороженный, отошел от окна. Синяя дорога была перед ним, вольный океанский кильватер. Оно вновь пришло к нему, море... И вновь, как в юные годы, зовет пройти на парусном рыбачьем ботике вдоль побережья или поболтаться на старой пыхтящей посудине от Гамбурга до Нью-Йорка. В ушах зашумело, словно накатил вдруг прибой, загудел в снастях пассат и чайки, чайки, оглушительно крича, бросились за черной кормой корабля. Закружились в неистовой и жадной радости жизни над бело-зеленой бешеной пеной, над синей дорогой среди бескрайней глади морской. Но набежало облако. Оконце посерело. Звездный кильватер растворился в лиловом сумраке стены.

И мал и пустынен этот мирок каменной ячейки за стальной дверью! Одиночество. Пустота. Безлюдье и одиночество. Осколок страшной немоты, которую несет с собой фашизм. «Нужно развить обезлюживание». Это сказал Гитлер. Это они несут на чумных своих крыльях.

Напряженный, обостренный до предела, до болезненных галлюцинаций слух заключенного ловит далекий посвист локомотива. Бодрящий призыв. Голос милой родины,

приглушенный далью привет. Как томительно медленно течет скованное в этих стенах время — и как быстро оно здесь бежит.

Нет, об этом думать нельзя. Совсем. Это непозволительно. Преступно. Чуть потеряешь контроль над своими мыслями, и, словно железным ободом, сдавит голову. Стены начнут сближаться, потолок падать, а в ушах зазвучат незнакомые голоса, крики и смех, словно рев заполненной народом площади ворвется в неожиданно открывшееся окно. И сразу холод и тошнота подступят к сердцу: страх не страх, отчаяние не отчаяние, а что-то странное и тяжелое, отупение и тоска.

Лязгнут замки, и войдет надзиратель, ненавистный, похожий на механическую куклу. Одни и те же движения, в одно и то же время, день за днем всегда одно и то же, как заезженная пластинка, как навязчивый однообразный мотив.

Пытка повседневностью без перемен.

Такими они хотят видеть всех немцев — тупыми исполнителями, механическими палачами, без эмоций, глухими, слепыми. Но — не думать об этом, не думать, не омрачать благословенных часов просветленности и утренней тишины.

О, как отлична эта тишина пробуждающейся природы от коптящего безмолвия горячих, изнурительных тюремных ночей! От шести до семи здесь тихо, как в деревне.

Тюремному миру присущи свои радости, горести и заботы. Только они иные, совсем иные, чем на свободе. Человека ничем нельзя утешить, но его может утешить и самая малость. Одно участливое, дружелюбное слово, услышанное пусть даже от надзирателя, способно вызвать радость, освежить надежду. Мимолетное ощущение счастья может навеять прогулка по каменной круговой дорожке в тюремном дворе, когда ласково пригревает

солнышко. Хорошая порция картошки в мундире, с жирной селедкой. Газета недельной давности. Хорошая книга.

Нужно думать только о том, что приносит радость. Тельман садится на койку и, сцепив на затылке руки, закрывает глаза.

Что может доставить человеку радость?

Свидание, добрая весть из дома... Редко выпадают они на долю заключенного. Как же жить? Как найти в себе силы для борьбы?

Торжество правды, конечное ее торжество,— вот во что надо верить! Пусть эта вера станет целенаправленной, как прожектор в ночи. Нужно очень верить в торжество правды, в конечное ее торжество! Только эта вера и поддерживает нас в час испытаний. Непреклонная вера и твердая воля сворачивают горы.

Что еще может помочь человеку перенести все тяготы, всю непостижимую подлость и глубину этой изощренной пытки, чье имя — одиночество, чье орудие — тишина? Ночная, горячая, сводящая с ума тишина.

Ничто не может стереть в памяти красок родного края, заглушить его музыку, затуманить его картины. Вот поросшие тростником и осокой затоны вдоль длинного каменного мола. Там живут веселые рыбки колюшки, надевающие по весне яркий красно-синий наряд. Их мытарит море, выбрасывает на камни, отрезает от родных гнезд песчаными косами. Их подстерегают зимородки и хищные рыбы. Но в каждой ямке, где плещется опресненная близкой речной дельтой вода, кружится ослепительный радостный хоровод маленьких колючих существ, яростно влюбленных в жизнь, вопреки всему идущих в открытые воды.

Он наловил их как-то простым платком и осторожно выпустил в стеклянную банку. Колюшки начали биться о стекло, стараясь спрятаться от пронизывающего со всех сторон света. Они теряли окраску и вдруг задыхались от

шока, медленно ложились боком на дно. Он тогда сразу же выплеснул рыбок обратно в залив...

Ночь и туман над гаванью. Смутно вспыхивают маслянистые огни. Ревут тифоны. Бьет в бетонные сваи вода. Звенит колокол. Детство и юность неотступно стоят перед внутренним зорким оком, удивительным оком памяти. Тельман не замечает, что на губах его улыбка. Воспоминания завораживают его. Они усыпляют и успокаивают. Но разве может он себе это позволить? Он должен всегда быть начеку! Воля, стальная, отлитая в единый ком воля — только ей может довериться заключенный. Она как сжатая до предела пружина. В нужный момент она толкнет к действию. И тогда все заработает: глаза, уши, руки, ноги и нервы. Но даже воля бессильна перед скукой безделья. Постоянный, приевшийся запах параши и дезинфекции. Он повседневен и потому неощутим, но вдруг он бросается в ноздри с почти первозданной силой. Так и тюремная жизнь, нищая и бесцветная, черствая и беспощадная. К ней невозможно привыкнуть, но она въедается в кожу, проникает в кровь. Это беспощадный механизм будничной рутины, это неотрывный гипнотический взгляд скуки. В тысячи глаз, через тысячи волчков зырится она с потолка и стен одиночки.

Одинокому узнику надо ободрить себя, выстроить мосты, которые свяжут его с прежней жизнью. Но воспоминания воспоминаниям рознь. Он должен научиться этой науке. Да, научиться! Он обретет власть над своей памятью. Тогда воспоминания перестанут убаюкивать: они превратятся в новое средство борьбы.

Тельман встает и начинает ходить по камере. Он заставил себя переключиться. Он уже вновь живет в тесной камере Старого Моабита. Позавчера он узнал, что цензура задержала еще одно его письмо. В переданном ему извещении говорилось: «Отправка письма не разрешена ввиду его политического содержания. Анализ исторических со-

бытий на страницах II—VII явно служит лишь для обоснования недопустимых политических выводов на странице VIII». Да, Альт-Маобит это не Алекс. Он уже не раз показал свои зубы...

И словно освежив себя недавним, еще не остывшим гневом, Тельман ступил на развороченную брусчатку гамбургских улиц двадцать третьего года. Это опять были воспоминания. Но не расплывчатые картины, порожденные сонным тоскующим разумом, а память неспокойного, возмущенного сердца.

Как пламенели кленовые листья в ту осень на гамбургских улицах! В предместье Бармбек, в районах Эймсбюттеля и Шифбека тихо горели они под тусклым дождем, ложились медленно и покорно на мокрые тротуары, слипались у водосточных осклизлых решеток. Когда же холодный ночной туман оседал в черных щелях улиц и жидким антрацитом загоралась грязь под фонарем, влажно шелестели они под ногами запоздалых прохожих. Куда шли эти затерянные в ночи люди? Зачем? Знали ли они, что в эту октябрьскую ночь город совершенно преобразится? Что треснут прорезанные рвами улицы и вывороченные фонарные столбы наглухо перекроют их, как шлагбаумы? Что лягут на бок трамваи, автобусы, фургоны? Что спиленные деревья обрушатся в этот немыслимый перевернутый мир, где вещи забудут свое назначение, и лабиринт сплетенных ветвей объединит булыжники, плиты тротуара, стулья, продавленные диваны, рояль и облупленную детскую лошадь? Что даже листьям, промедлившим отпасть от убитых деревьев, предстоит навсегда застыть в глазах мертвых людей? Что будут гореть, полыхать эти листья три ночи и три дня на гамбургских баррикадах, среди вселенского хаоса вздыбленных мостовых? Не потому ли так запомнился их горьковатый запах, свежий запах дождя и освобожденной от камня земли?

Крохотная рабочая квартира в Хаммерброке. Велосипедная рама в передней. Эмалированный рукомойник. Воспаленный огонек в закопченном стекле. Сладковатое дыхание керосина. Крохотным стеклышком сверкнет в калейдоскопе памяти убогая эта квартирка, угол струганого стола и закопченная лампа. И руки, блуждающие по карте города, засаленной, протертой на сгибах, и черные тени людей по стенам...

— Все ознакомились с директивой Центрального Комитета о выступлении? — Тельман поднял голову и, прищурившись, обвел взглядом собравшихся.

Стульев и табуретов явно не хватало. Люди стояли, привалившись к стене, кое-кто, подстелив газету, устроился прямо на дощатом полу. Берлога Фрица Бортмана, клепальщика с верфей, явно не могла вместить всех активистов приморской организации КПГ, командиров пролетарских сотен, связных. Но было у нее одно незаменимое качество — черный ход на соседний проходной двор.

— Товарищ Реммеле привез из Хемница хорошие вести,— Тельман отколупнул приставшую к карте хлебную крошку и машинально бросил ее в рот.— Принято решение о всеобщей забастовке. И начать ее поручено нам, товарищи.

— Почему именно нам? — спросил кто-то из затененного угла возле печи.

— Партия видит в нас,— Тельман тяжело поднялся с табуретки и уперся кулаками в стол,— самую боевую организацию рабочего класса. Вооруженное выступление в Гамбурге послужит сигналом ко всегерманскому восстанию.

— Давно пора,— соскочив с подоконника, выкрикнул Фриц, которого, впрочем, чаще называли Максом, поскольку было известно, что он во всем старался подражать Максимилиану Робеспьеру.— Сейчас же все на баррикады!

— Да, да,— усмехнулся Тельман.— К оружию, граждане, равняйсь, батальон... Ты пока посиди, Макс... Помолчи.

— Во-во! Наконец-то спохватились,— проворчал Валентин Громбах.— И так уже бастует все Балтийское побережье: Киль, Росток и Свинемюнде. Да ты это и сам хорошо знаешь, Тедди.

— Знаю. Я там позавчера был. И в Любеке тоже...

— Тогда в чем дело? Почему ты не поддержал нас на окружной партийной конференции?

— Это не так, Валентин. Я вас поддержал.

— Конечно, когда Мапп задудел насчет законности и порядка, ты ему здорово врезал. А когда наши... Тут я, Тедди, ни черта не понимаю! Почему ты был против восстания?

— Тедди у нас старый возчик! — проворчал связной Густав Гунделах.— Небось он знает, кого осадить надо, а кого кнутом подогреть. Политика, Валентин! — Густав многозначительно поднял палец.— Понимать надо.

— Нет, — покачал головой Валентин. — Свои — это свои, чужие — всегда чужие. Когда большинство делегатов за всеобщую, надо объявлять забастовку! Что же это получается? Полиция лютует, на границах Саксонии войска, не сегодня-завтра к нам пожалуют, а мы ждем? Чего, спрашивается? Ведь локаут! На всех верфях! Ты не сердись, Тедди, на конференции я против тебя не выступил, да и большинство ребят за тобой пошло, но сейчас, когда вот и директива пришла, никак в толк не возьму... Почему ты нас удержал? Руки ж у всех горели! Никого другого мы бы и слушать не стали, но ты велел — значит, так надо. Вот ты и скажи, чтоб я мог ребятам растолковать, зачем ты нас тогда попридержал. Мы всей Германии завтра сигнал должны подать! Разве не так? Чего же ты тогда...

— Все правильно, Валентин,— Тельман приподнялся

и открыл форточку. В душную комнату медленно просочилась ночная сырость.— Спасибо тебе за помощь. Спасибо, что поверили и согласились подождать с забастовкой. Это большое доверие, Валентин. Очень большое. Только объяснять мне тебе нечего. Ты и сам все понимаешь. Теперь, когда принято решение о выступлении по всей Германии, ты должен понять, насколько несвоевременны были бы отдельные вспышки. Перед решительным боем надо собирать силы, а не распылять их. Согласен?

— Согласен,— кивнул Валентин.— Но разве Манн не про то же нам толковал? Выходит, и он прав? Тогда зачем ты против него выступил? Только потому, что он социал-демократ?

— Нет, Валентин, упрямый ты человек, не потому. Лучше вспомни-ка, к чему он призывал вас вчера? Разве его цель не была ясна? Он же вообще отговаривал рабочий класс от вооруженной борьбы! А мы, коммунисты, напротив, призывали к выступлению. Но вчера, скажем, из тактических соображений такое выступление было бы несвоевременным. Это раз... Кроме того, есть партийная дисциплина. И я так же подчиняюсь ей, как и всякий член партии.

— В этом-то все дело, Тедди,— тихо сказал Кристоф Перкель, член приморского руководства.— Кое-кто из наших вождей здорово оторвался от масс. Валентин прав. Вчера надо было выступить. Чего уж там говорить. Но приказ есть приказ. Мне кажется, рабочие все поняли как надо, хотя ты, Тедди, и ничего не сказал им о дисциплине. А зря! Пусть знают, что приморская организация давно поставила вопрос о восстании... У тебя есть еще вопросы, Валентин? Или все ясно?

— Так что же вы, ребята, церемонитесь с ними? Если у вас плохой капитан на мостике, замените его! Пусть Тельман командует. Его вся рабочая Германия знает!

— Так оно в конце концов и будет,— улыбнулся Перкель.— Съезд решит... Но сейчас разговор не о том... У тебя все, Валентин?

— Теперь все.

— Тогда ладно.— Тельман достал потрепанную записную книжку и поплевал на химический карандаш.— Сколько человек в твоей сотне, Валентин?

— Сорок шесть.

— Оружие?

— Два охотничьих ружья, один браунинг и один пугач.

— Не густо,— покачал головой Тельман.

— Как у всех,— буркнул Валентин.

— Да, товарищи, силы у нас, мягко говоря, не великие. На пятьсот дружинников не наберется и двух десятков карабинов. Гранат тоже раз-два и обчелся.

— Сила пролетариата в его единстве, товарищ Тельман! — многозначительно заметил курьер ЦК Реммеле.— Железная дисциплина и сокрушительный революционный напор — это главное, что нам нужно для победы.

— Оружие тоже нужно,— сухо ответил Тельман.— С директивой мы ознакомились и свой долг выполним. А сейчас у нас на повестке дня тактические вопросы... Прошу внимания командиров! Скоро, товарищи, вы отправитесь к своим отрядам. Проверьте, чтобы все были на месте. У каждого должно быть оружие... по возможности, конечно... перевязочные средства и кусок хлеба. Никого домой не отпускать! Ждать сигнала. Задание получите через связных. Вопросы есть?

Командиры пролетарских сотен натянули кепки, фуражки и стали медленно, словно нехотя, подниматься. Каждый подходил к Тельману попрощаться. Последним встал Валентин. Долго и молча жал руку.

— Эрнст? — наконец он, как заведено у северян, полувопросительно поднял брови.

— Валентин? — подмигнул ему в ответ Тельман и, обращаясь к сгрудившимся у двери командирам, сказал: — В добрый час, товарищи! Настало время, когда рабочие должны действовать. События последних дней и особенно сегодняшние показывают нам, что пришел тот час, о котором говорил в свое время Ленин. Всеобщая стачка, товарищи, порождает высшую форму борьбы — восстание. Наша с вами задача дать рабочим ясное направление и решительное, дисциплинирующее руководство. Все известия, которые мы получаем, доказывают, что рабочие не только в Гамбурге, но и в Берлине, и в Саксонии, и по всей Германии готовы к решающим боям.

— Вас ждет победа! — выкрикнул вдруг Реммеле.

— Гарантию победы заранее никто не даст, — чуть помедлив, тихо сказал Тельман и, подойдя к командирам, добавил: — Идите к своим и притаитесь как мыши. Будьте уверены, что мы что-нибудь придумаем.

— Это точно! — улыбнулся Макс и лихо сдвинул кепку набок.— Это уж да!

— Задержись немного, — повернулся к нему Тельман.— Твой отряд получит особое задание.

— Сколько намечено возвести баррикад? — спросил Реммеле.

— Много.— Тельман подвинул лампу и осветил карту.— Здесь все нанесено. К утру баррикады будут.

— Могу я побывать на строительстве?

— Конечно, товарищ Реммеле. Только после... Давайте еще раз подумаем насчет оружия.— Тельман положил на карту заложенную карандашом записную книжку.— Одними булыжниками баррикады не отстоять, а оружия мало... И времени почти нет.

— Три недели назад по приказу товарища Брандлера,— руководитель шифбекской партийной организации Свиталла покосился на Реммеле,— мы передали в Берлин все с таким трудом добытое оружие — сорок винтовок и

двадцать пять пистолетов. Зачем, спрашивается, если начинать предстоит нам, гамбуржцам?

Реммеле, сдвинув брови, углубился в чтение какой-то бумаги.

— Сейчас не время выяснять отношения.— Тельман постучал костяшками пальцев по столу.— Прошу внимания! Предлагаю план,— наклонившись к лампе, он прикурил сигарету.— Нужно напасть на полицейский участок.

— Что? Без оружия? — удивленно спросил кто-то из темного угла.

— Чтобы добыть оружие! Каждый отряд возьмет на себя определенный полицейский участок и совершит внезапное нападение. В успехе можно не сомневаться. Пусть рабочий класс вооружается за счет полиции.

— Вот здорово! — обрадовался Макс и взмахнул кулаком.— Это по-нашему!

— Поэтому я и приказал провести оставшиеся до начала часы на явочных квартирах в полной боевой готовности. Твой отряд, Макс, поступает в мое распоряжение. Самых надежных людей мы пошлем на явки. Они передадут приказ, кому какое отделение брать. Кроме того, проверят готовность: все ли на месте, не видно ли с улицы света. Полицию надо обязательно захватить врасплох. Иначе нам не удастся разоружить шупо голыми руками.

— Не слишком ли рискованно? — осторожно спросил все тот же человек в темном углу.

— Рискованно? А вы придвигайтесь поближе к столу, товарищ, к свету. Поговорим.

К столу робко приблизился Антон Шульц — один из организаторов охраны коммунистических митингов.

— Это ты? — удивился Тельман.— А драться с фашистами не рискованно, Антон? — он повернулся к Шульцу

боком и подставил ухо, словно заранее готовился услышать очень тихий, едва уловимый ответ.

Но Шульц, ничего не сказав, сел на свободный стул.

— Мне кажется, что перед массовым выступлением пролетариата должна неожиданно ударить наша военная организация.— Тельман вырвал из книжки листок и передал его Максу.— Здесь номера участков. Если план будет одобрен, сообщишь их командирам отрядов... Да, товарищи, внезапное нападение на полицию даст нам тройное преимущество. Оно лишит врага опорных пунктов, обеспечит бойцов хоть каким-то оружием и будет способствовать мобилизации масс. Ничто так хорошо не вовлекает в борьбу, как сознание уже одержанной победы. А это и будет наша первая победа... Кто за мое предложение? — И когда все подняли руки, крепко хлопнул Макса по плечу. — Действуй, Макс! Потом займешься двадцать шестым участком на Бургштрассе. Можешь идти... Ты, Густав,— повернулся он к своему связному,— организуешь бесперебойную связь. Мы должны знать, как идут дела в каждой точке города и предместьях. Но это все утром. А пока двигай, приятель, в Вандсбек. Заберешь листовки из типографии. К пяти утра они должны быть распространены на всех заводах, верфях, на транспорте. За железные дороги отвечаешь ты, Антон. Пусть железнодорожники сейчас же бросают работу. Ни один военный эшелон не должен войти в город.

— А гавань, Тедди? — спросил Антон Шульц.

— Гавань я беру на себя.

Он не заметил, как закончилась эта бесконечная ночь, непроглядная, мокрая; как выродилась она в мутный рассвет и в серый день, который померк и канул в ту же непроглядную сырость. Три дня и три ночи длились как одно невыразимое время суток, бессонное, жестокое, страшное. Но разве не тогда прожил он лучшие часы свои на земле?..

С рассветом Тельман поехал на велосипеде осматривать баррикады.

В Бармбеке рядом с завалом из деревьев, булыжников и полосатых матрацев ему повстречался мальчонка лет семи, который, сопя от усилия, волочил по вывороченной мостовой дырявую корзину с игрушками.

— Постой-ка, малец,— Тельман слез с велосипеда и присел перед парнишкой.— Куда ты все это тащишь?

— Разве не видишь? На баррикаду! Подсоби-ка мне, дядя.

Тельман посадил мальчика на плечо, обхватил рукой корзину и направился к завалу.

Баррикада встретила их оглушительным хохотом.

— Гляди, ребята! Гранаты несут,— крикнул, выскочив на бруствер, усатый рабочий в кожаной фуражке.— Только ты, Тедди, опоздал! Да... Макс нас уже снабдил. Укомплектованы за счет шупо. Даже слезоточивые бомбочки есть!

Тельман спустил мальчика на землю и, отряхнув запачканный рукав, тоже поднялся на бруствер. Молча пожал руку рабочему и, заглянув в окоп, спросил:

— Как дела, ребята? Все в порядке?

— Ждем гостей! — улыбнулся здоровенный парень в матросском бушлате.— Они было сунулись к нам, но после первых же выстрелов показали зады.

— Много?

— Человек сорок.

— Немного... Но будьте готовы, они собирают силы. Есть сведения, что на Бармбек двинут броневики. Так что гранаты поберегите... Пригодятся.

— Не сомневайся, Тедди, все будет как надо!

Мальчишка между тем засовывал в щели свои видавшие виды игрушки. Рваную дыру в соломенном матраце он заткнул гривастым конем об одном колесике.

— Ну что, закончил ремонт? — спросил его Тельман.

— Теперь ладно будет,— мальчишка поплевал на ладонь и вытер ее о штаны.

— Позаботьтесь о товарище,— кивнул на мальчика Тельман.

— Есть! — козырнул матрос.

— Хлеба хватает?

— Пока не жалуемся. Люди нас не оставляют. Местные, так сказать, обитатели.

— Поддерживают, значит, восстание?

— А как же! Они почти все за нас, Тедди! А те, кто против, либо давно удрали, либо громят сейчас продуктовые лавки. Повидло ведрами тащут.

— Верно, товарищ. Такие — не наши люди. Революция — дело чистое.

Он сошел с баррикады, взял приставленный к опрокинутой фуре велосипед. Отъехав немного от баррикады, оглянулся и помахал на прощание рукой.

Мокрые листья темнели на матрацах, как пятна крови...

В этот день узник одиночки корпуса «С» обрел самый драгоценный дар из тех печальных даров, которые удается вырвать из немоты и безмолвия: он обрел власть над временем и пространством. Стены раздались и отступили, потолок треснул, а пол камеры превратился в перекресток вселенских дорог.

Отныне узник мог идти куда хотел. Тропинками юности он весело бежал к морю или уходил в буковые, пахнущие прелой листвой леса. Море качало его в матросской люльке, но за иллюминатором грохотали не волны, а скоростные вагоны нью-йоркского хабвея. Протянув руку, он мог потрогать перевернутый трамвайный вагон на гамбургских баррикадах или ржавую проволоку заграж-

ний на Сомме. Он говорил с матерью, которая давно умерла, учил первым словам крохотную свою дочурку, которая давно уже выросла.

Дороги вели его к истокам, и он вновь мог слышать голос Розы Люксембург на спартаковском митинге и свой собственный зычный голос на собрании «Союза красных фронтовиков». Его встречали друзья, которые были сейчас далеко, может быть за границей. Его встречали те, кто навсегда остался в прошлом, ибо время перестает течь для мертвых.

И еще они, эти дороги, уводили его от немоты каменных стен снова в родной Гамбург, в гавань и поросшие соснами дюны на берегу. Он бродил и по летним берлинским улицам, где не было уже ни черных, ни коричневых мундиров, ни золотых значков со свастикой на лацканах пиджаков. Удивительная власть памяти! Вот он сидит в большом зале с колоннами совсем близко от кумачовой скатерти, на которой стоит круглый графин с водой. Над этим столом, над бумагами и над повернутыми в одну сторону головами сидящих вокруг мужчин и женщин высится, наклонившись вперед, к людям, к залу, Ленин... Лето 1921 года. Третий конгресс Коминтерна. Москва... И снова Москва, но уже в декабре, вся в снегу. И опять тот же снег и та же — нет, не та же, а другая, другая Москва — 1924 года. Злая ночь с 23 на 24 января, когда он стоял в почетном карауле у ленинского гроба. Черные толпы, не толпы — бесконечные вереницы людей. И костры, и мороз, и синий, как спиртовой огонь, пар над черными головами.

Вот улицы Москвы и бесконечные проспекты Ленинграда. Он хорошо их помнит. Они переходят, совсем незаметно, в берлинские надземные дороги и набережную Гамбурга. Один бесконечный город его памяти, где соседствуют улицы всех городов, где рядом стоят дома, в которых живут немцы, русские, американцы, французы.

В этом городе памяти никто никогда не умирает, никто не покидает его.

Тельман уходил в этот город не для того, чтобы забыться, даже не для того, чтобы уйти от скудной повседневности тюрьмы. Он черпал там мужество и веру, просил совета и находил единственное решение. Дорогами своего города он подходил к воротам тюрьмы, следил за сменой караула, за тем, как въезжают и выезжают машины, чтобы потом сообщить об этом на волю. Он уходил под розовокорые сосны, тихо раскачивающиеся в вышине, и ложился на сухой, в лиловом цвету, вереск. Там он отдыхал и обдумывал тайный язык своих писем. Оттуда он возвращался в окопы с застойной водой, и сотни рук, пропахших табаком и порохом, тянулись к нему. Он пожимал эти руки, и сама собой как-то спадала тревога в сердце. И еще бесконечные извивы улиц приводили его в сырые, пропахшие кровью подвалы. Он наклонялся, он становился на колени и поднимал головы брошенных на каменный пол людей. И на него смотрели искалеченные лица товарищей. Так спокойная, лютая ненависть помогала ему собрать силы, когда особенно одолевала тоска и тело все больше и больше слабело.

Он делал по утрам упражнения в своей крохотной камере, старался использовать каждую секунду получасовой прогулки. Он шагал и шагал по камере, проходил километры за километрами, пока за поворотом улицы не показывался лес или камни, розовый и серый гранит шхер. Там он набирался сил, лечился солнцем и ветром, красотой природы, лечился терпким запахом можжевельника и сосен, солью и йодом морской воды.

Он медленно пил холодное пиво из литой стеклянной кружки, вдыхал ядреный дух кожи и лошадиного пота, паровозного дыма, свежих, в янтарных каплях живицы, досок, засмоленных бочек с балтийской сельдью. Сколько друзей, сколько знакомых приветливых лиц встречал он

на этих путях! С ним делились табаком, его крепко хлопали по плечу, ему со встряхиванием пожимали руку. А потом он возвращался домой, на все улицы, где когда-то жил, во все дома одновременно. И всегда до́ма все были в сборе. И в этом был источник жизни, живительный ключ, откуда можно черпать нежность и твердость, уверенность, тревогу и ненависть.

Так Эрнст Тельман обрел могучую власть над собственной памятью. Это была его первая большая победа над камерой в Альт-Моабите. Пройдут годы заключения, и в последнем письме к Розе из Моабита он коротко скажет о мудрости, которую обрел в страданиях, о бесконечных этих улицах памяти, улицах юношеских лет.

Из письма Э. Тельмана товарищу по тюремному заключению.

Январь 1944 г.

...23 мая 1933 года я был переведен в Старый Моабит, в берлинский дом предварительного заключения. Два с половиной года я находился под следствием в предварительном заключении; за это время допрашивался четырьмя следователями, иногда по 10 часов ежедневно. Мне были предъявлены для ознакомления и объяснений все самые важные материалы руководства партии и ее организаций, которые использовались в качестве улик против меня. Сюда притащили и использовали при допросах все мои речи и статьи, материалы обо всех заседаниях секретариата, Политбюро, Центрального Комитета и о других совещаниях, а также о наиболее крупных собраниях и митингах, где я выступал. И, наконец, подробному разбирательству были подвергнуты общая политика партии, ее работа и организационная деятельность, многочисленные документы и издания, которые были ею выпущены, причем было много документов, подтасованных и сфабрикованных шпиками.

...Я держал себя как революционер. Как вождь коммунистического движения, я защищал все решения ЦК партии, а также Коммунистического Интернационала и принял за все это на себя полную ответственность. Я энергично отбил все попытки заставить меня назвать или выдать имена партийных деятелей и работников. Проявляя твердость характера, я действовал так, как требовало чувство долга. Следователям, несмотря на всевозможные уловки и ложь, не удалось на допросах заманить меня в ловушку или вынудить стать предателем по отношению к моим соратникам и к делу коммунизма. Часто доходило до резких сцен и острых стычек, что затягивало допросы. После того как следователи потерпели неудачу в своих попытках получить от меня нужные им признания, они прибегли к помощи гестапо.

Глава 21

Принц-Альбрехтштрассе

Черный «мерседес» с брезентовым верхом ждал его во внутреннем дворе. Сиреневой мутью оседали в каменном колодце ранние сумерки. Ветер завивал мелкую снеговую крупку.

Его посадили на заднее сиденье. Два ражих эсэсовца зажали его с обеих сторон. Машина медленно подрулила к арке. Остановилась. Охранник взял пропуск, мельком глянул внутрь и включил рубильник. Бронированные створки ворот разъехались, и «мерседес» с форсированным мотором бесшумно рванул с места. Взвизгнула на крутом повороте резина, и Моабит остался позади.

Тельман сидел глубоко, а зажавшие его эсэсовцы, которым было тесновато, малость подались вперед и мешали смотреть в боковые окошки. Но через ветровое

стекло он видел бегущий асфальт автобана, летящие навстречу дома. По-видимому, его опять везли в главное гестапо на Принц-Альбрехтштрассе. Последнее время они стали допрашивать по вечерам. Иногда допрос затягивался далеко за полночь.

Шофер уверенно, на полном газу закладывал повороты, хотя ехать было недалеко. Он ни разу не повернул головы, но в зеркальце Тельман ловил его взгляды. На шофере была та же эсэсовская форма, погон на правом плече, окантованный воротник, черная пилотка. Стриженый затылок распространял острый удушливый запах одеколона.

Въехав под круглую арку, машина остановилась у подъезда. Шофер вынул ключ зажигания и, обойдя машину сзади, раскрыл правую дверцу. Сначала вылез эсэсовец, потом Тельман. Другой охранник выпрыгнул слева и побежал к застекленной, с аккуратными занавесочками, двери.

Но она вдруг распахнулась сама, выпуская под сумеречное небо группу заключенных в сопровождении обер-вахмистра.

— Стой! — закричал один из эсэсовцев.— Назад!

Обер-вахмистр на мгновение растерялся, но тут же повернулся и начал заталкивать арестованных обратно в подъезд.

— Всем повернуться лицом к стене. Кто обернется, будет расстрелян,— скомандовал эсэсовец.

Когда Тельман вошел в подъезд, заключенные, подняв руки, уже стояли лицом к стене. По гулкой каменной лестнице со стершимися ступенями его провели на четвертый этаж.

Миновав длинный, скудно освещенный коридор, свернули направо и остановились у двери, которая ничем не отличалась от тех, мимо которых они только что прошли. Конвоиры легонько подтолкнули его в спину, и он оказался

в большой комнате с высоким потолком. Все три ее окна были замазаны снизу белой краской.

За столом сидел гестаповец с генеральским шитьем на левой петлице. Это был Гиринг, который уже дважды его допрашивал. Возле него, широко расставив ноги, стояли еще три эсэсовца. Остальные четверо расположились у оконной стены. Тельман повернул голову. Дверь за ним была закрыта. Конвоиры остались в коридоре.

Обычно на допросах присутствовали два-три следователя. Теперь же на него внимательно смотрели восемь пар глаз. Эсэсовцы медленно подняли кулаки: приветствовали салютом Рот фронта. Тельман спокойно оглядел их всех. Кроме Гиринга он знал двоих, еще со времен политической полиции Зеверинга. Охранители Веймарской республики перешли на службу к ее могильщикам. Что ж, полиция всегда стояла за преемственность власти.

Потом Тельман подумал, что ему, пожалуй, знаком и четвертый из этой компании. Вон тот, в углу, у окна, заметно лысеющий рыжий хауптштурмфюрер. Трудно не заметить его розоватый морщинистый нарост над самой ноздрей. Наверняка они где-то встречались. Но где и когда это было?

— Садитесь, товарищ Тедди! — рыжий, почувствовав изучающий взгляд Тельмана, криво улыбнулся и сверкнул золотой коронкой.

Посреди комнаты стояло кожаное кресло. Тельман молча подошел к нему и сел.

— Здорово, Тедди! — сказал стоящий за Гирингом штурмбанфюрер. Этот был старый знакомый. Тельман знал его еще по Гамбургу. Тогда этот полицейский чиновник расследовал преступление фашиствующих бандитов из тайной организации «Консул». Как-то ночью они совершили нападение на его квартиру на Симзенсштрассе, 4. Подлое и бессмысленное... Прикрепили две гранаты к оконному переплету. Роза и Ирма крепко спали, а он, как

обычно, был на собрании. Взрыв выбил оконную раму внутрь. Осколки изрешетили стену. Только выступ стены, за которым, по счастливой случайности, стояла кровать, защитил жену и дочь. В довершение всего бандиты забросили в комнату пакет со взрывчаткой. Его обнаружили позже, когда Тельман с рабочими вбежал в квартиру. Они быстро обезвредили бомбу и вызвали полицию. Тут Тельман и увидел впервые этого кривоногого коротышку, чьи черные, коротко подстриженные волосы и теперь торчат во все стороны, как у ежа.

Маленький вахмистр ловко тогда взялся за дело. Через три часа после взрыва полиция задержала двух подозрительных парней, у которых при обыске были найдены капсюли-детонаторы и кольцо от гранаты. Но арестованных быстренько отпустили на волю. То ли вправду улик оказалось недостаточно, то ли полицию страшили тайные судилища «фемы». Ничего нет удивительного, что коротышка сделал карьеру в СС. Гамбургская полиция, беспощадная к рабочим, проявляла удивительный либерализм к фашистским хулиганам. Ни один из тех, кто участвовал в налете на гамбургский окружком и редакцию «Гамбургер фольксцайтунг», не понес наказания. А ведь в то время гамбургский полицай-президиум возглавлял социал-демократ.

— Не признаешь? — коротышка вразвалку пересек комнату и остановился перед Тельманом.

— Узнаю.

— Да, Тельман! — Карл Гиринг поднял глаза от разложенных на столе бумаг.— Все старые знакомые, заклятые друзья. Поэтому нечего дурака валять. Выкладывайте карты на стол. Нам лучше договориться полюбовно.

— О чем? — Тельман отстранил коротышку рукой и чуть наклонился в сторону Гиринга.

— Нас интересует немногое. Кое-какие имена, вы знаете какие; нам уже приходилось беседовать. Еще нас

интересует, кто из членов Политбюро остался в стране, кто руководит подрывной деятельностью из-за рубежа. Вот и все. Ну, может быть, еще детали. Адреса, явки, краткие политические характеристики.

Тельман глянул на большие круглые часы под потолком — было начало шестого — и отвернулся к окну.

Гиринг вздохнул. Да, он понимал, говорить им было не о чем. Нельзя, немыслимо подходить к такому человеку с узкими рамками традиционного полицейского допроса с его грубой прямолинейностью и примитивным коварством. Он сам судейский и вырос в судейской семье, и ему ясно, что с Тельманом нужно взять другой тон. Но какой? Обычный полицейский реквизит не для Тельмана. Он, Гиринг, уже изучил красного вождя. И в Алексе и в Моабите, и здесь, на Принц-Альбрехтштрассе. Если после трех суток строгого карцера — сырого и темного каменного мешка, где и стоять-то нельзя, он способен делать зарядку, то уговорами многого не добьешься. Он на них не реагирует, как, впрочем, и на душеспасительные письма, написанные почерком близких людей, и на номера «Роте фане», где говорится, что Компартия прекращает борьбу против режима. Ого! Не дешево обошелся каждый такой специально отпечатанный экземпляр! Но — и он, Карл Гиринг, заранее это знал — деньги вылетели в трубу. Гестапо от Тельмана сведений не нужно. Явки, фамилии, адреса? Все это чушь. Они и без него все знают. А что пока им не известно, то разнюхают многочисленные агенты. Тельман слишком крупная фигура, чтобы требовать у него какие-то там адреса. Он нужен весь, как он есть. Целиком. Так как же заполучить его, как надломить эту железобетонную психику, не прибегая к обычной полицейской тактике? Как расколоть и тогда уже полностью подчинить себе? Но вот в чем вся беда — Тельмана не расколешь. Непрерывным перекрестным допросом его не проймешь. Опять попытаться взять его измором? Бес-

полезно. Накачать наркотиками, как Ван дер Люббе? Тоже не годится. На суде это сразу же всем бросится в глаза, слишком он известная личность. Не давать спать? Трое, а то и четверо суток? Но он же портовый грузчик! Свалится без сознания на пол, потом спокойно отоспится, и все пойдет как прежде. Есть, конечно, испытанное средство, которое сделает шелковым даже такого битюга... Да, средство есть... Но ведь Тельмана надо выпустить на процесс! Под пристальные взоры мировой общественности. Вот и получается, что всемогущая полиция бессильна перед каким-то пролетарием. Начальство отдает приказ. Детали его не интересуют. Это дело его, Гиринга. За это ему платят деньги, за это его, потомственного судейского, у которого не было партбилета с дореволюционным стажем, вознесли так высоко. Но если он провалит теперешнее дело, то все полетит к чертям. Вилла в Грюневальде, за которую не выплачено до конца, белый автомобиль марки «ханомаг» со щитком имперского автоклуба на радиаторе, служебный «майбах» с номером 8 под эсэсовскими рунами... Шутка ли, номер 8! По рангу СС в первом ездит сам фюрер, во втором — Гиммлер, в третьем — Гейдрих.... А восьмой — у него, Карла Гиринга, который вступил в НСДАП и «альгемайне СС» только после той судьбоносной ночи. Спасибо Мюллеру, помог, представил его лично Гейдриху. И он, Гиринг, оправдал доверие. Не подвел однокашника, у которого тоже нет обеспеченного тыла. Ведь и старина Мюллер не «старый борец». Он вообще, кажется, не в партии. Но Гейдрих уважает хорошие полицейские кадры. Знает, что таких специалистов, как Мюллер, в «коричневом» доме не много. Что ни говори, а ведь совсем недавно все эти господа находились по ту сторону баррикады. И настоящего полицейского опыта у них нет. Уголовный — другое дело. Этот, конечно, есть...

Он прекрасно понимает, что не только за юридические достоинства взял его Рейнгард Гейдрих в свой аппарат.

Гейдриху нужны послушные, лично преданные люди. Он купил их, старика Мюллера и его, с потрохами. Конечно, они будут ему преданны. Куда им деться? Стоит Гейдриху от них отступиться, как те же обойденные «старые борцы» растерзают в клочья «проходимцев, которые пришли на готовенькое». Разве Гиринг не знает, что говорят у него за спиной? И не только за спиной! Эрнст Рем так его просто терпеть не может. И не скрывает этого. И если бы один Рем! Начальник партийной канцелярии рейхслейтер Гесс тоже не слишком-то любит его. А это могущественные враги! Даже его прямой шеф по прусскому гестапо министр-президент Герман Геринг побаивается Гесса. Особенно теперь, когда на Геринга возлагают всю ответственность за провал лейпцигского процесса. Да что говорить, Димитров оставил всех с носом. Нельзя было дать ему уйти. Никак нельзя. А он ушел из-под рук. Ускользнул. На процессе он занимался неприкрытой коммунистической пропагандой, держал себя как обвинитель, не как подсудимый, выставил в смешном свете не только Геринга, но и доктора Геббельса. Разве мало? А тут еще русский паспорт и самолет, который прислала за ним Москва... Геринг здорово оплошал. Другому не простили бы. Но «железный Герман» где-то вовремя сказал, что у него нет совести, что, дескать, его совесть — это Адольф Гитлер. Сказано было без расчета на огласку, но тем не менее дошло куда надо... Да, не ему, Гирингу, равняться с Герингом, хотя фамилии их похожи. Птица высокого полета. Высочайшего! На Гиринга уже начинали коситься, что не сумел-де посадить на скамью подсудимых рядом с Димитровым этого Тельмана. И хорошо, что не сумел. Не хватало в Лейпциге еще одного агитатора. И так был преотличный цирк. На весь мир! Благодарение всевышнему, что Димитровым занимался Геринг. Своим провалом он, надо сказать, здорово его выручил. Но второго Лейпцига быть не может, ясно каждому. Поэтому

Тельмана ему не простят, кожу сдерут, а не простят. Если б кто знал, как он ненавидит Тельмана! Босяк, самоучка, выскочил, видите ли, в политические вожди! Подумать только, еще совсем недавно эта физиономия красовалась на всех плакатах. В президенты захотел! Фюрер бесконечно прав, когда говорил, что четырнадцать лет марксизма развратили Германию, а год большевизма убил бы ее. К счастью, этого не произошло. Судьба!

Но та же судьба так сплела свои нити, что теперь все его благополучие зависит от этого упрямого человека. Нет, даже трудно вообразить, как он его ненавидит. Куда сильнее, чем того аристократического хлыща с большевистскими замашками, который любил всех подковырнуть. Где вы сейчас, позвольте спросить, господин Шу-Бой? В концлагере? То-то и оно. А Карл Гиринг заведует отделом 2-а на Принц-Альбрехтштрассе. И уж он постарается, чтоб вы подольше оставались там, несмотря на хлопоты высокопоставленных родственников. Авось теперь вам, господин потомок гросс-адмирала, будет не до оценки, которую получил на госэкзамене Манфред Рёдер, свояк Карла Гиринга.

Ну да черт с ним, с Шу-Боем! О нем есть кому позаботиться. А вот что делать с Тельманом?..

— Встать, грязная свинья!— неожиданно закричал Гиринг, стукнув кулаком по столу.— Встать!

Тельман не шевельнулся. Все так же отрешенно продолжал он рассматривать закрашенные половинки стекол.

— Поднимите его.

Коротышка штурмбанфюрер и еще один эсэсовец схватили Тельмана за руки. Но он встал сам, спокойно высвободился и оправил на себе пиджак.

Зазвонил телефон.

— Гиринг! — сказал Гиринг в трубку и тут же встал. — Слушаюсь, группенфюрер! Сейчас буду. — Он

пригладил редкие волосы. Вытер платком потное, несколько одутловатое лицо.

Его вызывал к себе сам Гейдрих! Уже третий раз за сегодняшний день.

— Продолжайте без меня,— выходя из-за стола, он брезгливо махнул рукой.— Довольно китайских церемоний! Ты отвечаешь за все, Вилли!

— Ладно,— лениво кивнул привалившийся к подоконнику эсэсовец.

Когда дверь за Гирингом закрылась, он вплотную подошел к Тельману и подбоченился. Это был здоровый полнокровный мужчина, довольно красивый, с чуть вьющимися льняными волосами «настоящего нордического человека».

Он долго, с интересом рассматривал знаменитого красного вождя. Тельман равнодушно скользнул взглядом по розовому гладко выбритому лицу штандартенфюрера, по плетеным завиткам погона на правом плече, рыцарскому кресту с мечами на груди и отвернулся.

— Что будем делать, сволочь? — спокойно, даже добродушно спросил штандартенфюрер и неожиданным, почти молниеносным движением профессионального боксера выбросил руку вперед.

Тельман пошатнулся и схватился за лицо. Сквозь стиснутые пальцы медленно просочились темные струйки. Он шевельнул языком. Губы были разбиты. На верхней десне — две саднящие соленые ямки.

Кто-то несильно толкнул Тельмана в грудь, и он упал в кресло.

— Дайте ему сплюнуть, — сказал штандартенфюрер, массируя костяшки пальцев.

Тельман медленно отвел руки от искалеченного рта. Они стали неприятно липкими. Кто-то, словно это было на приеме у дантиста, поднес ему эмалированную миску. Он выплюнул кровавый сгусток вместе с зубами.

И сейчас же откуда-то сбоку на него обрушился новый удар. Пронзительной молнией снизу от подбородка кольнуло прямо в мозг. Кто-то резко схватил его за отвороты пиджака, приподнял и тут же швырнул прямым ударом в ослепленное лицо назад в кресло.

Начальник политической полиции Центрального бюро   Берлин, 1 июня 1934 г.

Всем управлениям политической полиции

Об уголовном преследовании за государственную измену бывшего руководителя КПГ Эрнста Тельмана.

По делу о государственной измене бывшего руководителя КПГ Тельмана срочно необходимо установить:

а) какие лица являлись в январе — феврале 1933 г. политическими руководителями окружных организаций КПГ в стране и где они сейчас пребывают;

б) где распространялась листовка «Наша борьба за революционное свержение фашистской диктатуры и за новую Советскую социалистическую Германию. Тезисы Центрального Комитета КПГ о современном положении и задачах партии», датированная 15 февраля 1933 года.

По поручению
Гейдрих

Глава 22

„Моя честь в верности“

Когда Гиринг вошел в приемную шефа РСХА, из приоткрытой двери доносились звуки скрипки. Он вопросительно посмотрел на вставшего из-за стола адъютанта. Тот с улыбкой кивнул и шире распахнул дверь. Не замечая, что ступает на цыпочках, Гиринг осторожно проскользнул в кабинет.

Закрыв слегка косящие глаза, прижав костлявым подбородком скрипку к плечу, высокий и стройный Гейдрих, подобно танцующей кобре, извивался в музыкальном экстазе. Скрипка стонала и пела в узких пальцах сиятельного музыканта. Словно сомнамбула, почуявшая чье-то присутствие, кивнул он, не раскрывая глаз, Гирингу и продолжал играть.

Гиринг и без того чувствовал себя в этом кабинете не слишком уверенно. Теперь же, совершенно растерявшись, он вообще не знал, как ему быть. Все так же на цыпочках подошел он к узкой кушетке золотистого шелка и робко, на самый краешек, присел. Но тут же вскочил и покосился на продолжавшего играть Гейдриха. Он вспомнил кулуарные разговоры по поводу этой кушетки, на которой его увлекающийся шеф, как говорили, иногда принимал дам.

Как и все на Принц-Альбрехтштрассе, Гиринг знал, что музыка и женщины были всепоглощающей страстью морского офицера в отставке, который вынужден был покинуть службу из-за какой-то темной истории. Что ж, эта отставка пошла ему только на пользу... Гейдрих не скрывал своих увлечений, скорее даже афишировал их. Зачем? Быть может, сокрушительная настойчивость, с которой Гейдрих преследовал очередную избранницу, как-то самоутверждала его? Или выгодно оттеняла столь же неистовый идейный фанатизм?

Зато никто не знал, что шеф РСХА собирает подробные досье на всех руководителей третьего рейха, включая рейхсфюрера СС Гиммлера и даже самого Гитлера.

Дорыдав до конца музыкальную пьеску, Гейдрих в изнеможении опустил смычок.

— Садитесь, Карл,— тихо сказал он, не раскрывая глаз.

— Это было прекрасно! — Гиринг прижал руки к груди и прочувствованно вздохнул. Ему даже показалось,

что его глаза увлажнились. Но это, конечно, был самообман.

— Вас, видимо, удивляет, Карл, что мой любимый композитор — француз Сезар Франк? Но заметьте себе: его вещи навеяны войной с Пруссией. Подумайте, Карл, этот французик, сластолюбец и плутократ, захвачен нами без остатка, он приходит в восторг от прусского величия!

— Это потрясающе! — прошептал Гиринг, хотя ни о какой прусской мощи скрипка ему не поведала. Он вообще не знал, что играет Гейдрих, и никогда не слышал о Сезаре Франке.

И Гейдрих, досконально изучивший личные дела своих подчиненных, всю их подноготную, прекрасно это понимал.

— Я рад, что вы так тонко чувствуете, Карл,— сказал он, открывая наконец, холодом полоснувшие глаза.— Из романтического пустячка вырастает нечто значительное. Это преклонение перед германским величием, Карл. Поэтому-то я и играю всегда этого француза. Не знаю, как вам, а мне приятно невольное, а потому искреннее восхищение врага. Кстати, Карл, мне только что доложили о трагической гибели доктора Белла. Вы ничего не знаете по этому поводу?

— Ничего, группенфюрер! — весть об убийстве Белла, убийстве, потому что только так следовало понимать слова Гейдриха, окончательно добила Гиринга. Гейдрих, как всегда, когда дело было важным, упомянул о сногсшибательной новости небрежно, вскользь.

Гиринг был совершенно дезориентирован. Сначала эта дурацкая музыка, когда не знаешь, что делать и о чем говорить, потом, словно о пустяке, упоминание о гибели доверенного лица и личного друга самого Рема... Что за этим кроется? Сигнал к началу? Конечно, высокопоставленный гестаповский чиновник Гиринг многое знал и о

еще большем догадывался. Напряженные отношения между Ремом и Герингом давно уже ни для кого не были секретом. Но еще далеко не было ясно, на чью сторону станет фюрер.

Конечно, логика диктатуры требовала определенных решений. Со «старыми борцами», с сотоварищами по уличным дракам и пивным путчам надо было кончать. Но недаром говорили, что фюрер получает указания свыше. Его поступки непредсказуемы. С одной стороны, Геринг как будто добыл ему доказательства заговора, говорили даже об изрешеченном пулями портрете Гитлера, который послужил силезским штурмовикам вместо мишени. Но говорили ведь всякое. Зато почти достоверно известно, что фюрер имел у себя в Берхгофе встречу с одним из основателей партии Грегором Штрассером. Если учесть, что сам рейхсфюрер Гиммлер был когда-то у Штрассера в секретарях, то и подумать страшно, чем может кончиться эта политическая игра. А понять ее ох как необходимо! И чем раньше, тем лучше. От этого зависит все: карьера, сама жизнь, наконец. На чью сторону заблаговременно стать? К кому примкнуть? Если фюрер поддержит Рема, он, Гиринг, пропал. Только если сейчас, сию минуту, кинется он к начальнику штаба СА, чтобы доверительно поделиться весьма важными сведениями, можно будет на что-то рассчитывать. Но как он может решиться, когда не знает еще, откуда дует ветер? Как будто страшнее Рема никого нет. А Геринг? А рейхсфюрер? А этот музыкант, наконец? Да, этот страшнее всех... Зачем он его вызвал? Поговорить о музыке? Спросить, не знает ли он что-либо о Белле? Нет, не за этим... Сейчас опять зайдет разговор о Тельмане.

Конечно, Тельман тоже фигура в беспощадной игре. Кто-то захочет нагреть руки на победе над ним, а кто-то — на поражении. Как на бирже: повышение — понижение. Провал в Лейпциге — это шах Герману. Опять



всплывает рейхстаг, опять убирают свидетелей. Вот и пришел черед Белла. Кто следующий? Может быть, тот, кто повыше?

Да, если в такой атмосфере выпустить на процесс послушного Тельмана, это будет бомба! Тут чьи-то акции взлетят, а чьи-то, естественно, упадут. Отсюда и вся противоречивая возня вокруг Тельмана.

Никто не дает ясных, прямых указаний. Никто не хочет личной ответственности. Можно подумать, что судьбу Тельмана будет решать суд! Впрочем, не исключено. Пришлось же оправдать Димитрова. Оправдать, несмотря на неприкрытое бешенство Геринга, который вел себя, надо прямо сказать, совершенно неприлично. И ничего не смог сделать. Ничего! А ведь это Геринг! Туз! Эх, если бы знать, если б хоть догадываться, чего, в конечном счете, хочет фюрер, к чему стремится? Тогда можно было бы рискнуть. Жаль, что Тельмана не убили при аресте. А ведь был соблазн... Но ничего не поделаешь — категорический приказ Гейдриха.

— Я вижу, вы уяснили себе ситуацию, Карл.— Гейдрих бережно спрятал скрипку в оклеенный синим бархатом футляр.— На что мы можем рассчитывать?

— С Тельманом? — на всякий случай спросил Гиринг.

— Разумеется.

— Все обычные меры успеха не принесли.

— Что вы понимаете под обычными мерами? — Гейдрих с преувеличенным удивлением поднял брови, отчего его глаза стали косить еще сильнее.

— Допросы, ужесточение режима и прочее...

— Технология меня не интересует. Мне нужны результаты. Когда? — Гейдрих быстро прошел к столу, сел, пододвинул к себе перекидной календарь.— Срокп? — Он обмакнул в черпила перо.— Когда можно будет начать процесс?

— Мы постараемся успеть...

— Нет,— резко перебил его Гейдрих.— Я не заставляю вас спешить. Сроки назначаете вы, а не я. Я лишь с максимальным вниманием буду следить за их соблюдением. Ясно? Итак, вы можете указать конкретную дату?

— Нет,— еле выдавил из себя Гиринг, чувствуя, что все в нем обмирает. Сбывались самые худшие его опасения. Тельман становился крупной фигурой в игре. Он, Гиринг, должен либо дать, либо не дать эту фигуру в руки игроков. В обоих случаях могли быть непредвиденные и неприятные последствия.

— Если я правильно понял вас, Карл, вы признаете, что не можете справиться с возложенными на вас обязанностями? Так?

— Так,— Гиринг заставил себя посмотреть Гейдриху прямо в глаза. Это было трудно, почти невозможно, хотя бы потому, что шеф косил.— Да, группенфюрер, я не оправдал вашего доверия,— он сказал это прямо, честно, взволнованным тоном, как того требовал в подобных обстоятельствах кодекс чести СС.

— Даю вам два месяца, Гиринг. Только два месяца.

— Благодарю, группенфюрер.

— Вы сделаете все от вас зависящее?

— Да, группенфюрер.

— Хорошо, Карл. Я вам верю.

— Разрешите поделиться сомнениями, группенфюрер.

— Сомнениями?!

— Виноват, группенфюрер. Некоторыми соображениями.

— Слушаю вас, Карл.

— Я полагаю, что главное для нас — это вытащить на процесс нужного нам Тельмана. А то, как он будет при этом выглядеть,— дело второстепенное. Можно ведь постараться, чтобы он выглядел получше? — вопроса почти не было. Он едва-едва ощущался.

— Вот как? — усмехнулся Гейдрих.— Я целиком пола-

гаюсь на вас, Карл. Если вы так считаете... Меня, как я уже сказал, интересует только дата. Я должен буду сообщить ее фюреру.

Фюреру! — повторил про себя Гиринг. Фюрер-принцип — закон для эсэсовца. «Ein Volk, ein Reich, ein Führer! Der Führer macht es! Der Führer schafft es! Der Führer denkt für alle!»[1] Все это великолепно. «Моя честь в верности!» Это очень хорошо. Абсолютное, мгновенное повиновение, повиновение без размышлений... Но вот беда — обмозговать, как лучше всего выполнить приказ фюрера, ты должен сам. На своем месте — ты тоже фюрер. И никто, даже высший начальник, не станет вмешиваться в твои дела. Он только спросит с тебя, если ты не выполнишь задания. Со всей строгостью СС-кодекса, со всей нордической беспощадностью.

Гиринг и сам понимал, что никто не освободит его от ответственности за Тельмана вплоть до окончания процесса. Он один отвечал за все. И за то, что происходило сейчас в отделе в его отсутствие.

— Разрешите выполнять, группенфюрер?

— Идите, Карл. Идите. Хайль Гитлер!

— Хайль Гитлер! — Гиринг щелкнул каблуками, резко, по-прусски, поклонился и четко, как в строю, повернувшись, заторопился к себе. Он шел ровным, уверенным шагом, забыв совершенно, как на цыпочках, крадучись, входил в этот кабинет.

Он вновь чувствовал себя уверенным и сильным. Как терпеливо, тактично, без лишних слов старший начальник напомнил ему кодекс чести СС! Да, он, Карл Гиринг, — сильный человек, вождь. Он не боится возложенной на него ответственности. Он гордится ею! Гордится доверием такого человека, как Гейдрих, облеченного почти беспредельной властью. «Моя честь в верности!» Именно так.

[1] Нация, империя, вождь! Вождь действует! Вождь творит! Вождь думает за всех нас!

Глава 23

Секретная служба

Возглавляемая Гейдрихом секретная осведомительная служба свила свои гнезда по всему рейху. Местные организации СД засылали своих «почетных агентов» во все звенья партийного и государственного аппарата. На заводах и фабриках, в батальонах рейхсвера и на боевых кораблях, в университетах и школах, на фольварках и рудниках, в газетах и киностудиях, театрах и госпиталях — везде сидели тщательно законспирированные «почетные агенты», имена которых знали только непосредственные руководители местных служб СД. Как правило, «почетными агентами» становились лучшие, наиболее осведомленные специалисты того или иного учреждения. Этот тайный, широко разветвленный институт был задуман Гиммлером еще до прихода нацистов к власти. Впоследствии, когда рейхсфюрер СС стал полицай-президентом Мюнхена, эта идея приобрела конкретные черты. Проект будущей структуры службы безопасности Гитлеру весьма понравился, и он приказал в кратчайшие сроки его осуществить. С той минуты Рейнгард Гейдрих, который, собственно, и разработал весь проект до мельчайших деталей, стал одним из наиболее влиятельных представителей нацистской элиты. Но имя его почти не было известно широкой публике. Радио о нем не упоминало, газеты не печатали его портретов, операторы кинохроники никогда не сопровождали его. Когда бывший морской офицер появлялся где-нибудь в сопровождении помощников и секретарей, никто не догадывался, что молодой высокий блондин с несколько асимметричным лицом и косящими глазами — персона номер один.

Обычно его принимали за хорошо вышколенного адъютанта. Он всегда держался в тени, говорил тихо и мало.

Во время беседы его длинные холеные пальцы скрипача всегда лежали на коленях, как у благовоспитанного гимназиста. И сколько бы ни продолжалась беседа, они не шевелились, эти тщательно ухоженные пальцы восковой фигуры. У собеседников обычно создавалось впечатление, что этот бесстрастный молодой человек сосредоточенно размышляет о чем-то своем, потаенном, к разговору никак не относящемся. Он всегда смотрел прямо в лицо собеседнику, но никому не удавалось поймать взгляд его косящих к переносице глаз. На вопросы он отвечал односложно, спрашивал часто, но как-то хаотично, без видимой связи с обсуждаемой темой, рассеянно перескакивал с одного на другое, называл много фамилий, большей частью собеседнику незнакомых. Но причудливые и хаотичные с виду логические сооружения Гейдриха скрывали удивительный по точности и экономии материала стальной каркас. Бессистемные, разбросанные постройки объединяли подземные туннели в несколько ярусов. Но это становилось понятно лишь некоторое время спустя после разговора. И то далеко не всем. И никогда — полностью...

Высокий и всегда приглушенный голос Гейдриха, глотающего гласные, запоминался надолго, но содержание разговора как-то сразу улетучивалось из головы.

Рем стремился возглавить могучую военную машину. Геббельс сам пьянел от собственных речей, пронизанных темной ненавистью инстинкта. Геринг хватал все, что только было под рукой: должности, ордена, еврейские дома, заводы, акции, картины. Но никто из них не знал истинной технологии власти так хорошо, как Гейдрих. Он хотел одного: всегда знать обо всем больше, чем кто бы то ни было. Достичь этого можно было лишь при помощи организации, подобной СД. Естественно, что Гейдрих особое внимание уделял проникновению в партийный аппарат, полицию, военную разведку, министерства и, конечно, дипломатические круги.

Его «почетные агенты» не были полицейскими осведомителями в обычном понимании этого слова. Гейдрих приложил много усилий, чтобы втолковать это ближайшим сотрудникам. Ему не нужны были мелкие доносчики и тем более провокаторы. Он хотел получать точную и квалифицированную информацию о том, что происходило во всех сферах жизни. Ему нужны были только моментальные снимки, из которых эксперты могли создавать уже панорамные полотна. Хорошо информированные, как правило высокопоставленные, «почетные агенты» собирали сведения об общественном мнении, реакции различных слоев населения на мероприятия режима, о популярности того или иного руководящего деятеля, откликах на события международной политики.

Все эти сведения устно передавались сотрудникам СД, которые, зная общий абрис задачи и располагая более обширной информацией, могли легко выделить в непринужденной доверительной беседе самое существенное. Но полная картина воссоздавалась только в Центральном управлении СД, где составлялись еженедельные и ежемесячные доклады для Гиммлера и Гитлера. В этих секретных, государственной важности сводках не было места для пропаганды. Они не приукрашивали действительности, не искажали ее в угоду тому или иному лицу. Напротив, сложные явления жизни исследовались со скрупулезной объективностью, причем основное внимание уделялось тому, что было или могло быть враждебным национал-социализму.

Что бы ни говорил Гитлер в своих публичных выступлениях или даже в кругу наиболее доверенных лиц, истинное положение дел он знал. По крайней мере, так было до смерти Гейдриха. Искажая, уродуя до неузнаваемости факты, выдумывая несуществующие, умалчивая о том, что другим не известно, Гитлер не заблуждался насчет истинного течения дел. По крайней мере, не должен был

заблуждаться, потому что доклады Гейдриха поступали к нему регулярно, как по железнодорожному графику.

И основополагающий принцип Гейдриха, технология его власти не замедлили принести плоды. СД получила право вести расследования во всех сферах партии и государства, допрашивать любых, даже очень высокопоставленных лиц.

Но некоторые сведения, добытые секретной службой, сведения особого рода, деликатные, не попадали ни в еженедельные, ни в ежемесячные докладные. Они оседали в секретных досье Гейдриха.

Как только Гиринг ушел, адъютант принес Гейдриху папку, в которой были собраны обработанные уже сведения, полученные от «почетных агентов», близких к дипломатическим и артистическим кругам. На каждом листке значилось: «Отпечатано в 1 экземпляре».

Гейдрих бегло проглядел сообщения о светских раутах в «Эспланаде», «Бельвю», «Адлоне», «Клубе господ», дрезденском «Эдене» и мюнхенском «Кайзергофе». Отчеркнул красным карандашом нужное для очередной сводки. Несколько дольше он задержался на записи кулуарных бесед, имевших место на приеме в честь юбилея Гинденбурга. Присутствовал весь дипломатический корпус. Отмечалось, что Гитлер пожал руку папскому нунцию и французскому послу. С итальянским послом Витторио Черутти рейхсканцлер обменялся национал-социалистским приветствием. Всю эту дребедень Гейдрих вычеркнул, но строчки, характеризующие самих послов, взял в кружок. Новый американский посол Уильям Додд характеризовался как личность сомнительная, вряд ли симпатизирующая делу национального возрождения. Зато англичанин Эрик Фиппс определенно сочувствовал национал-социализму. Шведский посланник Вирсен намекнул, что его правительство неодобрительно следит за развертыва-

нием в Скандинавии пронацистской пропаганды. Голландец Лимбург-Стирум...

Все это лично Гейдриха не интересовало, но, безусловно, было полезно. Могло пригодиться. Иное дело бирабенд у Рема на Маттхайкирхенштрассе. Здесь явно стоило как следует покопаться!

...Охота Германа Геринга (бревенчатый дом средневекового юнкера и средневековый охотничий костюм хозяина, который он вскоре сменил сначала на розово-зеленую униформу главного лесничего, затем на белый парадный мундир генерала ВВС). Это интереса не представляло, равно как и черный, шведского мрамора склеп, в котором покоилась жена рейхсминистра, или сопровождавшие его повсюду фотографы. Подобные сведения, конечно, могли заинтересовать Гитлера, но он, Гейдрих, уже давно все это знал. И в первую очередь о невесте Геринга, которая интересовала шефа СД куда больше, чем шведка в склепе.

Он быстро исчеркал листки карандашными пометками, и, найдя, что «почетный агент» из министерства финансов не дал никакой ценной информации, нажал звонок. Ни его самого, ни тех, для кого он составлял отчеты, никак не могло интересовать, что министр финансов дважды был на концерте знаменитого скрипача Крейслера. Иное дело донесение о том, что министр просвещения Бернгард Руст не знает ни слова по-английски, хотя пишет во всех анкетах, что свободно этим языком владеет. И неважно, что Гейдриху это уже известно. «Почетный агент» в аппарате Руста — человек явно сообразительный, он понимает, в чем заключается его работа. Такого стоит поощрить и, может быть, даже продвинуть по службе.

Вошел адъютант с новой папкой, в которой были собраны материалы, имеющие отношение к Компартии и прочим подрывным организациям, действующим на территории рейха.

— Узнайте, на какой должности работает этот инфор-

матор,— Гейдрих взял синий карандаш и поставил галку против строчки, где говорилось о делах по министерству Руста. А ответственному за министерство финансов укажите, что они плохо подбирают людей.— Он поставил зеленый крестик.— Меня интересует, какие связи поддерживает господин министр Лютц фон Шверин-Крозигк с вице-канцлером Папеном, генералом Шлейхером, статс-секретарем Мейснером.

— Будет исполнено, группенфюрер! Адъютант энергично вскинул голову.

— Далее. Я не вижу сообщений о руководителе бюро иностранной печати Эрнсте Ханфштенгле. На прошлой неделе их тоже не было. Проверьте.

— Слушаюсь, группенфюрер.

— В прошлых сводках уже два раза отмечалось, что его называют «франтом». Я это уже усвоил. Не надо лишней информации. Теперь о приеме у рейхспрезидента Гинденбурга. Нам уже известны политические симпатии сэра Эрика Фиппса. Не надо повторений. Пусть лучше информатор, если такая возможность представится, наведет англичанина на разговор о лорде Лотиане, Асторе и прочих... Особое значение я придаю сообщению о якобы имеющем место завещании, которое написал рейхспрезидент. Когда написал? Где? Свидетели? Кто скрепил? Нотариус или статс-секретарь? Это все очень важно. Слухи тоже. Кого считают вероятным преемником? Усилить внимание к его сыну, полковнику Оскару фон Гинденбургу. Его товарищи по службе, жокей-клубу, ипподрому. Докладывать немедленно!

— Ясно, группенфюрер. Материалы группы три-а, группенфюрер,— адъютант раскрыл папку и собрался положить ее, как обычно, справа от Гейдриха.

— Это я сейчас смотреть не буду. Нужно изменить рубрики. «Подрывная деятельность, включая агитацию и саботаж». «Эмиграция — коммунисты и социал-демократы».

«Эмиграция — интеллигенция». «Общественное мнение в стране вокруг всех этих вопросов». Итого, четыре рубрики. Кроме того, временно, до начала процесса, вводится пятая: «Тельман». Все, что связано с ним. И общественное мнение тоже. Пусть рассортируют по рубрикам. А сейчас доложите мне об этом.

— Одну минуту, группенфюрер, — адъютант быстро записал все указания в блокнот и раскрыл папку.— Здесь пока все коммунистические функционеры вместе...

— Доложите только о Тельмане. Впредь особое внимание уделить эмиграции, но не дублируя работу гестапо и посольств. Персонально меня особенно интересуют... записывайте: Вильгельм Пик, Вальтер Ульбрихт, Вильгельм Флорин, Вильгельм Кёнен, Франц Далем. Теперь социал-демократы: Рудольф Брейтшейд, Тони Зендер, Альфред Браунталь, Зигфрид Ауфхойзер. Записали?.. Далее интеллигенты: Лион Фейхтвангер, Генрих Манн, Эрнст Толлер, Эгон Эрвин Киш,— Гейдрих называл фамилии по памяти, словно читал готовый список.— Сообщите информаторам в наших посольствах и представительствах в Париже, Праге, Вене, Варшаве.

— Ясно, группенфюрер. Разрешите о Тельмане?

— У вас много?

— Нет, группенфюрер. Сегодня не так много. Рабочие заводов Сименса, портовики Приморья, транспортные рабочие Дюссельдорфа и так далее много говорят о процессе. Доминирует мнение, что после Лейпцига правительство боится такого процесса. Высказываются предположения, что с Тельманом поступят так же, как с Ионом Шеером, Эрихом Штейпфуртом, Эйгеном Шёнхааром, Рудольфом Шварцем. Открыто говорят, что они были подло застрелены при переезде из одного места заключения в другое.

— Убиты при попытке к бегству. Об этом говорили и будут говорить, как, впрочем, и о пытках в

гестапо. Листовки? Окружные коммунистические газеты?

— В ряде мест еще распространяются. Вчерашний тираж «Роте фане», по самым скромным оценкам, составляет не менее ста тысяч экземпляров! Развернута за границей кампания в защиту Тельмана...

— Знаю из дипотчетов. Наши посольства завалены письмами протеста и петициями. Лозунги, демонстрации и все такое... Знаю. Ближе к делу.

— Дочь Тельмана по-прежнему бойкотирует политические мероприятия. Открыто говорит, что ее отец невиновен. Изоляция вокруг нее ширится. Роза Тельман, по некоторым данным...

— Это дело гестапо. Они меня обо всем информируют.

— Не совсем... — адъютант позволил себе загадочно улыбнуться. Он почему-то считал, что Гейдриху нравится легкое проявление этакой мальчишеской непосредственности.

— Яснее,— пахмурился Гейдрих.

Улыбка тотчас же исчезла с красивого лица моложавого обер-штурмбанфюрера, который был старше своего шефа на четыре года. Среди высших офицеров главного управления — РСХА — Гейдрих был самым молодым.

— Служба безопасности располагает сведениями, что штурмбанфюрер Зиберт напал на след коммунистического заговора.

— Ни больше и ни меньше?

— Это их терминология, группенфюрер. Речь идет, по-видимому, о побеге Тельмана из Моабита.

— Интересно. Есть подробности? Фамилии? Явки?

— Пока ничего определенного. Очевидно, поэтому они вам и не докладывают. Но Зиберт встревожен.

— Гиринг в курсе?

— Да, группенфюрер. Зиберт советовался с ним по телефону.

— Разговор записан?

— Выборочно, группенфюрер.

— Какие меры принял Гиринг?

— Собирается оставить Тельмана на некоторое время в нашей следственной тюрьме.

— Подготовьте мне досье на Харро Шульце-Бойзена. Вы должны его помнить. Этот выродившийся потомок Тирпица издавал мерзейший журнальчик «Гегнер». После закрытия журнала и ареста сотрудников его мать партайгеноссе Шульце — на нее тоже подберите материал — лично посетила штандартенфюрера СС Хенце в его резиденции на Потсдамштрассе, 29. Она рыдала, клялась, сыпала влиятельными именами,— любопытно, какими именно,— одним словом, всячески заверяла, что ее сын больше не будет заниматься антигосударственной деятельностью и покинет Берлин сразу же, как его освободят из лагеря. К счастью, разумеется к счастью для этого типа, он находился в одном из наших «диких лагерей» и дело на него не было надлежаще оформлено. Но когда Хенце освободил его, фрау Шульце сразу же написала жалобу фюреру. Наглость, не правда ли? Сынок, видите ли, жутко выглядит, бледный как смерть, с черными кругами под глазами, волосы подстрижены садовыми ножницами и ни одной пуговицы на одежде.

Гейдрих замолк, и его адъютант позволил себе пренебрежительную усмешку.

— Да, коллега, фрау Шульце была в претензии! Кроме того, она писала, что арестованного вместе с ее сыном публициста Генриха Эрлангера самым зверским образом забили до смерти. Мягкотелому Хенце, надеюсь, это письмо послужило хорошим уроком. Правда, он тут же ударился в другую крайность и опять арестовал Шульце-Бойзена. Ему явно не следовало торопиться. Уж если он, не посоветовавшись с более опытными товарищами, решился выпустить на волю заведомого про-

тивника национал-социализма, то мог бы набраться терпения и подождать, пока появится повод водворить его обратно. Но он не подождал. Совершенно не нордическое поведение. Какая-то нервная, женственная импульсивность. Хенце — «старый борец». Он еще в 1927 году получил в билете отметку «допущен к секретной работе». Вызовите его ко мне послезавтра на семнадцать часов.

Адъютант сделал пометку в блокноте. Он уже привык к тому, что шеф круто менял разговор и становился под занавес разговорчивым. Но даже он никогда не мог понять, что интересовало Гейдриха больше всего. Сейчас ему показалось, что этот жалкий журналистик с его скандальной мамашей и злополучный Хенце заботят шефа не меньше, чем сам Тельман, не говоря уж о международной политике и светских сплетнях.

— Значит, этот Шульце-Бойзен опять под арестом? — на всякий случай уточнил он.

— Нет. Фрау Шульце сразу же отправилась к нашему новому полицай-президенту, адмиралу фон Леветцову, и Шульце-Бойзен вновь оказался на свободе. У нас есть сведения, что он решил пойти в ВВС. Пусть информатор летной школы в Варнемюнде обратит на него особое внимание.

— Больше ничего, группенфюрер? Насколько я знаю, школа в Варнемюнде только считается гражданским учреждением...

— Ограничимся пока наблюдением. На сегодня все. Свяжитесь с абвером и договоритесь о моей встрече с Канарисом в любое удобное для него время. Эти дни я буду у себя, на острове Фемарн. Все телефонные разговоры переводить туда. Если поступят важные сообщения от наших агентов из штаба СА, немедленно поставьте меня в известность.

Вот оно, главное, подумал адъютант. Начинается...

Глава 24

Гипноз

Когда Гиринг возвратился от Гейдриха, у Тельмана уже было выбито четыре зуба. Окровавленный и обессилевший, он полулежал в кресле. Дыхание было хриплым. На почерневших, распухших губах вздувались и лопались пузыри кровавой слюны.

Эсэсовцы тоже отдыхали. Курили.

— Ну, как дела? — осведомился Гиринг.

Штандартенфюрер с открыточным лицом истинного германца молча пожал плечами. Кисть его правой руки была завязана носовым платком — неосторожным ударом он сорвал кожу с костяшек пальцев.

— Вам не надоело, Тельман? — спросил Гиринг, склоняясь над креслом, и, не дожидаясь ответа, круто повернулся к столу. Снял трубку внутреннего телефона с черным слепым диском и, сдерживая бешенство, четко и внятно произнес:

— Попрошу господина Бёме.

Он нисколько не верил в этого Бёме. Но, черт возьми, он надеялся, что за время его отсутствия дело сдвинется с места. Оказалось, что, кроме стонов сквозь закушенную губу, они ничего, ровнешенько ничего из него не выбили. Нет, Гиринг больше верил в мясо, которое может очень болеть, и кости, которые так неприятно трещат, чем в нервную систему. И все-таки следовало попробовать и этого Бёме. В виде дополнения к общему курсу терапии, как остроумно выразился Вилли. Тем более, что Бёме, профессионального гипнотизера, рекомендовал лично Ганнусен — знаменитый ясновидец, услугами которого пользовались Геринг и сам фюрер. Генрих Гиммлер платил этому Бёме еженедельное жалованье по ведомости хозяйственного управления СС.

Гиринг не спрашивал у коллег из соседних отделов гестапо, каков Бёме в деле. Это было не принято. Но он слышал тем не менее, что на некоторых его приемчики действуют получше, чем все эти «усиленные меры». В конце концов, Гиринг ничего не терял, пригласив гипнотизера на сегодняшний допрос. Выйдет — прекрасно, не выйдет — так не выйдет. Кроме того, склонный к мистицизму рейхсфюрер СС Гиммлер не любил скептического отношения к «тонким», по выражению осторожного Гейдриха, «материям».

Потомственный судейский чиновник, Гиринг не мог не знать, что черный орден СС построен по образцу иезуитского. Вся структура его управления была заимствована у отцов-иезуитов, а безраздельное единовластие рейхсфюрера лишь повторяло оправдавшее себя в веках единовластие генерала ордена. Отсюда проистекали и «фюрер-принцип», и мистицизм, в который Гиммлер облек фигуру вождя. Ему было мало реальной власти над черной элитой и тайной полицией. Он хотел еще власти иррациональной и непостижимой, простирающейся до самых глубин человеческой души. Ему было мало вызывать в людях простой страх. Он хотел, чтобы страх этот стал беспредельным и суеверным. Поэтому высших офицеров черного корпуса время от времени наставляли в искусстве сосредоточения духа. Гиммлер хотел, чтобы важным акциям или решениям предшествовали особые ритуальные церемонии. Он не знал только, на чем ему остановиться: на тантрических церемониях тибетских лам, средневековых черных мессах или выдуманных розенберговскими теоретиками отправлениях новой официальной «религии Вотана». Нередко он валил все в одну кучу: валгалу, шабаш и мистический рай Сукхавати. Получался какой-то чудовищный и мрачный гротеск. Уродливый и даже неприличный. Своим приближенным он часто говорил, что является перевоплощением импе-

ратора Генриха II и хорошо помнит свою прошлую жизнь.

Не столь важно, верил ли в это он сам. В создавшейся ситуации любое сомнение по части «тонких материй» могло больно ударить по карьере. Гиринг отдавал себе в том полный отчет. Перед подчиненными он тоже порой напускал на себя загадочно-просветленный вид и начинал нести совершенную ахинею о метампсихозе, высших силах, нездешних учителях и заклятии крови. Как правило, его мистический угар совпадал с очередным оккультным пароксизмом рейхсфюрера. Теперь вот он счел необходимым прибегнуть к помощи Бёме. Но сердце его к этому не лежало, нет. Что-то грызло, что-то беспокоило. Может быть, то, что Бёме был креатурой Ганнусена?

Высший офицер СС, Карл Гиринг знал, чем занимается секретная служба — элита элит! Знал он и то, что в последнее время отношение к Ганнусену незаметно переменилось. Ходили глухие слухи, что ясновидящий где-то что-то сболтнул по поводу пожара. Что он в свое время то ли навел кое-кого на эту бесподобную идею, то ли прочел ее огненные буквы в чьей-то душе — точно не известно. Но о том, что пророк сболтнул где не надо, говорили определенно. А он любил многозначительно сболтнуть, любил. Кроме того, он слишком много знал о той неуловимой для непосвященных трещине, которая пролегла в отношениях между двумя самыми выдающимися вождями нации: Гитлером и Ремом.

От Ганнусена, одним словом, лучше было держаться подальше. Гиринг не верил ни в ясновидение, ни в прочую чертовщину, но обладал сверхъестественным чутьем к настроениям там, наверху. Поэтому он провидел в Ганнусене скорого покойника. Как Вёль. Как обербрандмейстер Гемп. Как доктор Белл.

Но гипнотизера Бёме он все же пригласил. Когда тот

вошел, сгорбившись и по-собачьи часто принюхиваясь, Гиринг вдруг вспомнил, что был еще такой средневековый мистик Якоб Бёме.

Гипнотизер без лишних слов принялся за дело и наклонился над пациентом. Про себя он отметил, что эсэсовцы явно перестарались. Боль — плохой помощник.

Тельмана кое-как усадили в кресле. Мокрыми полотенцами отмыли с лица кровь. Он не знал, кто этот сгорбленный низколобый субъект, сонно уставившийся на него черными, как арбузные семечки, глазами. Решил, что очередной мучитель.

Чтобы привлечь внимание Тельмана, Бёме щелкнул пальцами. Тельман поднял отяжелевшие веки.

— Очень хорошо! — утробным голосом сказал гипнотизер и шумно втянул ноздрями воздух.— Превосходно! — он надулся, и лицо его налилось кровью, хотя нос и поросшие жесткими черными волосками уши остались мертвенно-бледными.— Расслабьтесь,— он с хриплым бульканьем выдохнул.

Еще не понимая, чего хочет от него этот новый палач, Тельман ощутил безотчетную острую гадливость.

— А теперь вы заснете,— Бёме нацелился на Тельмана растопыренными пальцами.— Вам нужен отдых. Все ваши испытания позади, боль постепенно стихает, стихает, ваши руки тяжелеют, глаза слипаются, вам хочется спать, спать, вы засыпаете...

По знаку Бёме на окнах опустили тяжелые шторы. Гиринг зажег настольную лампу.

— Вы спите? — тихо спросил Бёме.

Тельман не отвечал. Глаза его были закрыты. Ему и вправду хотелось спать.

— Спит,— удовлетворенно пояснил Бёме.— Сейчас мы установим контакт. К вам подходит женщина, — он опять заговорил утробным голосом.— Это ваша жена.

Она смеется, протягивает вам навстречу руки, она счастлива!.. Поздоровайтесь с ней!

Тельман не шевельнулся.

— Как, вы не узнаете ее? Видите, как весело вьется на весеннем ветру ее газовый шарф? Вы стоите с ней на зеленом лугу. Трава искрится росой, повсюду разбросаны золотистые одуванчики. Пахнет зацветающими деревьями. Оглушительно щебечут птицы. Загляните в глаза своей жене. Видите, как она счастлива? Видите ослепительные солнечные точки в ее глазах? — Бёме выпул из кармана палочку с блестящим шариком на конце и, не оборачиваясь, процедил сквозь зубы: — Дайте свет.

Гиринг направил лампу на Тельмана. Гипнотизер поднял палочку и поймал шариком свет.

Перед Тельманом заплясала колючая, нестерпимо сияющая звезда. Он увидел черное зеркало ночного залива, изломанные отражения топовых огней. Увидел, как пляшет в бегущей от форштевня волне зеленая немыслимая звезда. Лоцманы ведут океанские пароходы от самого Куксгафена в гамбургский порт, и звезды качаются под ними: то сближаются, то расходятся. Но нет, это не звезды. Это сонные слепящие блики на Эльбе. Бланкенезе — веселые дачки среди дубов и сосен. Лодки. Плеск воды. Смех.

— Много воды? — хрипло спросил Бёме, словно и он вдруг увидел что-то за светлой границей расплывшегося на черной стене лампового круга.— Да, много воды... Ваша жена не одна. С ней девочка. Ее зовут Ирма. Это ваша дочь?

И Тельман увидел Ирму, увидел неожиданно близко. Была она в синем купальном костюмчике, вся мокрая, в искристых каплях, а за ней млела расплавленная в горниле полдня Эльба.

«Вот что это такое!» — он сразу все понял и на-

прягся, заледенел весь. Но все посасывал машинально скользкие кровоточащие ямки в деснах.

— Это ваша дочь? — все добивался ответа гипнотизер. Он хотел, чтобы все убедились, что обещанный контакт наконец установлен. Ах, какой это будет триумф, когда он сделает из красного Тельмана послушную куклу. Сейчас он покажет этим мясникам, как надо работать.

— Это ваша дочь? Да, это ваша дочь! Слышите, как звонко она смеется?

Тельман молчал. Ирма сорвала с головы купальную шапочку и тряхнула короткими волосами. В веере брызг промелькнула радуга.

— Вы же видели воду? — неуверенно, даже как-то заискивающе спросил гипнотизер.— Вам хочется пить?

— Да,— Тельман едва пошевелил распухшими, запекшимися губами.

— Сейчас вы напьетесь! — повеселел Бёме.— Пива! Хотите пива? Холодное. Горьковатое от хмеля. Отдающее бочкой. Берите же кружку. Она тяжелая, запотевшая. Солнце дробится в толстом ее стекле. Чувствуете, как ваши губы щекочет пена? Ага! Ну так пейте же, пейте на здоровье.

Тельман покачал головой.

— Воды,— еле слышно выдохнул он.

Очень хотелось пить. Но он напрасно ждет от них стакана воды. Они не дадут ему напиться.

— Как, вы не желаете пива? Вы хотите воды? Какой же? Минеральной? Фруктовой? Или, может, кирш-вассер со льда? Сейчас вам дадут. Только не спешите. От холодной воды ломит зубы. В такую жару немудрено простудиться.

В жару? Нет, сейчас не жара. Холод. Лютый, пронизывающий холод. И пить он уже не хочет. И нет ни реки, ни залива. Только снег. Снег в ночном зимнем

лесу. Они с отцом забрели в самую гущу, где молодые елки особенно колючи и упруги. Славный будет заработок перед рождеством. Славный! Да и день прошел хорошо. Короткий зимний день в туманном от мороза Баргтехейском лесу. Еловые ветви тяжело провисают под шапками снега. И снег белый-белый, чистый-чистый! Иней на сизых стволах переливается соляными кристаллами.

Темные лапы сосен обросли мутными сосульками. И каждую иголочку матово посеребрил мороз. Никакими шарами, бусами и канителью не достигнуть такой торжественной красоты! Но для того и рубят они эти елки, чтобы па радость ребятишкам обросли они игрушками и сластями.

С легким звоном вонзаются в дерево топоры. Мелкие щепки летят на нетропутый снег. Белая скипидарная сердцевина. Снежная пыль. Но некогда, некогда любоваться. Отец торопится. Зимний день короток. Надо успеть до темноты нарубить побольше красивых елочек, а то матери завтра не на что будет купить хлеба и молока. Весь заколдованный, лес звенит под топорами. С тихим шумом падают елочки. А он, только успевай поворачиваться, стаскивает их в одну кучу. Дровосеки довольны. Проворный малыш у Иоганна. Окликать его не приходится. В нужную минуту — тут как тут. Но рукавицы липнут от хвойного белого сока, снег осыпается за шиворот, иголки царапают кожу. Он разогрелся и взмок. Сразу же сделалось зябко. Хорошо, что набрали хворосту да сухого лапника и запалили костер. Пламя загудело, затрещало, побежало по смолистым ветвям. Костер обжигает, но греет плохо. С одного бока жарко, с другого — замораживает стужа.

Быстро стемнело. Мрак вокруг костра загустел. Отдельные стволы слились в неразличимую массу. А повозки, которая должна отвезти их в город, нет как нет. Вот тебе и рождественские заработки! Не пришлось бы

заночевать в лесу. Дровосеки посовещались и решили отправиться в лесной трактир неподалеку. А может, и мороз к ночи ударил покрепче. Недаром лес поскрипывать стал. Шорохом наполнился. И снег под ногами хрустит, и кора на соснах пощелкивает. Видно, ветер над лесом гуляет.

Но впереди уже оранжево засветились окошки трактира. Тепло. Сытный ужин. Постель. Дровосеки прибавили шаг. Уже вкусный дым из трубы долетел до них. Тут Иоганн Тельман вдруг обернулся и про топор спросил. Он руки в рюкзак — а там пусто, нет топора. «Ну, Эрнст, дела,— вздохнул отец.— В последний раз я видел топор у тебя в руках, когда мы сидели у костра. О чем ты только думаешь? Ступай обратно в лес и принеси».

Он обернулся назад, где остался глухо шумящий полночный лес. Синеющие извивы дороги уходили в недобрую затаившуюся черноту. Осколок луны выплывал над щербатой кромкой дальних сосен. Пепельные, несущиеся в воздушных струях облака ненадолго затеняли ее холодный пронзительный свет. Стало страшно.

— Страшно? — хрипло спросил Бёме и медленно, словно на ощупь подбирая слова, заговорил: — Вы утолили жажду. Опять появилась заглохшая на время боль. Ледяной пот выступил на лбу. Стало страшно. Тоскливо и страшно от предчувствия новой боли. Это предчувствие леденит кровь, пронизывает до костей. Тоска и холод.

Нет, нет! Не холод. «Я мигом вернусь, отец!» — и страх убегает. Когда бежишь, не холодно. И когда ветер доносит далекое: «Останься! Не беги!» Дорога утоптана. Холодные, чуть покалывающие струйки обтекают лицо, посвистывает в ушах. Однажды пройденный путь уже не кажется длинным. Подумаешь, лес! Подумаешь, ночь! На бегу разогреваешься лучше, чем у костра...

И темноты не осталось в Баргтехейском лесу. Восход

луны залил его серым обманчивым светом. Переливались сосульки. Поблескивали следы на дороге. Темнели на снегу ямки от потонувшей щепы. Заиндевелые сосновые шишки сказочно голубели в лунном огне. Вот и поляна с черным пятном посредине. Это костер, который, чтобы не подпалить лес, сгребли в кучу. Он все еще тлеет. Синий туман поднимается над грудой веток, под которыми корчатся жаркие гусеницы. И такая стоит тишина, что можно расслышать шепот звезд и лепет спящих под снегом корней, сонный посвист зверьков в норках и биение птичьих сердец. Вся природа: небо, лес и земля — нашептывала ему свои смутные сказки.

Он поднял забытый на снегу топор. Постоял у костра, дышащего влажным теплом. И грустное, тихое счастье медленно подступило к его сердцу.

Туча с дымной оторочкой скрыла луну, и он двинулся в обратный путь, стараясь не сбиться со следа, скупо поблескивающего на синем непроглядном снегу.

Сразу вспомнились страшные рассказы о разбойниках, лесных духах и страшных привидениях. В школе, во время скучного урока, эти поведанные жарким шепотом истории всегда приятно щекотали нервы сладкой своей жутью. Он не верил им и ничего не боялся, но слушать было приятно и верить было легко. Ребята уверяли, что лесное наваждение можно прогнать громким криком и свистом. И ему хотелось, очень хотелось кричать, когда колючая, холодная лапа хлестала на бегу по глазам, а за спиной громыхали чьи-то шаги. Он останавливался, замирал, и шаги тоже замирали. Кто-то страшный и большой прятался за стволами лесных великанов, выжидая, когда можно будет опять пуститься вдогонку.

Но он не закричал, хотя очень хотелось. Лесные звери меня не тронут, сказал он себе, а духов совсем-совсем не существует. Положил топор на плечо обухом к

небу и зашагал, выискивая следы. А тут луна вновь выскользнула из-за туч, и все вокруг заиграло, словно хотело растаять в негреющем дивном огне.

Когда он вернулся в трактир, все уж спали. Дверь была заперта. Он неторопливо, уверенно постучал обушком. Открыл отец и, увидев топор, улыбнулся. «А ты нисколько не боялся, Эрнст?» — «Кого же мне, интересно, бояться? Нет, я не боялся»...

— Боль нарастает? Медленно она нарастает. У боли нет границ. Это бездонная пропасть, куда можно падать и падать. Вы знаете, что и за нестерпимой болью наступит еще более страшная, совсем нестерпимая боль.

— Воды. Дайте мне воды,— зашевелился в кресле Тельман.

— Он действительно хочет пить,— сказал Гиринг, сделав на слове «действительно» ударение.

— По-видимому,— неохотно отозвался гипнотизер.— Контакт утерян. Пациент слишком избит. Он черпает силы в собственных болевых ощущениях и сопротивляется мне. Я физически чувствую, как он сопротивляется.

— Включите свет,— распорядился Гиринг.

Люстра под потолком резанула неожиданной вспышкой по воспаленным глазам.

— Он открыл глаза,— сказал Бёме, вытирая платком вспотевшую шею.— Теперь он окончательно проснулся.

— Он и не думал спать,— скрывая раздражение, ответил Гиринг.

— Возможно. Боюсь, что на сегодня моя миссия окончена.

Когда гипнотизер вышел, Гиринг с грохотом выдвинул какой-то ящик из тумбы стола.

— Напрасно вы сопротивляетесь, Тельман,— сказал он, достав тяжелый бич гиппопотамовой кожи.— У боли ведь действительно нет границ.— Взмахнув рукой, он со свистом рассек бичом воздух. — Неужели вы хотите,

чтобы с вами обращались, как с негритянскими невольниками? Вы же все-таки ариец, Тельман.— Гиринг еще раз взмахнул бичом и перебросил его одному из эсэсовцев: — Приступайте...

Последнее, что видел Тельман, перед тем как захлебнулся от сумасшедшей боли, были часы. Большая стрелка приближалась к девяти. Его обрабатывали уже около четырех часов. Это было много, очень много, но ему казалось, что допрос длился целую вечность...

С него сорвали одежду. Выволокли из кресла. Бросили поперек табурета. И сразу же нахлынула боль, от которой остановилось дыхание. Рот жадно хватал воздух, но парализованные легкие не расширялись. Тельману показалось, что он тонет в крутом кипятке.

Не помня себя, не сознавая больше ничего на свете, он закричал. Ему тут же заткнули рот и ударом носка под ребра сбросили с табурета на пол. Удары посыпались градом. Бич обрушивался то на грудь, то на спину. Ударов кулаками в лицо он уже не чувствовал и не осознал, когда его стали избивать ногами. Он только норовил инстинктивно перевернуться на живот и все прикрывал голову. Вдруг боль как бы отделилась от изуродованной телесной оболочки и стала существовать самостоятельно. Тут же часто-часто заколотилось сердце и оборвалось вдруг, нитевидно вздрагивая на угасающих холостых оборотах. В глазах сделалось черно-черно, а мозг вспыхнул и загорелся коптящим мятущимся светом. Изо рта пошла пузырящаяся пена. Последнее, что поймал Тельман краем отлетающего во вселенские бездны сознания, была жажда. Нечеловеческая, непередаваемая, от которой лопаются глаза, а треснувшие губы выделяют горький рассол.

Когда он захрипел и конвульсивная дрожь пробежала по его иссеченной в лохмотья спине, эсэсовец отбросил бич. В дверь постучали, и кто-то, не дожидаясь раз-

решения, заглянул в кабинет. В ушах Тельмана гудел прибой. Сознание возвращалось к нему пронзительными болезненными толчками. Он мучительно застонал. Сквозь глухую завесу, за которой еле мерещился гул океанской волны, он различил чей-то шепот.

— Что тут у вас происходит? — зачем-то спросил вошедший, будто он и сам не видел, что здесь происходит, или не догадывался, что может происходить.— Уборщицы слышали крики,— несколько виновато пояснил он.— И другие люди тоже. В здании еще есть посетители. Нельзя ли побыстрее закончить?

Зазвонил телефон, и Гиринг, взяв трубку, только кивнул заглянувшему в дверь человеку, после чего тот скрылся.

— Гиринг! — бодро отозвался он, потому что по прямому проводу спецсвязи ему большей частью звонило начальство.

— Вы забыли, Карл, мне кое о чем сказать,— сразу узнал он неповторимый голос Гейдриха.— Какие вы собираетесь принять меры по охране вашего подзащитного? Я слышал, будто коммунисты что-то такое затевают.

Гиринг побледнел от нахлынувшего ужаса, хотя никаких особых проступков за ним не числилось. Гейдрих каждый раз прямо в сердце поражал его своей нечеловеческой осведомленностью. Или проницательностью? Но тогда проницательность эта была нечеловеческой вдвойне.

— Самые решительные, группенфюрер,— он покосился на лежащего посреди комнаты Тельмана и махнул рукой.

Два эсэсовца взвалили его на плечи и потащили назад в кресло. Начали опять вытирать мокрыми полотенцами кровоточащие раны на голове.

— Конкретно?

Гирингу казалось, что шеф видит через трубку все,

что здесь происходит. И его, Геринга, смятение в том числе.

— Арестовать всех подозрительных, которые входят в контакт с... подзащитным или его близкими,— он зачем-то прикрыл микрофон рукой.

— Это успеется. Я думаю, вам не стоит особенно торопиться, Карл. Лучше включитесь в игру. Вы меня поняли?

— Ясно, группенфюрер. Будет исполнено.

— Хорошо. Действуйте в контакте с Зибертом и смотрите, чтобы он не наделал глупостей с этой красной фрау.

Гейдрих дал отбой, и Гиринг вышел из-за стола.

— Хватит на сегодня,— сказал он, всем телом ощущая удивившую его самого апатию.

Эсэсовцы завязали Тельману разбитый затылок и лоб полотенцем. Снова потом вытащили из кресла и посадили на табурет.

— Одевайся,— Вилли швырнул ему измятую рубашку и жилет.— И повернись лицом к стене. Если обернешься, буду стрелять.— Он расстегнул кобуру на животе и вынул «вальтер».

Тельман сразу же обернулся и посмотрел на Вилли. Тот не выдержал взгляда и отвернулся. Одни только глаза остались прежними на истерзанной, неузнаваемой голове.

— Сволочь,— сказал эсэсовец и спрятал револьвер.— Ладно,— махнул он рукой.— Позвоните в столовую, пусть принесут нам чего-нибудь.

Долговязый тут же подскочил к телефонному столику и нажал кнопку.

Когда открылась дверь, и вошел в белой коротенькой курточке кельнер, никто уже не заставлял Тельмана смотреть в стену. И невредимые его глаза, страшные, потому что искалечено было лицо, заставили кельнера

закусить губу и покачать головой. Но он ничего не сказал, поскольку был исправным членом партии и дорожил хлебным местом в гестаповской столовой.

Когда он возвратился с сосисками, капустой и холодным пивом, Тельмана в комнате уже не было. В стальной кабине лифта его спустили в подвальную тюрьму и бросили в камеру, прямо на каменный пол.

Шел уже одиннадцатый час, и попечение об арестантах на сегодня было закончено. Поэтому Тельман не получил даже воды. Если человеку после «усиленного» допроса не дают воды, значит, пытка продолжается, и нечего надеяться смягчить ее криком и ударами в дверь. А пить хотелось. И рот горел, как прокаленная солнцем растрескавшаяся пустыня.

Из брошюры Г. Димитрова «Спасем Эрнста Тельмана!»

Москва, 1934 г.

...Надо использовать все возможные пути, чтобы широкие слои германского населения узнали о том, что пролетариат и все честные люди во всем мире питают к Тельману и вместе с ним к угнетенному германскому народу чувство горячей любви и братской солидарности, что они исполнены решительной готовности его спасти.

Ни один из противников фашизма за границей, если он посетит Германию, или если в Германию едет его родственник или знакомый, или если он посылает по почте письма или посылки в Германию, не должен упускать ни одного случая, чтобы в какой бы то ни было форме бросить в «Третью империю» клич:

«Свободу Эрнсту Тельману!»

...Спасение Тельмана — дело чести международного пролетариата, долг каждого честно мыслящего человека во всем мире.

Глава 25

Педагогический совет

Взяв у молочника две бутылки молока, Роза по привычке заглянула в дырочки почтового ящика. Там что-то белело. Скорее всего письмо: для газет еще слишком рано. Она открыла ящик и достала белый конверт со штампом школы домоводства, где училась Ирма.

Опять что-нибудь стряслось, подумала она, разрывая конверт. Ну конечно, так и есть. Директор вызывал ее к десяти утра для беседы. Поставив бутылки в кухонный шкафчик, она осторожно приоткрыла дверь в комнату дочери. Ирма уже встала. Выгнувшись упругой дугой, стояла она на лоскутном коврике. Как всегда, она выполняла гимнастические упражнения в туго облегающем красном трико. Ветер надувал занавески. Свежо и остро пахло душистым горошком с балкона.

Совсем уже взрослая, подумала Роза, глядя на дочь, настоящая юная женщина.

Ирма выпрямилась, откинула волосы со лба, легко подпрыгнула и, расслабившись, перешла к дыхательным упражнениям.

— Меня вызывают к директору, девочка.— Роза протянула ей отпечатанный на машинке листок.

— Знаю,— кивнула Ирма.— Меня тоже.

— Что ж ты мне не сказала?

— Ты же знаешь, мам, я вчера поздно вернулась. Жалко было тебя будить.

— Что случилось?

— Ах, все это пустяки,— нахмурилась Ирма. —Радуйся, что эта повестка не из гестапо. Как-нибудь переживем.

— Это верно! Но все-таки я хотела бы узнать все от тебя, а не от директора.

— Ах, мама! — покачала головой Ирма.— Что случилось? А ничего! Понимаешь? Ни-че-го.

— И все же...

— Опять то же самое,— Ирма махнула рукой.— Старая песня.

— Как в коммерческом училище?

— Угу. Как в коммерческом училище. Как в чудном коммерческом училище у дивных Берлинских ворот.— Она закружилась по комнате, плавно покачивая руками.

— Не понимаю, чему ты радуешься?

— Ничему... Может, солнцу, может, утру. А что я могу сделать?

— Мы же не раз говорили с тобой об этом, девочка,— Роза присела на край кровати, все еще держа повестку в руках.— От тебя требуется не только упорство и мужество, но и терпение. Величайшее терпение, Ирма. Я знаю: это трудно. Но разве отцу легко? Ты должна быть твердой и думать только об учении. Здесь твоя победа над ними. Понимаешь, Ирма?

— Понимаю. Я все хорошо понимаю. Но и ты пойми! Ведь в коммерческом...

— Ладно, Ирма, дело прошлое. Лучше скажи, что произошло теперь. И переодевайся, нам же скоро идти. Что тебе сделать на завтрак? — Роза подошла к окну. Солнце уже палило вовсю.

— Я сама, мама.— Ирма быстро скатала перину, застелила постель и, схватив крепдешиновую юбку, забежала за ширмочку.— Я сварю яйца и кофе. Ты не волнуйся. Ничего я такого не сделала. Просто я не желаю петь их песни и орать «хайль Гитлер». Ты только представь себе этот идиотизм. Девчонки, взявшись под руки, поют: «Когда граната рвется, от счастья сердце бьется». Здорово?

— Да...— Роза улыбнулась, но не повернула головы.— Когда ты ушла из училища, я поняла тебя. Ведь так, моя девочка?

— Да, мамочка,— заведя руки за спину, Ирма застегивала кнопки на блузке.— Здесь учатся дети рабочих, они говорят со мной на одном языке. И у меня хорошие отношения с девочками, мама! Многие меня понимают. И учителя не так придираются... Знаешь, историк у нас тот же, что и в коммерческом. Он меня недавно спросил, почему я ушла из училища. «Ты же хорошо училась». Говорит, будто ничего-то он не понимает. Но я ему сказала!

— Что ты ему сказала? Что?— Роза сунула руки в кармашки передника и обернулась к дочери.

— Ничего особенного, мамочка. Ты не волнуйся. Я просто спросила его: «Почему в училище вы относились ко мне по-другому? Теперь же вы больше не ставите меня на последнее место. А там ни вы, ни другие учителя меня просто не замечали».

— Меня из-за этого вызывают?

— Нет, мам. Историк не ябеда. Он мне тогда ничего не сказал. Ушел. Видно, боялся потерять место в коммерческом.

— Его можно понять.

— Конечно.— Она энергично тряхнула волосами.— Но ведь и меня можно понять. Я никому ничего не хочу спускать, мама. Пусть знают, что мы не покорились. Ты одобряешь?

— Да,— почти через силу кивнула Роза.— Но я очень хочу, чтобы ты получила образование и нашла место в жизни. Многое может случиться... С отцом, и со мной тоже. Мне будет легче, если я буду знать, что ты как-то устроена. Ах, Ирма, я сама не знаю, что говорю... Так зачем же меня вызывают?

— Я сама точно не знаю. Думаю, из-за «хайль Гитлер», а может, преподавательница гимнастики донесла.

— Гимнастики? Что у тебя с ней? Ты же хорошая спортсменка!

— Она ярая фашистка! Я тебе рассказывала. Физкультуру превратила в военную муштру. Командует, точно в казарме... Послушала бы ты, с какой ненавистью она говорит о других народах. Иногда даже страшно становится.

— Ты ей что-нибудь сказала?

— Ну что ты, мам, в самом деле! Я же не дура какая-нибудь. Я все прекрасно понимаю. Эта гестаповка вместо разминки ввела упражнения в нацистском приветствии. Представляешь? Раз — вскинуть руку, два — опустить. Я-то ей не мешала сходить с ума. Мне-то что? Даже смешно было смотреть. Она потребовала, чтобы я со всеми пела песни. «Сегодня мы правим Германией, а завтра всю Землю возьмем...» Я готова, мама. Пойдем в кухню. Меня-то к девяти вызывают.

— К девяти? Что ж ты сразу не сказала,— заторопилась Роза.— А мы тут с тобой...

Пока Роза разбивала яйца, Ирма намазала маслом кусок булки.

— Очень есть хочется.

— Еще бы! Ты же вчера не ужинала.

— Угу,— кивнула Ирма с полным ртом.— Комсомольское собрание затянулось.

— Будь осторожна, Ирма.

— Ага, буду... Так я тебе не досказала про физкультурницу. Она меня, понимаешь, возненавидела. Обзывала при всех последними словами. Даже девочек пыталась подстрекать против меня. Только ничего у нее не вышло, и она еще пуще озлилась. Орала как бешеная. Поэтому я и думаю, что нас из-за нее вызывают... Можно, я помажу омлет горчицей?

— Чуть-чуть. Ты чересчур много ешь острого, это вредно для молодой девушки.

— Ничего... На той неделе она мне пригрозила: «Погоди, уж мы справимся с тобой... Мы уничтожим твоего отца и ему подобных. И тебя тоже!»

— Какая гадина! — не выдержала Роза, добавляя в кипящий кофе ложку цикория.

— А я что говорю? Она еще крикнула: «Я подам на тебя донесение. Чего тебе надо в нашей школе? Тебя надо выгнать вон».

— Вот как? Тогда, конечно, это из-за нее... Не огорчайся, девочка.

— Я не огорчаюсь, мама. Ты сама не волнуйся. Что же делать?

— Сердце болит за тебя. Трудно тебе будет жить. Ох как трудно... Но ты права, такая наша судьба. Мы — семья Тельмана.

— И я горжусь этим, мама. Мы ведь не одиноки. Отец все понимает. Он знает, как нам трудно, и верит, что мы выдержим. Ты за меня не бойся. Я уже взрослая.

— Да, ты уже взрослая, — вздохнула Роза. — В школу пойдем вместе?

— Зачем же? Они подумают, что мы испугались или переживаем.

— Хорошо, — улыбнулась Роза.

...В конференц-зале в полном составе заседал педагогический совет. За отдельным столом поддельного черного дерева под большим, во весь рост, портретом фюрера сидел сам ректор. У некоторых учителей на лацканах пиджаков белели круглые значки со свастикой.

Кажется, здесь будет настоящий суд, подумала Ирма, переступая порог. Но это не тот суд, которого ждет отец...

— Доброе утро, — она чуть наклонила голову.

Ей никто не ответил. В наполненном людьми и пронизанном светом зале повисла настороженная тишина. Первым нарушил ее ректор:

— Пройди еще раз к дверям, войди опять и скажи

приветствие правильно, так, как должна приветствовать немецкая девочка.

Ирма молча повернулась, вышла в коридор и, вновь переступив порог конференц-зала, молча остановилась у дверей.

— Вы видите, как она себя ведет! — взорвалась учительница физкультуры.— Это форменный вызов! Она неисправима. Таких надо отправлять в концлагеря.

— Ты Ирма Тельман? — спросил председатель педсовета, надевая роговые очки, словно хотел получше рассмотреть стоявшую у дверей девочку.

— Да.

— Тебя дома учат не отдавать национал-социалистского приветствия?

— Нет.

— На тебя дома оказывают политическое влияние?

— Нет!

— У вас дома ведутся политические разговоры?

— Нет!

— Вас посещают друзья отца?

— Нет!

— Вы только послушайте, как она отвечает! — опять не выдержала учительница.

— Ты встречаешься с детьми, с которыми была в организации юных пионеров и «красных соколов»? — продолжал допытываться председатель.— Думаешь ли ты, что наш строй, третья империя, когда-нибудь изменится?

— Каждый думает по-своему.

— Это не ответ! — крикнула учительница.— Пусть выскажется!

Ирма молчала. Она держала себя так, будто вообще не слышала никаких выкриков.

— Можешь идти,— кивнул ей ректор, доставая из внутреннего кармана авторучку.— Если твоя мама уже пришла, пусть войдет.

Но в коридоре никого не было. Ирма глянула на ручные часики. Они показывали тридцать пять десятого.

Молодец мама, подумала она, выскакивая на улицу, и тут же увидела поджидавшую ее Розу.

— Я тебя очень прошу, мамочка, уйдем отсюда!

— Что с тобой, Ирма? Ты такая бледная! Что они с тобой делали?

— Ничего. Только спрашивали. Но ты не должна, понимаешь, не должна появляться там раньше десяти! Ни на секунду.

— Хорошо, девочка. Не волнуйся. Я приду ровно к десяти. А пока давай погуляем.

Они медленно пошли по солнечному тротуару вдоль благоухающих распустившихся лип. Гудел в небе аэроплан, щебетали птицы. Возле пекарни рабочие в синих передниках загружали машину цинковыми подносами с влажным и теплым хлебом. Заливисто звенел трамвайный звонок.

Они молча описали вокруг школы большой круг и, постояв немного у витрины магазина сельтерских вод, неторопливо пошли обратно. Ровно в десять Роза поднялась по лестнице, ведущей в конференц-зал.

— Садитесь, пожалуйста, фрау Тельман,— не ответив на приветствие, указал ей на стул ректор.

Она села ко всем лицом и сложила на коленях руки.

— У нас есть к вам несколько вопросов, фрау Тельман,— председатель педсовета вновь водрузил на нос очки.

— Пожалуйста.

— Скажите, фрау Тельман, не настраиваете ли вы свою дочь против Германии?

— Нет, никогда. Я очень люблю Германию, и моя дочь тоже очень любит свою страну.

— Приятно это слышать. Но тогда становится более чем непонятно, почему ваша дочь не желает приветство-

вать своих наставников священным для всякого немца возгласом «хайль Гитлер!»?

— Понятно почему! — Роза едва заметно вздохнула. — Ее отец, которого она любит, безвинно сидит в тюрьме. Я одобряю ее поведение.

В зале поднялся ропот.

— Видите! — торжествующе вскричала физкультурница.

— Действительно, — ответил ей кто-то.

— Нет, это неслыханно! — возмутился еще один педагог. — Неслыханно, господа.

Ректор постучал карандашом по бронзовой крышечке чернильного прибора.

— Своим вызывающим заявлением, фрау Тельман, — ректор даже задохнулся от негодования, — своими словами вы лишь доказали, что на ребенка оказывается в семье давление. Вы или кто-то иной настраиваете свою дочь против идеологии национал-социализма. Это не может быть терпимо.

— Да, это не может быть терпимо, — поддакнул председатель совета.

— Советую вам изменить свое поведение. В корне изменить. Иначе... — он с раздражением водрузил крышечку на стеклянный куб чернильницы.

— Иначе? — спокойно спросила Роза. — Что же иначе?

— Мы посоветуем народному суду отобрать у вас девочку.

— То есть как это отобрать? — Она явно не была подготовлена к такому ответу. Даже растерялась немного, но тут же собралась, чтобы никто не мог заметить ее минутного смятения. Только руки ее заметались на коленях, словно что-то искали. Но и это продолжалось недолго: она крепко сцепила пальцы.

— Это просто делается. Очень просто, — проникновенно пояснил председатель и сладко прищурился. — Ирма

может быть направлена в специальное воспитательное учреждение или, скажем, ее возьмет к себе хорошая немецкая семья. Вы понимаете?

— Понимаю,— глотнув пустоту, Роза прикрыла глаза.— Только ничего из этого не выйдет. Не будет такого суда! Не будет! Мой муж больше года безвинно томится в тюрьме и ждет суда. Но его нет. И хотите знать почему? Хотите?— она обвела глазами их всех, но никто ей ничего не ответил.— Я вам скажу. Его боятся судить. Да, боятся. Поэтому никакой суд не посмеет отнять у меня мою дочь.— Она встала, резко отодвинув стул, и пошла к двери.

— Пусть ваша дочь ведет себя, как положено немецкой девочке,— догнал ее уже у дверей чей-то запоздалый возглас.— Иначе... мы будем вынуждены ее отчислить!

Она даже не обернулась.

Глава 26

Париж

Герберта разбудило солнце. Оно расплавило узкие щели опущенных жалюзи и медленно, как густой и тяжелый мед, наполнило комнату. Предчувствие радости нахлынуло на Герберта. Он быстро вскочил, накинул халат и поднял жалюзи. Небо показалось ему слишком ярко-синим для устойчивой погоды, а солнце чересчур ослепительным. Оно словно спешило нагреть землю, прежде чем его скроет мутная пелена грозы. Узкую улочку перед отелем уже заполнили молочницы, зеленщицы, торговцы устрицами.

Герберт жадно вдохнул еще прохладный утренний воздух, приправленный запахами цветов и сладкой вонью поджаренной на оливковом масле рыбы. Над серыми сте-

нами Консьержери уже дрожала знойная дымка. Грозно отсвечивал острый шпиль часовни Сен-Шапель на грозовом фоне различимых еще только по цвету, а не по очертаниям облаков. Дождь был неминуем. Все эти шесть дней Герберт прожил в маленькой гостинице на левом берегу Сены. Он фланировал по бульварам, подолгу стоял над мутной зеленоватой водой, по которой ползли бесконечные баржи, качая на ленивых, быстро затухающих волнах сонные неподвижные поплавки рыболовов. По древним мостам переходил он на другой берег, где до глубокой ночи не затихало лихорадочное веселье разноязыкого Парижа. Неслись по улицам грузовики с цветами, мясными тушами и овощами. Бесчисленные «рено» и «ситроены», как в остановленном кадре, замирали на мгновение у светофоров и вновь пускались в свой бесконечный бег. Он проходил под платанами с молодой, но уже пыльной листвой, где беспокойным обещающим светом наливались в сумраке круглые фонари. Он дышал знойным туманом этого города, сизым дымом автомобильных выхлопов, вечерними духами и утренним ароматом свежепомолотого кофе.

Иногда Герберту казалось, что великий город сдавил его серо-седым и голубовато-серебряным кольцом своих домов и крыш. Всего лишь за сутки он мог бы добраться до Гамбурга, кружным путем через многие страны, через чужие границы.

В прошлом месяце он шесть раз пробирался в Германию и благополучно возвращался обратно в Париж. Он колесил по Европе, которая слилась для него в калейдоскопическую мешанину, как эфир, наполненную радиопомехами, музыкой и суетой. Везде были дома и реки, шикарные рестораны и кафе на тротуарах, женщины. Даже полицейская униформа казалась ему одинаковой во всех странах, потому что он шестым чувством различал полицейских и без медных пуговиц и шлемов с гербами. Он

шел сквозь этот сплошной город, имя которому Европа, человек без паспорта, человек с десятком различных паспортов. Голландия, Польша, Дания, Чехословакия, Латвия, Литва, Австрия, Бельгия — транзитные станции на пути к Гамбургу или Берлину. И лишь места перехода навсегда врезались в его память, ибо нет острее резца, чем напряженные минуты ожидания перед броском и оглушительной тишиной бега.

И вдруг эта неделя случайной и непривычной праздности. Она не может длиться долго. Где-то таится тревога, подобная предгрозовому неистовству неба над заколдованной Сеной, над горшками гардений за окном.

Герберт побрился. Наполнив раковину тепловатой железистой водой, ополоснул лицо. Он мог бы, по примеру парижан, опустить за окно на веревке корзину и выпить в своей комнате бутылку молока с куском яблочного пирога. Но он не любил оставаться в номере. Легкость и простота великого города, седая мудрость его и тихая боль тревожили Герберта. Город за окном, в котором так легко и вольно, сковывал его аспидно-сизым ошейником. Герберт надел неприметный серый костюм, повязал скромный галстук в полоску, прихватил легкий плащ и портфель, последний раз глянул на себя в настольное зеркальце, спустился вниз и отдал портье ключ. Щурясь от тяжелого света, он вышел на улицу и смешался с толпой.

Вот так же отправлялся он и в свой тайный вояж. Налегке. Без чемодана и даже без шляпы, словно шел на работу или возвращался с работы домой. Вот так же, будь то в Копенгагене или Женеве, он нырял в толпу, подключаясь к ее ритму, напряженному или расслабленному, в зависимости от времени суток и погоды.

Перейдя через мост бульвара Сен-Мишель, он пошел по набережной Гранд Огюстен. Пахло тиной. Букинисты уже открывали свои лотки. Тучи над крышами слились

в сплошную грозовую завесу. Со стороны Булонского леса глухо погрохатывал гром. У ресторана «Ла Перигордин», славящегося печеными в золе трюфелями, Герберт свернул в узкую кривую улочку, где в угловом доме находилось уютное бистро. Утреннему кофе с пирогом он предпочитал кружку пива и хороший бутерброд с ветчиной. Раздвинув гремящую бамбуковую занавесь, он вошел в полукруглый зал. За стойкой из нержавейки стоял мосье Поль. Улыбнувшись Герберту, которого уже считал постоянным посетителем, он сразу потянулся к медному крану.

— Доброе утро, мосье. Как всегда?

— Доброе утро.— Герберт облокотился на стойку.— И немного сыру, пожалуйста.

— Есть отличнейший бри и совершенно восхитительный пон л'эвек. Такого вам даже у Максима не подадут. Очень рекомендую вам пон л'эвек.

— Хорошо,— кивнул Герберт и огляделся.

За одним из столиков расположилась компания таксистов. Они плотно закусывали и весело пили красное вино, по виду — бордо. Наверно, хорошо поработали ночью. У окна сидел чистенький старичок, перед ним недопитый стакан молока. За соседним столиком худощавый юноша сонно глядел на рюмку с абсентом. Больше никого в зале не было.

Герберт взял кружку и сел за пустой стол против входа. Через минуту мосье Поль поставил перед ним ветчину, сыр и аккуратно разрезанную свежую булку.

Загремела занавесь, и в бистро вошел высокий темноволосый человек в двубортном, несколько отстающем от моды коричневом костюме.

— Могу ли я получить здесь холодный ростбиф и пиво? — спросил он, тщательно выстраивая, скорее даже подгоняя друг к другу слова.

— Разумеется, мосье. С горошком?

— О, да. Если это возможно, с горошком.

По акценту Герберт сразу распознал в посетителе немца. Не хватало только, чтобы он сел за мой столик, подумал Герберт. Но так оно и случилось. Соотечественник принял свою кружку и, осмотревшись, не очень уверенно направился к Герберту.

— Разрешите, мосье? — он выжидательно склонил голову набок, но кружку на стол не поставил.

— Прошу,— пожал плечами Герберт.

— Надеюсь, я вас не стесню? Просто я вижу, что вы тоже пьете пиво...

И это достаточное основание, чтобы подсесть? — насторожился Герберт. Кругом же полно свободных мест. Или он распознает немцев по пиву? Французы тоже весьма охотно пьют его, хотя и не в таких количествах...

— Вы немец? — напрямик спросил Герберт.

— Да. К сожалению.

— Почему — к сожалению?

— Сегодня быть немцем не очень, как бы это точно сказать, лестно...

Ого! Какая прыть!

— Не совсем понимаю вас.

— Я имею в виду мою бедную родину. Но об этом не очень приятно говорить. А вы парижанин?

— Нет. Я из Цюриха. Коммивояжер,— на всякий случай сказал Герберт, ибо далеко не был уверен, что говорит по-французски, как настоящий парижанин.

— О, Швейцария — очень благополучная страна. Наверно, вы поэтому и плохо представляете себе, что делается у нас в Германии.

Опять Германия. Прямо за горло берет.

— Почему же плохо? — зло прищурился Герберт.— Очень даже хорошо. Мы знаем о концлагерях, погромах, расстрелах без суда и следствия, знаем, как отрубают головы топором и сжигают на площадях книги. Все знаем.

— Да. Именно так все происходит. Но есть и еще многое, о чем знаем только мы, немцы, а иностранцы не догадываются. Или просто не верят, когда им рассказывают.

— Что же именно?

— О, это можно понять только там, на месте,— незнакомец явно отвечал охотнее, чем спрашивал.— Постоянный страх. Какое-то, знаете ли, отвращение ко всему, и в том числе лично к себе. Все кажется бессмысленным. Нельзя же все время подавлять себя. Постепенно перестаешь уважать в себе личность. Только активный борец может чувствовать себя человеком. Все остальные — развращены. И те, кто поддерживает режим, и те, кто тайно его ругает, но не ударяет пальцем о палец. Понимаете? И я такой.

— Какой? Одобряете или поносите?

— Нет, я не одобряю. Я ненавижу нацизм. Точнее, я очень его не люблю.

— Вы эмигрант?

— Нет. Я в Париже по делу.

— Тогда вы слишком рискованно вступаете в откровенный разговор с неизвестным человеком. Это может повредить вам.

— Чем? — грустно улыбнулся незнакомец.

— Гестапо карает не только активных борцов. Оно, видимо, не любит и тех, кто не любит его. Это же естественно. Не правда ли?

— Но вы же не из гестапо?

Я-то нет, про себя усмехнулся Герберт. А вы, господин?

— Ничего нельзя знать заранее,— он многозначительно хмыкнул.

— Отчего же? — незнакомец все еще улыбался, но глаза его были очень невеселые, усталые какие-то глаза.— Предвидеть можно многое... Я случайно зашел в эту

случайно подвернувшуюся мне таверну, а вы уже сидели здесь, и маловероятно, что вы ожидали меня.

— Логично. Но тогда получается, что вы вошли вслед за мной, сели именно за мой столик и завели такой серьезный разговор. Разве не так?

— Да?! — он казался искренне удивленным.— Я както не подумал...

— Или опять же вернемся ко мне.— Герберт медленно выцедил пиво и отрезал ломтик сыру. Пон л'эвек и впрямь оказался превосходным. Такого он никогда не ел.— Вы вот сказали, что я вряд ли мог ожидать вас. А что если я ждал не лично вас, а таких, как вы,— не обижайтесь, это только пример — болтунов?

— Да, плохо мое дело,— незнакомец поднял кружку, приветливо кивнув собеседнику, и жадно отпил добрую половину.— Одно утешение: мы не успели обменяться визитными карточками. Надеюсь, что мы никогда больше не встретимся. По крайней мере в Германии.

— Я тоже,— Герберт поднялся.— Геренгросс. Коммивояжер из Цюриха. Торгую,— он усмехнулся,— хронометрами.

— Фон Хорст,— помедлив какое-то мгновение, представился незнакомец.— Изучаю звезды. И далеко не уверен, что не торгую своей совестью.

Вот как? Легко проверить, слишком громкое имя. Кажется, нобелевский лауреат...

— Зачем вы это мне говорите?

— Не знаю... Париж кружит голову. Мне страшно возвращаться домой, герр Геренгросс. Очень тоскливо... Я завидую им,— он кивнул на таксистов, которые затеяли игру в домино,— вам и вообще всем, кому не надо возвращаться туда. Мне почему-то кажется, что больше мне сюда не приехать.

— Но почему вы тогда...— Герберт не договорил. Чтото мешало ему продолжить разговор. Возможно, он утра-

тил настороженность и поверил всему, что сказал ему о себе этот человек.

— Вас интересует, почему я возвращаюсь? — понял он недосказанный вопрос.— Все очень просто. Семья... И, знаете ли, дело даже не в том, что на моих близких могут быть обрушены репрессии. Мне будет тяжела и сама разлука. Долгая разлука. Я люблю свою жену.

— Вы сказали, долгая разлука?

— Да, долгая,— Хорст тоже встал, но тут же опять сел.— Нет, я не пойду вслед за вами, герр Герenгросс,— усмехнулся он.— А то вы плохо обо мне подумаете... Долгая разлука. Очень долгая. Фашизм — это надолго.

— Почему вы так думаете?

— Мы получили то, что хотели, герр Гернгросс. Германия хотела Гитлера, и он пришел. Это надолго.

— Прощайте, профессор,— кивнул Герберт и, подойдя к стойке, положил монету в сто су.

Получив сдачу, он еще раз поклонился и вышел на улицу.

Профессор молча поднял кружку и наклонил голову.

Ветер гнал по мостовой обрывки газет, чей-то засохший букет, мелкий городской сор. Над мостом через Сену тускло светился осколок радуги. Когда Герберт дошел до набережной Вольтер, упали первые капли. Холодные и тяжелые, они зашуршали по бумажным клочкам и мусорным ящикам, кругами побежали по мутной воде, которая, утратив зеленый цвет, стала тусклой и серой.

Сзади скрипнули тормоза. Это было такси. Но на пригглашающий жест шофера Герберт отрицательно помотал головой. Он никогда не садился в первое такси. Особенно в таких случаях, когда оно было как нельзя более кстати. Он твердо знал, что особенно своевременно подвернуться может прежде всего гестапо. Французская сюрте его тоже не очень устраивала. Поставив портфель на гранит парапета, он надел плащ и заспешил прочь от реки под

нарастающие удары капель. В порывах ветра летела гроза.

Он основательно промок, пока поймал действительно случайный таксомотор. В беспощадном бело-лиловом свете молний лицо шофера показалось похожим на негатив.

— Нонвиль,— сказал он шоферу, вытирая платком мокрые волосы, но треск расколотого неба заглушил его слова.

Он отнюдь не торопился в этот очаровательный пригородный уголок. Но пока он добежит до ближайшей автобусной остановки, дождь окончательно его доконает. Что ж, он приедет в условленное место на полчаса раньше, только и всего. Если гроза пройдет, можно будет немного погулять.

Но гроза и не думала стихать. Вода заливала стекла машины, и каменные громады правого берега невероятно искажались, делались зыбкими, расчлененными снизу доверху вертикальными невидимыми трещинами. Серебристые мостовые взрывались под колесами веерами брызг, мелькали черные разлапистые деревья с шарообразными подстриженными кронами, маркизы над витринами магазинов, залитые водой кафе.

На Вандомской площади машина совершила круг и, обогнув отель «Риц», влетела на улицу Камбон. Вероятно, шофер решил, что так будет быстрее. Но Герберт не торопился. Ему некуда было спешить.

Прильнув к боковому стеклу, он следил за тем, как город теряет свой серебряный оттенок. Окутанные дождем пригороды казались серыми и печальными. Дома и распустившиеся деревья, как бесприютные уродцы, уносились назад в пронизанный белыми струями туман, словно тонули в небытии. По водостокам бежали пенные потоки, на брусчатке вскипали крупные пузыри, показавшиеся Герберту похожими на солдатские каски.

— Это дождевая пена, она тоже мылкая,— заметил

таксист, не поворачивая головы.— Скорости не разовьешь. Особенно на поворотах.

— И не надо,— Герберт улыбнулся карему шоферскому глазу в зеркальце.— Я не тороплюсь.

Шофер сбавил скорость, но, когда выехал на шоссе, вновь нажал на газ. И тут машина вылетела из густой завесы дождя и тумана.

Обновленный сверкающий мир лежал по обе стороны шоссе. Над асфальтом курился нежный пар. Листья на деревьях переливались мириадами зеркал. Крыши домов и лужи больно слепили глаза. И в каждой напитанной светом капле, повисшей на придорожной траве, переливалась и дрожала преображенная земля.

У газетного киоска Герберт велел остановиться. Расплатился по счетчику, дал полтора франка чаевых. Он купил утренний выпуск «Монд» и пачку сигарет. Неторопливо, со вкусом закурил. Когда таксомотор развернулся и уехал, бросил недокуренную сигарету в голубую лужу на быстро просыхающем песке и медленно пошел вдоль дачных заборов, за которыми на многокрасочных клумбах уже гудели пчелы.

Несколько ранее условленного часа он подошел к чугунным, с позолоченными рыцарскими щитами, воротам, за которыми виднелись темные строгие кипарисы и геометрически четкие куртины цветов. В глубине сада стояла серая двухэтажная вилла в стиле рококо, увитая плющом и диким виноградом. Это и было то самое загородное казино, где его ждали сегодня к часу дня. Он пришел без десяти минут час.

Калитка была приоткрыта. Он толкнул ее и по асфальтовой дорожке направился к вилле. Обошел ее и тихо постучался в заднюю дверь.

Бенно уже ожидал его. Он сразу же провел Герберта в маленькую каморку перед кухней.

Герберт уже не раз встречался с Бенно. Он знал его

еще по Германии. Отец Беппо был итальянец, мать — австрийка. Сам он рос и воспитывался в Германии у какой-то двоюродной тети из Киля. Герберт познакомился с Беппо, когда тот служил стюардом на пароходе «Северогерманского Ллойда». В 1929 году Беппо потерял работу и, как тысячи других, отправился за границу в поисках хлеба насущного. Ему повезло. Он получил хорошее место в Нонвиле и осел во Франции. Насколько Герберт знал, Беппо Шепауэр был в партии с 1925 года.

— Есть новости? — Герберт присел на узкую, застланную марсельским одеялом койку.

— Завтра отправляешься,— улыбнулся Беппо и протянул ему сигарету.

— Наконец-то...

— Да. Сегодня вечером, ровно в девять часов, приходи на старое место. Товарищ Вальтер хочет тебе кое-что сказать лично.

— Понятно.— Герберт глубоко затянулся и медленно выдохнул дым.

Дело предстояло, очевидно, серьезное. Вальтер Ульбрихт выходил на связь лишь в исключительных случаях.

— Что-нибудь новое? — спросил он, прислушиваясь к звону столового серебра и неразличимому рокоту разговора за стеной.

— Все то же. Просто тебя выдерживали на карантине. Нужно было заново проверить всю сеть.

— Были провалы? — Герберт прищурил глаз от дыма.

— Да. Многих взяли. Но за эти дни удалось наладить новые явки. Будь особенно осторожен с женой Старика. За ней постоянная слежка.

— Ну, это-то всегда было,— отмахнулся Герберт.— Она опытный товарищ и умеет избавляться от хвоста. Да и я ведь не вчера родился...

— Все же будь осторожен. Особенно теперь, когда опять появились реальные шансы вырвать Старика.

— Я знаю, меня познакомили с планом. Он дерзкий и довольно простой, без особых вывертов. Такие, бывает, удаются.

— Бывает?

— Сам понимаешь, как это сложно. Стопроцентной уверенности тут быть не может. Достаточно пустяка, и все рухнет.

— Ты не веришь, что удастся?

— Пока нет, Беппо. Одной идеи мало. Нужно все предусмотреть и расписать по секундам. Потребуется хорошая подготовка.

— Поэтому ты и едешь туда. Прежде всего установи прямую связь со Стариком. Наши считают это самым главным. Пусть он подробно ознакомится с планом и внесет свои поправки. Изнутри. Понимаешь? Между ним и группой надо наладить взаимодействие. Операция приурочена к его прогулке. Это единственная возможность.

— Не единственная. Наиболее реальная.

— Да,— Беппо смял сигарету в баночке из-под майонеза.— Пусть он все еще раз уточнит. Потом ты проверишь. Постарайся повидать всех, кто находится с ним в контакте. Запомни фамилию: Эмиль Мериц. Это надзиратель в Моабите. Можешь обратиться прямо к нему. Пароль он знает... Но будь осторожен.

— Буду. Какой у меня маршрут?

— Через Бельгию и Нидерланды.

— Это обязательно?

— На сей раз — да. Французские товарищи предупредили, что нашей деятельностью интересуется их контрразведка. Альянс с гестапо не исключен.

— Ясно. Но дорога по Рейну потребует лишних два дня.

— Что делать? — развел руками Беппо.— Я пока буду переодеваться.— Он раскрыл дверцу маленького гардероба, где висел закрытый старой простыней фрак.

— Что так рано?

— Суббота. Сегодня у нас обедают господа с Ке д'Орсе[1].

— А я думал, что ты занят только по вечерам.

— Обычно.— Беппо разделся, и Герберт увидел у него на руке татуировку: хорошенькая русалочка обвивала якорь.— Это очень кстати,— улыбнулся официант, пританцовывая на одной ноге и никак не попадая другой в штанину.— Всегда лучше, если в зале кто-то есть. Одинокие посетители не так бросаются в глаза.

— Но Жюля-то у вас всякий знает. Он же завсегдатай.

— Да. Король рулетки! И все же лучше, когда есть посторонние.

— Смотря какие! — усмехнулся Герберт.

— Это верно,— Беппо надел черную бабочку.— Но осторожность никогда не вредит.

— Постой! — спохватился вдруг Герберт. — Ты хочешь, чтобы мы встретились с Жюлем в зале?

— Ты что? — Беппо покосился на серенький костюмчик Герберта. Брюки основательно измялись. Мокрые манжеты были забрызганы грязью.— В таком-то виде? У нас, братец, как минимум, нужен смокинг. Даже днем.

— А ты, я погляжу, заделался снобом!

— Что делать? — пожал плечами Беппо.— Работа есть работа. И она мне нравится.

— Так как же я встречусь с Жюлем?

— Часа через два я тебя выпущу. На заднем дворе будет стоять его машина. Ты ляжешь на заднее сиденье и дождешься его. Он отвезет тебя в Париж. По дороге получишь от него все, что надо.

— Сложно придумано.

---

[1] Набережная, где находится французское Министерство иностранных дел.

— Конечно, можно бы проще,— Беппо оглядел себя в ржавое, облупленное зеркало и, видимо, остался доволен.— Но так захотел Жюль. Слишком уж он заметен.

— Ну, если ему так удобнее...

— Да, Герберт, мы тоже так решили. Жюль — ценный работник. Он вхож в самые высокопоставленные круги. Его пера побаиваются даже некоторые министры.

— Ну, положим, французским товарищам от него тоже достается.

— Конспирация. Это необходимо.

— А рулетка? Это тоже конспирация?

— Конечно... Я понимаю тебя, Герберт, мне тоже кажется, что Жюль и в самом деле игрок. Иногда он приезжает сюда днем, вот как сегодня — пообедать. В перерывах между блюдами достает свой блокнот и начинает что-то записывать, высчитывать. У него есть система, Герберт, а это значит, что он профессиональный игрок.

— Кто знает,— Герберт встал и раскрыл одностворчатое оконце. В каморке запахло умытой дождем зеленью и мокрой землей.— Rien ne va plus. Это тоже может быть прикрытием, Беппо.— Faites vos jeux [1]. Вы его спрашивали?

— Конечно. Но, понимаешь, как-то не совсем всерьез. То есть, конечно, мы спрашивали очень серьезно, но звучало это как шутка. Не удивительно, что он в ответ тоже отшучивался... Ведь что там ни говори, а его страсть, действительная или притворная, очень удобна для встреч со мной. Все-таки наше заведение — идеальное место для подобных операций.

— Все верно, Беппо, все очень правильно. Жюль — ценный для нас товарищ. И он не виноват, что вышел из совсем другой, чуждой нам среды. Он предан делу — и это главное... Но понимаешь, Беппо, ты давно не был на

[1] Ставок больше нет... Делайте ставки. *(Франц.)*

родине и смотришь на все несколько иначе, чем я. Пока здесь все благополучно и тому же Жюлю, даже в случае разоблачения, ничего страшного не угрожает, с ним можно работать. Но если...

— Я понимаю тебя, Герберт. Напрасно ты думаешь, что я не понимаю. Только ведь и в самых страшных условиях такие ребята, как Жюль, не подводили. Мы проверяли после провалов твою цепь. Только один не выдержал. Между прочим, рабочий-металлист, крепкий, казалось, парень. К счастью, он знал очень мало, но всех, кого знал, выдал. Не выдержал пыток. Мы не можем знать, кто из нас как себя поведет.

— Ладно. Не будем об этом... Вернемся к делу. Мне не очень нравится план Жюля. Его роскошная «испано-сюиза» слишком бросается в глаза. Ее знает каждый парижский ажан, а мне бы не хотелось привести за собой к товарищу Вальтеру хвост. Может быть, в сюрте и не догадываются о связях Жюля с нами, но блестящие люди всегда на виду. Полиция испытывает к ним то ли недоверие, то ли непреодолимый интерес. Журналисты, понимаешь, министры, кинозвезды, профессиональные игроки — все это попахивает. Пусть сладко, но все же попахивает. А полицию, особенно тайную, тянет на запашок, очень тянет. Недаром именно в этой среде полным-полно международных шпионов.

— Ты дал очень ценный классовый анализ, Герберт,— с едва уловимой иронией сказал Бенно.— Не думаю, что для наших он окажется такой уж новостью, но я доведу до их сведения твою, так сказать, оценку. Что же касается «испано-сюизы», то ее сегодня не будет. Жюль приедет в спортивном автомобиле своего близкого приятеля. Тебя устраивает?

— Вполне.

— Мне пора накрывать стол. Принести тебе чего-нибудь поесть?

— Я недавно позавтракал.

— Так ведь обедать тебе не придется. Проторчишь здесь еще часа два, как пить дать... Пользуйся случаем. Кухня превосходная и, главное, не будет стоить тебе ни сантима.

— Может, и вправду приобщиться к буржуазным удовольствиям? Что заказали господа французские дипломаты?

— Устрицы, креветки, консоме, петух в белом вине, салат, конечно...

— Вино?

— Разумеется. К обеду — шабли и пуйи, вечером — «Дом Периньон» 1926 года.

— Ого! Шампанское... Надеются выиграть?

— Не думаю,— усмехнулся Беппо.— Просто к вечеру ожидаются дамы. Они прогостят у нас до понедельника...

— Роскошная жизнь! Господа во фраках, дамы в вечерних туалетах от Баленсиаги, в драгоценностях от Картье... Будут хорошие чаевые, Беппо?

— Это уж как водится. Так что тебе принести?

— Может, креветок? — нерешительно спросил Герберт и почесал макушку.

— Розовых или серых? Серые сегодня будут получше...

— Нет, дай-ка мне, пожалуй, устриц! Я же никогда не пробовал устриц!

— Морен или белон? В это время белон нежнее.

— Вали белон! И сыр. Пон л'эвек у вас есть?

— Разумеется.

— Прекрасно. А еще я хочу хороший бифштекс с яйцом и пива.

— Этого мои гости не заказывали,— Беппо озабоченно покачал головой.— Но ничего, что-нибудь придумаем. Знаешь, я дам тебе попробовать фрамбуаз — старую малиновую наливку из подвалов принца Орлеанского.

— Потрясающе! — пробормотал Герберт и в ожидании грядущих роскошеств повалился на койку.

— Неизвестно, где ты будешь обедать завтра, — меланхолично заметил Беппо и, щелчком сбив с себя пылинку, повернулся к двери, которую закрыл за собой на ключ.

Герберт инстинктивно не любил, когда его запирали. Он поднялся, осторожно пробрался к окошку и глянул вниз: прыгать было невысоко.

В искрящейся мокрой траве звенели цикады. В холодной синеве обновленного неба носились стрижи. От земли, горячей и влажной, как свежевыпеченный хлеб, поднимался пар.

Герберт подумал, что, может быть, завтра ему придется лежать в такой же мокрой траве, ожидая удобной минуты, чтобы перебежать через границу... И еще он представил себе, как хлопнет распоротый выстрелом воздух и он уткнется лицом в сырую и такую же пахучую землю.

Но мысль эта была мимолетна и не затронула сердце. Путь через Бельгию не грозил особыми осложнениями. Это наиболее удобный и надежный вариант. За исключением, конечно, последнего этапа. Но ведь не обязательно же ему спускаться по Рейну. Обстановка сама подскажет, как быть... Можно пробраться из Голландии морем. Уж что-что, а гамбургский порт он знает как свои пять пальцев. Стоит закрыть глаза, и он увидит волнорез, маяк и бетонную стену причалов, всю в черных потеках мазута и ржавых — от мокрого арматурного железа. Конечно, он доберется до Гамбурга. Документы у него надежные, а для еще большей надежности он сумеет, в случае надобности, затаиться в трюме. В голландских портах тоже, слава богу, есть свои ребята. Уж они-то подберут ему хорошее судно. Если Беппо говорит, что цепь проверена заново, ему можно верить. Жаль, что этот золотой парень

работает кельнером в великосветском притоне, а не, допустим, консулом на побережье...

Впереди была привычная работа, и Герберт решил, что на всякий случай не помешает часок или сколько там у него есть времени вздремнуть, пока Бенно выбирает для него из выложенной мокрыми водорослями корзины устрицы белон.

Глава 27

Встреча в гестапо

Вам надо зайти к следователю Брауне,— сказал дежурный, когда Роза пришла в Моабит на очередное свидание.

Она так и знала, так и предчувствовала, что ей не дадут свидания. Когда же дежурный, услышав ее фамилию, уткнулся в бумаги, тоскливое и неотвязное предчувствие перешло в уверенность. Впрочем, ей ведь еще прямо не отказали. Ах, все это беспокойные домыслы.

Она сразу же нашла нужную комнату и тихо постучала. Но никто не отозвался. Тогда она осторожно толкнула дверь и заглянула внутрь.

За столом сидел человек с глубокими залысинами на лбу и писал.

— Простите,— сказала Роза.— Мне нужен господин следователь Брауне.

— Я Брауне,— он поднял голову и внимательно посмотрел на нее.— Чем могу служить?

— Моя фамилия Тельман. Мне сказали, что... Мне не дали свидания с мужем и велели обратиться к вам.

— Вот как? — его крохотные колючие зрачки еще более сузились.— Зачем же ко мне? Вам разве не сказали, что свидание состояться не может?

— Нет, не сказали,— Роза прошла к столу.— Почему же не может?

— Я не уполномочен обсуждать с вами этот вопрос. Свидания временно отменяются. Вам должны были об этом сказать.

— Мне не сказали. Могу я сесть? — она положила руку на деревянную спинку стула.

— Да, конечно, пожалуйста...— он слегка привстал.— Я уже все вам сказал. Свидания не будет.

— Я поняла. Мне хочется знать почему.

Следователь молча пожал плечами.

— Я не уйду отсюда.— Роза поудобнее устроилась на жестком стуле.— Я хочу знать, что́ с мужем. Я хочу его видеть.

Брауне нахмурился, но ничего не ответил.

— Вас выведут силой,— наконец сказал он и подвинул к себе папку.

— Хорошо,— кивнула Роза.— Пусть будет силой. Сама я не тронусь с места.

Следователь побарабанил пальцами по столу и, видимо, приняв какое-то решение, стал собирать бумаги. Он аккуратно сложил их в ящик и запер.

— Побудьте здесь, я позвоню по поводу вас,— сказал он и вышел, прикрыв дверь.

Напряженно прислушиваясь, Роза уловила за стеной звяканье телефонного диска. Следователь звонил из соседней комнаты. Роза догадывалась куда, но слов не было слышно.

Брауне отсутствовал минут сорок.

— К сожалению, ничего не вышло,— сказал он, внезапно появляясь в дверях.— Нужных лиц не оказалось на месте.

— Я подожду,— отозвалась Роза.

— Возможно, сегодня мне вообще не удастся никуда дозвониться. Приходите завтра в это же время.

— Нет. Отсюда я никуда не уйду.

Следователь потоптался в дверях, что-то пробурчал и опять ушел в соседнюю комнату. Диск за стеной снова затренькал.

На этот раз он не возвращался больше часа. Сколько Роза ни прислушивалась, ничего слышно не было. Только в коридоре время от времени раздавались шаги. Возможно, Брауне не было уже в соседней комнате, он куда-то ушел.

Но что ей оставалось делать? Только ждать. И она ждала. День за окном поскучнел, и в комнате стало сумрачно. Со стороны тюремных корпусов доносился приглушенный гул. Впрочем, это могла шуметь и улица. Скорее всего, так оно и было, потому что монотонный шорох изредка прерывался звонками трамваев и утробными сигналами «хорьхов».

— Вы еще здесь? — удивленно спросил Брауне, появляясь в дверях. Глядя на его порозовевшие щеки и чуть замаслившиеся глаза, Роза подумала, что он только что откушал.— Я думал, вы не дождались меня,— сказал он, зажигая сигарету.

— Дождалась.

— Но обрадовать вас мне нечем,— он сел на свое место и закашлялся. Потом легонько развеял рукой дым.— Не дозвонился. И вообще уже день кончается. Даже если ответ будет благоприятным, свидания все равно сегодня не дадут. Приходите завтра.

— Пока я не узнаю, что с моим мужем...

— Да, да, слышал уже,— ухмыляясь, перебил ее следователь.— Вы отсюда не уйдете.— Он икнул. Запахло водкой, и Роза отвернулась.— Ладно... Попробую еще звякнуть.

На этот раз он действительно пытался дозвониться. Роза слышала, как несколько раз со звоном падала на рычаг трубка. В кабинете быстро темнело. Позеленевшее

небо за окном пылало хмурыми малиновыми разводами. Скоро стало настолько темно, что Роза перестала различать стрелки и цифры на своих часиках.

Когда наконец явился Брауне и включил свет, было уже около девяти.

— Вы увидите мужа.— Он устало вздохнул и присел на край стола.— И вы, и он одинаково виноваты в том, что администрация ужесточила режим. Как видите, я сделал все что мог, и вы получите свидание...— Он надул щеки и шумно выпустил воздух.— Надо идти друг другу навстречу, фрау Тельман. Оставьте свое упрямство и мужу посоветуйте быть более сговорчивым. Ясно? Тогда не будет никаких неприятностей.

— Я не понимаю вас,— Роза оправила на коленях юбку и встала.

— Понимаете! Прекрасно вы все понимаете! Просто делаете вид... Одним словом, фрау Тельман, могу вам по-дружески посоветовать: поменьше шума. Вы поняли меня? Поменьше шума! Если бы не постоянное вмешательство, если бы не гнусное подстрекательство из-за границы, Тельман давно уже был бы на свободе. Имейте это в виду.

— Свидание будет где всегда? — Роза кивнула направо, где должна была находиться комната для свиданий.

— Нет,— следователь отвернулся к окну, в синей тьме которого отразилось его несколько одутловатое лицо, озаренное светом электрической лампочки под потолком.— Ступайте на Принц-Альбрехтштрассе. Он будет там,— следователь забарабанил пальцами по стеклу и, фальшивя, стал насвистывать гогенфридбергский марш.

— До свидания,— сказала Роза и пошла на Принц-Альбрехтштрассе.

В здании гестапо она сразу заметила, что все уже знают, кто она и зачем пришла. Молодой штурмфюрер молча указал ей видневшуюся в конце коридора лестницу и прошел вперед. Она последовала за ним. На лестнице их

дожидался еще один эсэсовец. Он оглядел ее с ног до головы, но тоже ни о чем не спросил. Когда Роза вслед за штурмфюрером поднялась на половину пролета, он тоже стал медленно подниматься.

Роза молча усмехнулась. Ее конвоировали, как важного заключенного, по всем правилам.

Подниматься пришлось высоко — на самый верхний этаж. Эсэсовцы впустили ее в просторную комнату, где стоял большой кожаный диван и несколько кресел. Не успела она оглядеться, как дверь раскрылась и еще два офицера в черных мундирах ввели Тельмана.

Она рванулась к нему, но вдруг остановилась, вся еще устремленная вперед, с протянутыми руками, искаженными в молчаливом выкрике губами.

— Эрнст, что с тобой сделали! — не то действительно выкрикнула, не то беззвучно выдохнула она.

На Тельмана страшно было смотреть. Лицо у него распухло и приобрело желто-лиловый оттенок. Глаза казались залитыми кровью. Вымученная улыбка открывала пустые, совершенно стариковские десны. Из-за выбитых зубов нижняя губа ушла в глубокую складку. Одежда на нем обвисла, и весь он осунулся и постарел на много лет. Это был другой, совсем другой человек. Только в глазах мелькнуло что-то знакомое, что-то бесконечно родное. Но тут же исчезло за кровавой сеткой белков.

— Что с тобой сделали, Эрнст! Что сделали!

Вперед выскочил гестаповец. Он затопал на нее ногами и что-то выкрикнул. По его погону и листьям на петлицах Роза поняла, что перед ней важный чин. Чего он хочет от нее? Она воспринимала происходящее отдаленным краем сознания. Все это было очень и очень далеко, почти ее не касалось. Расширенными глазами она все смотрела и смотрела на Эрнста.

Вот он подошел к креслу, попытался присесть. Вот его передернула судорога боли, и он, пошатнувшись, выпря-

мился. Она видела, она всем существом своим чувствовала, как ему больно, но еще не осознавала, что он не может сесть, и не понимала, почему не может.

Только потом, когда закончилось это страшное и короткое свидание, явления встали на свои места, и она все поняла. Позже она догадалась, что гестаповец с генеральскими нашивками и был, вернее всего, тот самый Гиринг, о котором она уже столько слышала от берлинских друзей.

Но сейчас она еще не могла понять, чего хочет от нее этот человек.

— Успокойтесь! Немедленно успокойтесь! Или я верну его в камеру и вы больше никогда его не увидите!

— Нет-нет, — она покачала головой, уже улавливая страшную, неумолимую связь между этим человеком и Эрнстом, но еще далекая от того, чтобы узнать в лицо, хотя и никогда его прежде не видела, одного из самых знаменитых гестаповских истязателей.— Нет-нет,— сказала она, глотая слезы, уже пробудившаяся и, как всегда, настороженная, умудренная своей неизбывной горечью.— Я не буду.

Тельман кивнул ей. И этот родной, такой знакомый ей жест вновь заставил всмотреться в измученное, так изменившееся лицо мужа. И она все поняла, все прочитала в его опухших, кровью набрякших глазах.

Ему так важно, так необходимо видеть ее! Она должна успокоиться и стать холодной и мудрой, чтобы все увидеть и понять, иначе прервется и эта хрупкая его связь с миром. Ему так много нужно узнать у нее, так много рассказать ей и — это главное — тем, другим, которые тоже многого ожидают от их встречи, что она просто не имеет права быть слабой, терять драгоценные секунды даже на борьбу со своей слабостью.

— Это в порядке вещей. Не бойся.— Тельман даже не прошептал, он едва выдохнул эти слова.

Но высокопоставленный гестаповец все же услышал их или, быть может, что-то заподозрил.

— Что вы говорите? Вам плохо здесь, у нас? — он быстро встал между ними и, подобно потревоженному пресмыкающемуся, стал выбрасывать голову влево и вправо, недоверчиво ловя их взгляды, вслушиваясь в их едва внятный шепот, который скорее всего просто мерещился ему.

Задыхаясь от волнения, Роза сделала шаг вперед. Она уже вполне владела собой, хотя и видела еще острее нависшую над Эрнстом опасность.

— Что вы сделали с моим мужем? — очень спокойно спросила она, переводя взгляд с Тельмана на гестаповского начальника.— Вы посмотрите, как он выглядит!

— Если вы будете говорить только об этом, я закончу свидание.

— О чем же мне говорить? — она закусила нижнюю губу, чтобы унять внезапную дрожь подбородка. Говорить она была уже не в силах. Она ничего не могла с собой поделать. Ничего.

— Передай привет тестю. Надеюсь когда-нибудь увидеть его,— быстро сказал Тельман, и непривычный, шамкающий голос его еще больнее резанул ее по сердцу.— Как там Ирма?

Она закивала часто-часто, покусывая губы и морща нос. Он все понял и напрягся в ожидании, но она не заплакала. Прерывисто вздохнула, проглотила слюну и еще раз кивнула ему.

— Они помнят тебя,— сказала она.— Они тебя любят и ждут.

— Я знаю.

— У тебя много друзей.

— Да, Роза. Очень хотелось бы повидать Ирму.

— Она пишет тебе каждый день.

— Спасибо. Мне передают ее письма,— он улыбнулся,

не разжимая губ.— Но все же хотелось бы повидать, какая она стала. Возьми ее в следующий раз с собой. Может быть, ей разрешат повидать меня.

Она поняла, что о связи он уже все знает и без нее. Он просто хотел видеть дочь — вот и все. И еще она поняла, что без ее регулярных встреч с ним никакая связь не сможет быть полной и действенной.

— Поправляйся,— она резко повернулась и посмотрела гестаповцу прямо в глаза.— Я хочу, чтобы в следующий раз ты был таким же, как раньше, чтобы я могла узнать тебя.

— Все,— сказал гестаповец.— Уведите заключенного.

Глава 28

Варианты

Роза ожидала Герберта в небольшом летнем кафе Тиргартена. Сегодня она попетляла по городу. Ездила в метро и надземке, несколько раз пересаживаясь с поезда на поезд. И все же на одной из станций кольца она поймала чей-то взгляд. Медленно, словно полностью погруженная в свои мысли, оглядела перрон: никто на нее не смотрел. Когда подошел поезд, она, будто у нее лопнула подвязка, отошла к стене и нагнулась. Но разве эта чисто женская тревога не могла оказаться ложной? Она резко выпрямилась и, как полагается в таких случаях, оглянулась. Все, кто был на этой стороне перрона, уже вошли в вагоны. Двери электрички сомкнулись, и Роза осталась одна. Что же делать, она просто не успела. В ожидании следующего поезда она перешла на другую сторону. Постаралась запомнить всех, кто стоял там, благо это было нетрудно. Пожилой господин в тирольской шляпе с петушиным пером, женщина с коляской (она не

в счет), девушка в форме трамвайного кондуктора, два подростка из «гитлерюгенда» в коротких штанах, летчик «люфтганзы», ефрейтор, старушка с маленькой девочкой, мужчина с национал-социалистским партийным значком, две смешливые гимназистки, уплетающие мороженое, старичок в егерском костюме, высокий молодой человек с футляром для чертежей — вот, собственно, и все. Когда подошел поезд, все они преспокойно вошли в вагоны. Роза посмотрела на свои часики, покачала головой, вздохнула и пошла к выходу. Что ж, она просто не дождалась кого-то и вот уходит. Конечно, она уже не в том возрасте, когда назначают свидания на остановках. Но ведь всякое бывает...

Потом она долго бродила по дорожкам и аллеям Тиргартена, где сравнительно легко обнаружить, есть за тобой слежка или же нет. Хвоста не было.

Точно в условленное время она вошла в кафе и села за столик лицом ко входу. Вспомнив смешливых девиц на остановке, попросила мороженого с орехами. Не успел кельнер поставить перед ней затуманенную мельхиоровую вазочку и стакан воды, как вошел Герберт.

Он не стал изображать удивления по поводу неожиданной встречи и направился прямо к ее столику. Правильно, мысленно одобрила его Роза, слишком уж мало здесь людей.

— Привет, тетя Мария,— весело поздоровался он и, сняв кепку, сел рядом с ней.— Я не опоздал?

— Нет, племянничек,— буркнула она, но тут же тихо рассмеялась.— А я-то, старая дура, ждала кавалера. Как дела?

— Хорошо! — кивнул Герберт и сделал кельнеру знак подойти.— Мне, пожалуйста, кофе с молоком и бутерброд с колбасой.

— Что нового? — спросила Роза, когда кельнер отошел.

— Потом. Сначала давай ты. Как Старик?

— Я была у него в среду. Слава богу, что он опять в Моабите, а не в гестаповском аду. На свидании присутствовал старый вахмистр. Это первый случай, когда не дежурил гестаповец...

Появился кельнер с подносом, на котором стояли кофейник, молочник, чашечка с блюдцем и тарелка с большим бутербродом.

— А пионы у нас захирели,— вздохнула Роза.— Ганс говорит, что им нужна особая подкормка. Ты не мог бы узнать у вашего садовника, какая именно?

— Постараюсь,— Герберт положил в чашку два куска сахару, налил кофе.— Дай-ка я все-таки малость подзаправлюсь, тетя Мария, а потом мы с тобой немного погуляем.

Больше они о деле не говорили.

Лишь потом, когда вышли из кафе и, побродив немного, нашли уединенную скамейку, Роза продолжила прерванный рассказ:

— Он, будто вахмистра и не было, прямо сказал: «Геринг и еще несколько эсэсовских бандитов избивали меня плеткой из гиппопотамовой кожи, пока я не упал без сознания. Тогда меня стали бить ногами. Они хотели узнать, где мои товарищи по работе, где ведущие деятели партии». Вахмистр разволновался, запричитал, чуть на колени не упал. Все время просил: «Замолчите! Ради всего святого, замолчите! Если кто-нибудь узнает, меня тоже посадят». Но он ему на это сказал: «Вы, старые вахмистры, прослужили здесь более двадцати пяти лет, и вам тоже надо знать: о том, что здесь происходит, молчать нельзя». Больше старый служака нам не мешал.

— О том, что произошло на том допросе, знает уже весь мир. Больше его не били?

— Как будто бы нет. Но допрашивали по восемь — десять часов подряд с перерывами в несколько дней. Ко-

нечно, они ничего от него не добились. На прошлой неделе его под усиленной охраной отвезли назад, в следственную тюрьму Моабит. По дороге они ему пригрозили: «Если расскажешь на суде, что тебя пытали, замолчишь навеки. Уж это-то мы тебе обещаем! Живым ты от нас не уйдешь!» Он рассказывал об этом с мукой и негодованием. «Страшно подумать,— сказал он,— как далеко это все зашло. Худшие элементы нашего народа, звери, подонки человечества держат в руках власть, и беззащитные люди подвергаются пыткам, их засекают плетьми до смерти только потому, что они борются против войны и фашизма, потому что они любят свой народ».

— Что он спрашивал?

— Прежде всего спросил, как поживает «отец».

— Понятно. На следующей встрече можешь сказать ему, что создан второй центр, в Праге. Ты знаешь, как сказать, товарищ Мария. Передай ему, что в своих думах мы всегда вместе с ним. Все, что становится известно о его великой борьбе, сразу же направляется руководству партии и Димитрову — в Москву, в Исполком Коминтерна.

— Передам. Это будет ему большой поддержкой.

— Эти слова можешь передать ему только ты.

— Я понимаю, Герберт. Это слова партии.

— Да. Он о чем-нибудь просил?

— Он хочет, чтобы я выяснила, что обнаружили гестаповцы на конспиративной квартире, где он был арестован. Это очень важно для предстоящего процесса. Если, к примеру, они нашли рацию, я должна буду зачеркнуть какое-нибудь слово в письме, а если все окажется в порядке, мне надо написать: «Дни стали увеличиваться, что позволяет сэкономить немного денег». А тебе он велел передать, что «Малый дом партии» провален.

— Мы знаем, что явочная квартира обнаружена и гестапо произвело аресты. Новая цепь уже действует. Что еще?

— Остальное ты уже знаешь. Меня он предупреждал, что за мной по пятам ходят шпики, а за гамбургской квартирой постоянно наблюдают.
— Как идет подготовка к процессу?
— Он интересуется, в каком положении дело. Если перспективы плохи, надо написать в следующем письме: «Ольга заболела», а если в общем благоприятные — «Надеемся на самое лучшее». Это все.
— Хорошо. О конспиративной квартире мы все выясним. По поводу процесса нам, вероятно, надо будет еще встретиться, обменяться сведениями. Теперь слушай, что известно мне... Через одного надзирателя он сообщил нам, кто из тюремных служащих, за определенное вознаграждение, возьмется поддерживать с ним связь. Он просил прислать ему все партийные издания о едином фронте с рабочими социал-демократами.
— Его это очень волнует, Герберт.
— Через нашего человека я уже передал ему все материалы и получил от него записку. Пишет, чтоб я ждал посыльного с двумя пакетами для тебя. Пакеты не должны попасть в чужие руки, иначе это плохо для него кончится.
— А ваш человек надежен?
— Да. Мы уже пользовались его услугами. Разумеется, за хорошую плату. В записке так и сказано: «Хорошо заплатите этому человеку за его услуги». Так что жди от меня сигнала.
— Больше он ничего не пишет?
— Остальное для меня, инструкция. Теперь самое главное. В одном письме он проанализировал план побега.
— Он, как и ты, считает, что надо его доработать.
— Ты уже знаешь?
— Очень немного. На последней встрече он дал понять, что это крайне трудно.
— Да, он так и пишет. Еще он просит выяснить, где

находятся выходные двери, свободен ли выход из его коридора на лестничную клетку, можно ли беспрепятственно подняться по лестнице наверх. Все это исключительно важно, иначе возможна ловушка. Он интересуется, нельзя ли провести операцию ночью. По некоторым причинам ночью было бы легче.

— А вариант прогулки?

— В принципе он ему нравится, хотя и здесь кое-что неясно. На нашу просьбу сообщить все, что только можно, он ответил подробным планом. Обычно его выводят из камеры во двор налево, если стать лицом к входу в тюрьму. Как правило, за прогулкой наблюдает один человек. Это, конечно, удобно. Но никаких технических средств или, допустим, оружия держать у себя он не может: в камере беспрерывные обыски. Вот как обстоят дела... Среди надзирателей есть люди, симпатизирующие Компартии. Один эсэсовец из тюремной охраны сказал ему по секрету, что весь ночной караул состоит только из семи человек. Теперь понятно, почему он так заинтересовался ночным вариантом. Если охрана столь немногочисленна, то несколько крепких, хорошо вооруженных парней легко с ней справятся.

— Ты возвращаешься?

— Да. Завтра. Прежде чем на чем-то остановиться, мы должны все как следует обдумать. Его соображения, конечно, проанализируем в первую очередь. Ты тоже обсуди их вместе со своей группой.

— Сегодня же, Герберт. Письмо при тебе?

— Письмо, товарищ Мария, я выучил наизусть и сжег. При себе у меня никогда ничего не бывает. Поэтому слушай, что написал Старик, и запоминай. Он просит уточнить, верны ли полученные от эсэсовца сведения. «Если это верно,— пишет он,— то нас нужно обеспечить следующими ключами: от караульного помещения, ворот и четвертого двора (моя камера находится в пятом дворе). Все

эти дворы имеют отдельный выход на улицу; снабжены ли ворота секретной сигнализацией, мне неизвестно. Люди, которые будут нам содействовать в побеге из тюрьмы, должны взять с собой соответствующий корм для тюремных служебных собак. Новогодние или пасхальные ночи очень подходящи для этой операции. Не исключено, что упомянутый эсэсовец — провокатор, однако мне представляется, что скорее он гонится за звонкой монетой. У него красивое лицо, черные волосы. Возраст приблизительно 28—30 лет. Носит штатские костюмы, одевается со вкусом. В последнее время стал надевать форменные эсэсовские брюки»... Запомнила, товарищ Мария?

— Запомнила.

— Как видишь, Старик ориентируется лучше всех нас. Вот почему я хочу поскорее ознакомить с его предложениями руководство.

— Понадобится много денег.

— Деньги я привез. Они уже у ваших. Группа пока разрабатывает вариант «прогулки»?

— Да. Я тоже говорила ему об этом плане. Нужно было видеть, как горели его глаза.

— Пусть группа продолжает подготовку. Если вариант «ночь» не окажется лучшим, остановимся на «прогулке». Вы сделаете самое главное, а остальное берем на себя мы, все вплоть до нелегальной квартиры в Польше. Все считают, что польскую границу перейти легче всего. Но главное, повторяю, возлагается на вас. Все нужно тщательно подготовить и организовать: людей, машины, документы, явки, пароли, эсэсовскую форму, наконец.

— Форма уже есть, достали в цейхгаузе.

— Прекрасно. Учти, что и для варианта «ночь» форма тоже понадобится.

— Я знаю... Мы не слишком долго сидим, Герберт?

— Ничего, есть еще немного времени. Расскажи мне все, что ты знаешь о подготовке процесса.

— Ничего нового пока нет. Вандшнейдер...
— С адвокатом я уже виделся.
— Тогда ты все знаешь не хуже меня.
— А как другие адвокаты? Старик очень настаивает на берлинце.
— Я написала письма, жду теперь ответа. Конечно, хорошо было бы иметь адвоката-берлинца. Это сильно облегчило бы. Они пока не препятствуют его встречам с защитником. Знаешь, Герберт, он очень хочет повидать Ирму.
— Еще бы!
— Не знаю только, разрешат ли... Тебе еще не пора, Герберт?
— Пора, Мария. Увидимся в будущий четверг в четырнадцать часов на Фридрих-Карлштрассе возле цветочного магазина. Знаешь?
— Знаю... Сколько стран ты за это время пройдешь...
— Много. Очень много, Мария. Рот фронт.
— Рот фронт, Герберт!

Глава 29

Остров Фемарн

Речь, с которой Папен выступил в Марбурге, не была согласована с Гитлером, и ее эффект поэтому оказался еще более сильным.

Гитлер знал, что его вице-канцлер олицетворяет могущественные круги промышленников, которые вручили ему канцлерский портфель. Именно они склонили к этому престарелого господина, который доживает свой век в имении Найдек. С ним, президентом Гинденбургом, отойдет скоро целая эпоха. Гитлер успел уверовать в то, что и все обломки ее постепенно зарастут могильной травой.

Но вот ему опять напоминают об истинных хозяевах жизни — тузах из «Клуба господ». Недреманное око в его министерском кабинете, свидетель бесконечных минут, которые выстоял фюрер и рейхсканцлер перед старым фельдмаршалом в тот первый, нестерпимо памятный день, когда, обливаясь потом в черном своем сюртуке, выслушал он унизительную отповедь. Да, Гинденбург тогда уперся... И все зачем? Чтобы уступить через несколько недель! Хозяева жизни хорошенько прижали старого осла...

Теперь они устами Папена вновь диктуют свою волю. От него, фюрера, требуют недвусмысленных доказательств, что в его лице они обрели именно того, кого желали. Он должен обеспечить им желаемую стабильность и покончить со всеми разговорами о «второй революции», о «социалистических» пунктах программы. Папен ясно сказал: пора кончать со всякой смутой.

Что ж, оно ведь и кстати. С Ремом, так или иначе, пришлось бы кончать. Хозяевам надоел шум. Они требуют порядка... Гитлер помнил все, что касалось Рема, и хорошее, и плохое. Помнил, кому вверил он штурмовые отряды, с чьей помощью свершил революцию, которую Папен смеет сейчас приписывать себе. «Мы осуществили...» Нет, господин Папен, революцию осуществили не вы! Это капитан Рем дал партии сильных и верных людей... Теперь они отстали от жизни и должны сойти на нет вместе со своим главарем. У нации должен быть только один вождь. Да, Гитлер ничего не забыл, ни того, как в двадцать пятом году Рем покинул его, вернув мандат на руководство СА, ни тех майских дней, когда движение, казалось, вот-вот развалится. С Ремом действительно пора кончать. И лучше, если «хозяева жизни» будут думать, что Гитлер пошел на это под их нажимом. Они не желают больше слышать пьяных угроз перерезать всех буржуев. Господин Папен сказал: «Кто угрожает гильотиной, первым попадет под ее нож».

Пусть так и будет. Пусть ножи заставят замолчать крикунов, угрожающих сытым господам гильотиной, длинные молчаливые ножи. Это будет лишь ступень, только этап истребительного пути среди грома и северного сияния. Воля неба провидится в том, что две стрелы Одина сошлись на Реме. И пусть «хозяева жизни» даже не догадываются, насколько совпали их устремления с тайным желанием Гитлера. Это, как у Вагнера, зов судьбы. Но берегитесь, господа: придет и ваш час. Протрубят и для вас трубы рока, ибо у нации может быть только один вождь. Надо развить обезлюживание.

И Гитлер решился. Гейдрих получил приказ разработать операцию. Вместе с Розенбергом Гитлер на личном самолете вылетел в Мюнхен, где находился Рем и его генералы. Геринг взял на себя Берлин.

В ночь на 30 июня в Висзее близ Мюнхена эсэсовский отряд захватил Рема. Начальник штаба был пьян. Его доставили в тюрьму изгаженного, и вид его был отвратителен. Он катался по полу, бился в истерике, хватая за сапоги стоящих над ним людей в черных мундирах. Он умолял, рыдая изрыгал хулу и проклятия, требовал немедленного свидания с фюрером. Потом его пристрелили...

Устранение верхушки СА было заранее запланированной акцией. Но оно послужило и сигналом к бесконтрольному террору. От убийц, которым государственная власть вместе с ножами вручает и индульгенции, нельзя ждать механического повиновения. Никто не смог бы, если бы и захотел, удержать их от сведения личных счетов в эту Варфоломеевскую ночь. Приказано было вырезать старую штурмовую гвардию, но «длинные ножи» достали и тех, чьими устами «хозяева жизни» так громко требовали кровавой чистки: аристократов, которых, видите ли, шокируют манеры штурмовиков. В том было и скрытое предупреждение, и чудовищно извращенная справедливость людоеда.

Только личным вмешательством престарелый рейхс-президент Гинденбург спас от неминуемой смерти своего любимца Папена. Но квартира его была все же разгромлена, а его ближайший сотрудник Юнг, который так хорошо потрудился над «марбургской» речью, растерзан в клочья. Бывший рейхсканцлер, генерал фон Шлейхер, попытавшийся в 1932 году преградить фюреру путь к власти, бывший государственный комиссар Баварии Кар и многие им подобные важные господа разделили в эту ночь участь Юнга, приняли муку, которую готовили другим,— этим коричневым бандитам и горлопанам...

Грегор Штрассер — один из основателей партии, у которого Гиммлер ходил недавно в секретáрях, тоже был убит в ту ночь. Заодно эсэсовцы вырезали и кое-кого из антифашистов.

Основное, таким образом, было сделано, и тузы могли проглотить горькие пилюли без ущерба для своей уверенности и оптимизма. Смерть же главных свидетелей поджога рейхстага — Карла Эрнста и Эдмунда Хайнеса — промелькнула как незначительный, малозаметный эпизод в событиях той кровавой ночи, ночи «длинных ножей»...

Гейдрих мог по праву гордиться проведенной операцией. Все прошло, как было задумано, четко и быстро.

Отборные отряды СС были заранее дислоцированы вблизи намеченных районов. Никто из исполнителей не знал об общем характере готовящейся акции. Ровно в 24.00 Гейдрих раздал командирам штандартов списки намеченных жертв с точными адресами. В 2.00 операция началась по всей стране. Большинство высших офицеров СА было захвачено в постелях. Их застрелили на глазах жен и детей. Ни о каком вооруженном сопротивлении не могло быть и речи. За три часа несколько сотен эсэсовцев обезглавили монолитную организацию, насчитывавшую к тому времени свыше трех миллионов членов.

Не отнимая телефонной трубки от уха, стоя у карты

Берлина, Гейдрих руководил операцией: отдавал приказания, выслушивал донесения, выяснял обстановку. Штандартенфюреры и бригаденфюреры СС прибегали и убегали, как простые посыльные. Они же с помощью личного оружия улаживали и особо щекотливые дела. Сам Гейдрих тоже несколько раз в течение этой ночи выезжал на «плацдарм» в своем бронированном «майбахе». За ним шла машина со связистами, которые немедленно подводили к временной ставке шефа РСХА все радиотелефонные нервы операции.

К утру все было закончено. Отныне СС становились полновластными хозяевами третьего рейха. Имя же Рейнгарда Гейдриха по-прежнему осталось неизвестно широким массам, но среди национал-социалистской элиты о нем стали говорить шепотом. О том, насколько возросло влияние молодого группенфюрера СС, свидетельствовал беспрецедентный визит на остров Фемарн в Балтийском море Генриха Гиммлера.

День прошел интересно и весело. После катания на яхте в шхёрах, среди красных гранитных скал, поросших скрюченными от ветра соснами, рейхсфюрер сыграл партию в лаун-теннис с госпожой Гейдрих. Высокая, гибкая, она была обворожительна в короткой теннисной юбочке. Белый цвет вообще шел ей. Он выгодно оттенял ровный матовый загар ее нервного, подвижного лица. Гиммлер был очарован ее аристократическими манерами, спокойным, ненавязчивым остроумием и независимым складом ума. Ему даже понравилось, что она выиграла у него два сета подряд. Рыцарь может позволить себе уступить благородной даме, в чьих жилах течет стопроцентная северная кровь. Бывший школьный учитель и сын мясника, Гиммлер всерьез считал себя утонченным аристократом и любил говорить о своих воображаемых предках с голубой, разумеется, совершенно нордической кровью.

Закончив игру, рейхсфюрер поцеловал даме руку и

прошел в приготовленные для него покои. Он принял душ, даже полежал несколько минут в теплой ванне, куда бросил горсть фиолетовых кристаллов, от которых вода приобрела нежный запах ночной фиалки. Затем доктор Керстен, его личный доверенный массажист, мастерски избавил его от последних следов усталости, влил в его тело новый запас бодрости. Весело насвистывая арию Жермона, Гиммлер надел белый парадный мундир и поспешил в сад, где его уже ожидали гостеприимные супруги.

Повернув соломенные кресла в сторону моря, они любовались закатом. Огромный солнечный шар, уже остывший до красноты, медленно тонул в неотличимой от неба сизой воде. Тихий ветер чуть покачивал колючие лапы сосен. Прыгали ручные белочки. Благоухал жасмин. На куртинах, декорированных кусками гранита, мохом и папоротником, тревожным огнем распускался шиповник. Это было поистине очаровательно: жасмин и шиповник. Никаких садовых цветов, вычурных, декадентских.

Вкус у фрау Гейдрих был, безусловно, изысканный, утонченный. Это еще больше поднимало группенфюрера в глазах шефа. Под стать всему было и вино. Длинные зеленые бутылки, залитые воском. И никаких этикеток! Только выцветшие чернила на пожелтевших полосках бумаги. Рейхсфюрер едва разобрал надписи: «Иоганнесбергер Лангенберга, виноградников Мумма» и «Форстериезутенгартен 1915 год». Это ничего не говорило рейхсфюреру, но то, что вина тонкие и старые, он понял. Особенно понравилось ему название «Форстериезутенгартен». Он даже спросил, не связано ли это с иезуитами.

— Да, рейхсфюрер,— Гейдрих наклонил голову.— Вино из подвалов отца-провинциала ордена Иисуса в немецких землях.

— А где сам отец-провинциал? — осведомился Гиммлер, разглядывая на свет почти бесцветное, с легким золотисто-зеленым оттенком вино.

— Некоторые деятели церкви не понимают целей национал-социализма,— несколько неопределенно ответил Гейдрих, наполняя свой бокал.— У них будет, я думаю, время разобраться.

— Ах, вот как! — Гиммлер прекрасно понял своего группенфюрера.— С ними нам действительно не по пути. Но орден иезуитов накопил весьма ценный опыт, который может оказаться нам полезным.

— Я так и думал, что это вино будет вам приятно,— с тихой улыбкой Гейдрих прикрыл глаза.— Это в вашу честь, рейхсфюрер.

— Благодарю вас, господа, благодарю, друзья, — он поднял бокал, улыбнулся госпоже Гейдрих, повернул голову к Гейдриху. В стеклах его пенсне отразились слоистые синие сумерки и малиновая искорка солнца.— Вы угадали мои тайные симпатии и доставили мне большое удовольствие. Благодарю.

Он отпил глоток прохладного, с еле заметной терпкой горчинкой вина и промокнул губы салфеткой.

— Ваш муж умеет быть незаменимым даже в мелочах,— он вновь поднял бокал и склонил голову перед госпожой Гейдрих.

Она ответила ему милостивым, иначе он не мог определить этот жест, наклоном головы и прелестной улыбкой.

— А теперь, господа, до ужина я вынуждена оставить вас вдвоем,— легко коснувшись тонкими пальцами плетеных спинок кресел, на которых сидели Гейдрих и его высокий гость, она церемонно присела и удалилась.

Гиммлер проводил ее умиленной улыбкой.

— У вас очаровательная жена, дорогой Гейдрих. Вам исключительно повезло... Как преломляются в народе последние события? Что говорят ваши сводки?

— Люди очень вовремя вспомнили,— Гейдрих усмехнулся,— про недавние бунты в штурмовых отрядах Берлина, Гамбурга, Франкфурта-на-Майне, Дрездена, Эссена,

Дортмунда, Касселя, Кёнигсберга и Фрайбурга. В народе говорят, что рыба тухнет с головы и что мелкие чистки результата не дали; зато теперь, когда голову срезали, воцарится порядок. В интеллигентских кругах, конечно, домыслы несколько ближе к истине. Но ничего определенного никто не знает. Как ни странно, даже в отрядах СС, непосредственно участвовавших в операции.

— Это не странно. Вы хорошо поработали, Гейдрих. Благодарю вас.— Гиммлер поднял бокал.— Ваше здоровье.

— Моя честь в верности. Ваше здоровье, рейхсфюрер... Должен признать, что наиболее преуспело на ниве общественного мнения министерство пропаганды. Все в один голос говорят, что Гитлер убрал Рема после того, как застукал его на месте преступления с мальчиком.

— Воистину глас народа — глас божий,— холодно усмехнулся рейсхфюрер.— Фюрер доволен нами. Передаю вам радостную весть: он принял решение, учитывая огромные заслуги, выделить СС из состава штурмовых отрядов и объявить самостоятельным подразделением национал-социалистской партии.

Гейдрих разлил вино и встал с бокалом в руке.

— Хайль Гитлер, рейхсфюрер! Наконец-то.

— Хайль Гитлер! — Гиммлер тоже поднялся и чокнулся со своим ближайшим соратником. Хрустальное стекло отозвалось долгим печальным звоном.— Это еще не все. Отныне, дорогой друг, наше с вами общее детище будет официально именоваться секретной службой. Никаких больше служб «информации и печати»! Забудем все эти «ИЦ-Динст» и «ПИ-Динст», и да здравствует СД! — они молча чокнулись и залпом допили вино.

— СД оправдает доверие фюрера.— Гейдрих подождал, пока сядет шеф, и сел сам.— Мы воспринимаем счастливую весть как приказ к еще большей бдительности и беспощадности к врагам рейха.

— Верно. Работы будет много, группенфюрер. Очень

много. Отныне на корпус СС возлагается проведение расовой политики. Планируются большие, далеко идущие акции. Мы, дорогой Гейдрих, должны быть особенно на высоте. Прежде всего надлежит усилить контроль за отбором наиболее расово полноценных членов партии в СС... Я всегда мечтал о создании правящей аристократии нордическо-германской расы, вы это знаете. Теперь мы приступаем к выведению такой расы. Отныне отбор в СС будем производить в строжайшем соответствии с требованиями евгеники. Вы можете возразить, дорогой Гейдрих, что так было всегда. Да, было. Но не секрет, что мы иногда делали послабления, особенно для «старых борцов», чья кровь безупречна, но внешность или же рост по каким-то причинам отклоняются от желательного стереотипа. Отныне — никаких послаблений! Сначала строго проверять документы о расовой чистоте, затем антропологический отбор, и лишь после этого рассматривать все остальные качества кандидата. И никаких исключений! Протекции во внимание не принимать.

— Да, рейхсфюрер.

— Обеспечить полноценное расовое пополнение поможет наша сеть воспитательных учреждений, она будет расширена. Принимать туда нужно по тем же принципам. Особое значение я придаю системе массового воспроизводства высококачественных в расовом отношении детей. Очевидно, это невозможно в рамках традиционного брака. Но наша опытная организация «Лебенсборн» накопила уже вполне достаточный опыт. Мы будем всячески содействовать появлению таких внебрачных младенцев. Организация возьмет на себя все расходы по их содержанию и воспитанию. Незамужним женщинам, выразившим желание стать матерями будущей расы господ, мы подберем первосортных производителей! Каждый эсэсовец будет считать для себя честью участвовать в этой кампании. Но мы отберем самых лучших.

— Понадобятся законодательные меры, рейхсфюрер.— Гейдрих радовался приподнятому настроению шефа и постарался поддержать беседу на столь излюбленную Гиммлером тему. Он знал, что рейхсфюрер давно лелеет мысль о государстве СС.

— Безусловно, дорогой Гейдрих. Нужен закон, обязывающий всех женщин до тридцати лет, безразлично — замужних или одиноких, подарить государству ребенка. В порядке подготовки такого закона я намереваюсь издать приказ, обязывающий каждого эсэсовца произвести на свет минимум одного потомка. Мы не должны уйти бесследно, Гейдрих. Не должны. Это диктуют нам интересы тысячелетнего рейха.

— По долгу службы, рейхсфюрер, мне известно, что ваши глубокие идеи разделяют многие национал-социалисты. Жена партайгеноссе Бормана, в частности, горячо ратует за официальное введение для расово высокоценных мужчин института побочных жен,— Гейдрих сохранял полнейшую серьезность.— Желая подать пример другим, она готова терпеть побочную жену и у своего мужа.

— В самом деле? — оживился Гиммлер, мгновенно спускаясь с эмпиреев чистой теории на грешную землю.— Очень сознательная женщина. Очень. А какая она из себя?

— Страшна как смертный грех, рейхсфюрер.

— Ах вот оно что! Возможно, она хочет удержать таким путем мужа от развода? — улыбнулся Гиммлер, но через мгновение его лицо вновь стало невыразительным.— У этого человека далеко идущие цели. На своей сравнительно невысокой должности он сумел многого достичь.

— Геноссе Гесс не может без него обходиться, а вы лучше меня знаете, рейхсфюрер, как прислушивается фюрер к советам Гесса,— подлил масла в огонь Гейдрих.

— Да, вы правы... Полагаете, что Борман может сделаться опасным?

— Как все маленькие и незаметные люди, рейхсфюрер.

— Что ж... последите за ним, мой верный Рейнгард...

— Разумеется, рейхсфюрер. Это тем более своевременно, что рейхслейтер Гесс уже не сможет уделять своему секретарю столько времени, как это было раньше...

— Договаривайте.

— Геноссе Гесс — единственный человек в рейхе, с которым фюрер перешел на «ты».

— Вот как?! И публично?

— В Шарлоттенбурге, когда давали «Тангейзера»; кроме фюрера и рейхслейтера Гесса в ложе были вице-канцлер Папен, рейхсминистр доктор Геббельс, генералы Бломберг и Фрич.

— Кто же из них ваш информатор? — улыбнулся Гиммлер.

— Все понемногу, рейхсфюрер,— без тени улыбки ответил Гейдрих.— Сами того не сознавая.

— Как к этой перемене отнесся ваш шеф по прусскому министерству полиции?

— Министр-президент Герман Геринг целиком ушел в подготовку процесса против Тельмана. Он не может позволить себе второго Лейпцига.

— И мы не можем этого позволить.

— Министр-президент в обстановке строгой секретности лично посетил Тельмана в Альт-Моабите.

— Содержание беседы известно?

— Нет, рейхсфюрер. Но зато известны ее результаты.

— Какие же?

— Никаких.

— Так... Как идет подготовка к процессу?

— С большим скрипом... Это промедление мешает нам во всех внутренних и международных делах... Вот если бы фюрер согласился передать Тельмана в один из наших лагерей...

— Ничего не получится. Геринг не выпустит его из своих рук. Для него это уже вопрос престижа. Я не стану даже говорить с фюрером на эту тему. Еще не пришло время спорить с Герингом. Труп Рема еще не остыл...

— Понимаю, рейхсфюрер. Я не совсем точно сказал, что министр-президент целиком занят этим процессом. Это неверно. Со свойственной ему самоотверженностью он вникает во многие важнейшие вопросы: создает люфтваффе, налаживает вооружение, стоит на страже спокойствия и порядка, много внимания уделяет проблемам театра и вообще художественной интеллигенции... Одним словом, если бы кипучая энергия министра-президента была направлена только на Тельмана, процесс давно состоялся бы и благополучно завершился эшафотом.

— А знаете что, дорогой Гейдрих? Попробуйте-ка подпустить идею этакого межведомственного совещания... Будет неплохо, если представители заинтересованных ведомств обменяются мнениями по поводу этого процесса. Если идея привьется, я постараюсь ориентировать фюрера в... нужном направлении... Солнце, однако, совсем зашло. Как будто становится свежее?

— Не угодно ли пройти к ужину, рейхсфюрер?

Ужинали в «рыцарском» зале за огромным дубовым столом и при свечах. Потом пили подогретое вино у камина, в котором жарко пылали березовые поленья.

Из письма Эрнста Тельмана жене Розе

Берлин, 24 октября 1934 года

Последнее свидание было для меня сюрпризом, ты нежданно-негаданно привела с собой нашу Ирму. Когда она вошла в комнату, у меня навернулись слезы. Я вспомнил ее детство. Любит ли она все так же поля и леса, любит ли по-прежнему воду? Не забыла ли еще детские игры и шутки? Надеюсь, после удара судьбы она станет

зрелой девушкой. А что она говорит обо мне? Понимает ли она все, что происходит? Думаю, что да! Кажется, и она приняла мое дело близко к сердцу. Она производит впечатление серьезной, простой и естественной. Она очень крупная девушка, но худощавая и стройная. Вот только бледная стала. Увидевшись с ней, я почувствовал, как у меня немного согрелось сердце; мысль, что снова долго придется быть вдали от нее, уже не так тяжела, ибо я знаю, что она меня понимает.

...Ты мне уже сказала, что писала к 20—25 адвокатам, в том числе и берлинским, в надежде, что найдутся такие, которые согласятся меня защищать. Больше всего я хотел бы какого-нибудь берлинского адвоката, так как он мог бы часто приходить ко мне. Совсем недавно имперский министр юстиции Гюртнер на торжественном собрании подчеркнул следующие слова рейхсканцлера: «Мы выдвигаем принцип, согласно которому каждый равен перед законом и судом». Будем надеяться, что этот принцип осуществляется и на практике. Адвокат, профессор д-р Гримм из Эссена, писал тогда в своей статье «Процесс Тельмана» следующее: «Перед новой палатой народного суда процесс проводится также со всеми гарантиями защиты и гласности судопроизводства».

Сегодня я прошу тебя настоятельнее, чем когда-либо, оказать мне поддержку и помощь, я обязан разоблачить выдвинутые против меня лживые обвинения. Процесс станет решающим поворотом в моей жизни...

Тебя, Ирму и деда приветствует от всего сердца ваш любящий Эрнст.

Берлин, 13 января 1935 г.

Моя дорогая Роза!

С опозданием поздравляю с Новым годом! Желаю всем вам быть в новом году здоровыми и счастливыми! Сегодня исполняется 20 лет со дня, когда был заключен наш необыкновенно счастливый брак. И тотчас же нас разлучила

тогда мировая война... Прошло 20 лет — время, полное бурь и перемен. Жизненный путь был тернист и каменист, а жизненная борьба сурова и тяжела, и тем не менее мы были счастливы и довольны. Сегодня еще сильнее проявляется наша верность друг другу. Человек становится выше своей судьбы, если обладает мужеством и волей. Так пусть же этот памятный день придаст нам новую волю, энергию и надежду!

Получение писем и открыток я уже подтвердил тебе. Сердечно благодарю всех за внимание, деду, Ольге[1] *и фройляйн Гретхен тоже передай мои дружеские приветы.*

Еще до того, как старый год закрыл свои двери, я получил такое письмо за подписью следователя палаты народного суда: «Сообщаем Вам, что предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному против Вас по обвинению в подготовке государственной измены, закончено. Следственные акты отосланы обратно господину верховному прокурору в берлинский филиал». Вандшнейдер постоянно подчеркивал, что предварительное расследование уже закончено, но официально об этом сообщается только этим письмом, от 27 декабря. Следовательно, это уже новый поворот дела...

Тысяча приветов нашей Ирме и деду. Большой сердечный привет шлет тебе твой любящий Эрнст.

Глава 30

Гамбургский экспресс

Хорст толкнул дверь ресторанчика, в котором изредка обедал. Где-то вверху жалобно звякнул колокольчик.

[1] Это упоминание об Ольге дает понять, что Тельману сообщили о том, что ни рации, ни других особо компрометирующих предметов на конспиративной квартире обнаружено не было.

Лысый кабатчик с толстыми и лиловыми от сетки лопнувших сосудов щеками до горячего блеска натирал латунную стойку.

— Доброе утро, господин профессор. Вы сегодня ранняя пташка! Есть айсбайн из копченых ножек. Только что приготовили. Могу порекомендовать еще превосходные селедки «бисмарк» в маринаде. Если угодно...

— Да-да, благодарю вас... Вы не разрешите воспользоваться вашим телефоном?

— Прошу сюда, господин профессор,— сказал кабатчик, приподнимая стойку.— Прямо по коридору. Сразу за кухней.

Хорст прошел сквозь плотное бульонное облако, просачивающееся из щелей в кухонной двери. Допотопный телефон с деревянной трубкой и микрофоном, напоминающим рожок, висел на исписанной карандашом стене. Нашарив выключатель, он зажег тусклую, покрытую пыльной паутиной лампочку. Долго не соединялось. Позвонил еще раз. Гудки сразу оборвались.

— Алло! — нетерпеливо прокричал Хорст в потрескивающую тишину.

— Не приходи домой, Вольфганг! Не при...— трубку бросили на рычаг. Жена кричала так... Он никогда в жизни не слышал, чтобы она так кричала!

— Уже поговорили, господин профессор? Так как же насчет айсбайна? С чесноком!

Он покачал головой, сосредоточенно нахмурился и, сунув руки в карманы, пошел к двери. Потом вдруг опомнился, повернулся к удивленному кабатчику и, попытавшись улыбнуться, сказал:

— Благодарю вас, Иоганн. Я еще не голоден. Как-нибудь в другой раз. Возможно, я зайду днем.

Он позвонил еще раз из автомата, но телефон не отвечал.

Он был растерян и не знал, что делать дальше.

Мысленно он давно ко всему готовился, но такого почему-то не предусмотрел. Ужасно глупо. Ему и в голову не приходило, что за ним придут, когда его не будет дома. Что же делать теперь?..

Позвонил опять. Долго вслушивался в прерывистые гудки. Медленно повесил трубку. Монета с лязгом упала вниз. Но он не вынул ее. Сохраняя все то же сосредоточенное и растерянное выражение лица, вышел из кабины.

Пешком он дошел до центра. Миновал оживленный перекресток Фридрихштрассе и Унтер-ден-Линден. Люди спешили, никому ни до кого не было дела. Но он подумал, что за ним могут следить. Обернулся и остановился. Его обходили равнодушно, не глядя, автоматически поворачиваясь боком. Немного успокоился. Какой смысл следить за ним? Раз уж они явились к нему домой... Давно бы арестовали, если бы знали, где он находится...

Уже под вечер он попал, совершенно случайно, на Штеттинский вокзал. Отсюда поезда отходят на побережье. Море сейчас неприятное, штормовое. Серые волны с угрюмым блеском. Желтоватая холодная пена...

Стало зябко. Начиналась мигрень. Целый день он ничего не ел. Только чашку кофе выпил утром. С булочкой. Невероятное утро это показалось вдруг очень далеким. Пути к нему были отрезаны надолго, навсегда. Только теперь со всей беспощадной обнаженностью до него дошла мысль, что он не может вернуться домой. Дома больше нет. Все зачеркнуто. Перестало существовать. И некуда, некуда деться.

Мысленно перебрал почти всех своих знакомых. Не знал, кому из них можно теперь доверять. Остановился на Вилли Шумане, с которым вместе учился в университете. Он, наверное, все еще живет в Гамбурге. Правда, они не виделись лет шесть, а может, и все восемь. Но это пустяки. Если только Вилли жив...

«...Бюллетень погоды для Берлина и прилегающих районов...» — нежно ворковал репродуктор...

Когда поезд тронулся, в вагон вошел высокий молодой человек, лицо которого показалось Хорсту знакомым. Он хотел уже было на всякий случай отвернуться к окну, как тот сам окликнул его.

— Профессор Хорст, если не ошибаюсь? — тихо сказал он, садясь напротив.— Не припоминаете?

— Мне очень знакомо ваше лицо,— кивнул профессор,— только я никак не могу вспомнить, где мы встречались.

— Париж. Набережная Вольтера. Бистро «У прекрасной Габриэли», где за стойкой стоит прекрасный мосье Поль с симпатичным брюшком. Впрочем, вы, кажется, не были знакомы с мосье Полем.

— Да, конечно,— улыбнулся Хорст.— Это вы. Вы, кажется, торгуете хронометрами?

— Чем еще может торговать человек, который решил вдруг выдать себя за швейцарца?

— Значит, вы не коммерсант из Цюриха? — Хорст с удивлением поймал себя на том, что не испытывает страха перед этим человеком, уверенным в себе, улыбающимся дружеской и вместе с тем чуть снисходительной улыбкой. Он был уверен, что эта их встреча, как и первая, случайна. Быть может, это была опасная уверенность, но он ничего не мог с собой поделать.— Да?

— Выходит, что так...

— Кто же вы, если не секрет?

— Секрет... Зовите меня Гербертом, господин профессор.

— А что, если и я не Хорст?

— Нет, вы — профессор фон Хорст, мы проверили. Рад, что случай вновь свел нас.

Они обменялись несколько запоздалым рукопожатием.

— Кто это «мы»? — после затянувшейся паузы спросил профессор.

— Не гестапо.

— Это я понял.

— Да, я дал вам это понять.

— Знаете, я очень рад,— профессор оглянулся, но поблизости никого не было, и он мог говорить без опаски.— Я рад, что есть люди, которые не смирились. Мне казалось, что вокруг немота.

— Не надо делать поспешных выводов.

— По поводу чего? — вновь насторожился Хорст.— Вас или моих мыслей?

— Не будем сейчас об этом, профессор. Не хочу вас интриговать, но я знаю о вас больше, чем вы обо мне. Ответьте мне прямо: вам угрожает какая-нибудь опасность?

— Да. Сегодня они приходили за мной, но не застали дома.

— Вам не повезло. У вас слишком злопамятный и могущественный враг. Не будь его, все ограничилось бы отставкой.

— Вы полагаете?

— Не сомневаюсь. Вам нужно скрыться? Или вы хотите перейти границу?

— Разве это возможно?

— Все возможно, пока человек жив. Вы едете в Гамбург? У вас есть там надежное убежище?

— Мне кажется, что да.

— Желаю вам удачи... Но если паче чаяния у вас все сорвется, возвращайтесь в Берлин. Запомните адрес: Шеллингштрассе, 19. Это в Панкове. Запомнили?

— Панков, Шеллингштрассе, 19.

— Приходите в любой вторник ровно в десять утра или в пятницу между одиннадцатью и часом. Постучите

три раза. Скажете, от Герберта. Вам постараются помочь. А сейчас, извините, мне надо идти.

— Куда? — удивился профессор. — Поезд ведь идет без остановок!

— В другой вагон. Вас, возможно, разыскивают, а я не могу позволить себе лишнего риска. Даже минимального.

— Понимаю...

— Если надумаете прийти, трижды убедитесь, что за вами нет слежки.

— Спасибо.

Его собеседник достал сигареты и медленно направился к тамбуру.

Берлин, 27 августа 1935 г.

Моя дорогая Роза!

В последний четверг делегаты Международного конгресса по вопросам уголовного права и тюремной системы, заседавшего в Берлине, проводили здесь осмотр. Когда меня вызвали на прогулку, я предчувствовал, что сейчас подвергнусь «обозрению» представителей разных народов. И верно! Делегаты стояли у стен, чтобы остаться незаметными. Но уже при первом обходе тюремного двора я их обнаружил и спугнул. Когда-то в зверинце Гагенбека я видел, как рассматривали представителей «цветных» народов, и негры зулу и индейцы сиу особенно привлекали внимание и возбуждали всеобщее любопытство. Но поскольку во мне, как обычном европейце, нельзя обнаружить ничего поразительного, делегаты приличия ради предпочли немедленно удалиться. Меня все время радует, что в мире есть еще люди, которые проявляют ко мне интерес, даже и не будучи моими друзьями. Больше ничего нового. Только одна просьба к тебе. Мои брюки постепенно протираются на коленях. Боюсь, что они не выдержат до процесса.

Тысяча приветов нашей Ирме и деду. Верность и горячий привет шлет тебе

твой любящий Эрнст из Моабита.

Глава 31

Адвокат Рёттер

Тельман уже не верил, что процесс когда-нибудь начнется. Почти два с половиной года прошло с того дня, когда его арестовали на квартире Ключинских. Неслыханный произвол! Нигде в мире преследуемым властями политическим руководителям не приходилось так безнадежно долго ждать обвинения.

Неужели наци все еще надеются сломить его? Кажется, они испробовали все средства: темный сырой карцер, где нельзя стать в полный рост, мелкие пакости вроде чистки нужников, наконец гипноз и особую обработку. Кто измерит всю глубину этих страданий? Иногда отказ в свидании или ежедневной прогулке ударяли по сердцу сильнее гестаповского бича. Ночной безысходный кошмар обступал со всех сторон, казалось, все вокруг рушилось, и тошнотворное отчаяние швыряло узника с койки на пол. Что удерживало его тогда от безумного крика и хохота? Что мешало ему подползти к железной двери и разбить о нее голову?

Но нет, для него это было невозможно.

Даже в редкие минуты всепоглощающего отчаяния он знал, что никогда не подойдет к страшному тому рубежу, за которым — падение и распад. Все, что он пережил, во имя чего любил и ненавидел, приходило на выручку. Драгоценный опыт души, которая ничего не забыла, подобно тому как тело и через двадцать лет сохраняет память о езде на детском велосипеде илп катании на

коньках. Даже в бреду он сознавал, что непременно наступит утро с его холодным, отрезвляющим светом и даст силы для новой надежды. Дело его, хотя и крайне медленно, все же продвигалось.

Судебный следователь однажды представил ему нового адвоката — берлинца. От Розы и по запискам друзей Тельман знал, что доктор Рёттер в принципе согласился взять на себя защиту его интересов. Однако окончательный ответ отложил до личного свидания со своим подзащитным. Тельман сразу понял, что Роза сделала хороший выбор. Адвокат ему понравился. Чувствовалось, что он умен и способен на независимые поступки.

Рёттер сразу признался, что никогда ранее не представлял интересы коммунистов. Более того, был решительно против коммунизма и всегда подчеркивал это на собраниях национальной партии, к которой имел честь принадлежать. Тем не менее он согласился защищать председателя КПГ.

— Это не осквернит ваших знамен,— пошутил Тельман.— Мой адвокат из Дортмунда — член национал-социалистской партии.

— Ничего не значит,— видимо, не понял шутки Рёттер.— Интересы правосудия должны стоять над партийными. Но, к сожалению, хорошая профессиональная репутация адвоката не всегда является — как бы это поточнее сказать? — определяющей, что ли... Это необходимое, но отнюдь не достаточное условие. Мне, скорее всего, станут чинить в палате народного суда препятствия. По некоторым причинам меня, видите ли, причисляют к категории адвокатов неарийского происхождения, хотя сам я не еврей... Понимаете ли, господин Тельман, я человек старой закалки и, быть может, излишне щепетилен. Мне будет трудно вести дело, не заручившись предварительно вашим доверием. Простите, но это непременное условие.

— Какое доверие вы имеете в виду, доктор? — спросил

Тельман, подумав про себя: «Неужели этот сухой педант настолько глуп, что потребует от меня полной исповеди?! Той самой, в которой я отказываю господам с Принц-Альбрехтштрассе?»

— Вы не должны сомневаться в моей личной порядочности, господин Тельман. Мои политические симпатии и антипатии ни в коей мере не отразятся на ваших интересах. Надеюсь, вы не станете подозревать меня в двойной игре и прочих нечистоплотных поступках. Это не только повредило бы, но и вообще сделало бы наше сотрудничество невозможным.

— Я понимаю ваше беспокойство, доктор Рёттер, и глубоко ценю вашу искренность. Позвольте выразить вам мое полное доверие.

— В таком случае, я удовлетворен... Вы ведь, кажется, фронтовик, господин Тельман?

— Да, я был в артиллерии.

— А я морской офицер, кавалер железного креста первого класса.

— Ну, мне-то наград не досталось, но, надеюсь, это не помешает нашему содружеству.

— Собственно, я о том же. Фронтовики должны доверять друг другу.

— Значит, мы договорились.

— Мы — да. Слово теперь за председателем судебной палаты. У него есть право дать отвод любому защитнику без объяснения причин. У адвоката же, напротив, нет права на жалобы или апелляции по поводу отвода. Я вижу здесь существенное различие по сравнению с процессуальными нормами.

— Полагаете, могут быть трудности?

— Возможно. Не сочтете ли вы целесообразным, господин Тельман, написать письмо председателю второго сената народного суда доктору Брунеру?

— До сих пор я воздерживался от подобных просьб,

доктор Рёттер. Лучше будет, если вы сами обратитесь в палату. Мой гамбургский адвокат доктор Вандшнейдер не раз говорил, что верховный прокурор не намерен создавать затруднений моей защите. По-моему, у нас есть случай убедиться в этом. Не надо бояться препятствий, доктор Рёттер. Я уверен, что вы добьетесь допуска к защите.

— Первый случай в моей практике, господин Тельман, когда подзащитный ободряет своего адвоката. Обычно бывает наоборот.

— Обычно, доктор Рёттер, не ждут суда два с половиной года.

— Да, вы правы, это вопиющее нарушение процессуальных норм.

— Со дня прихода нацистов к власти ежедневно попираются все человеческие нормы.

— Не будем говорить о политике, господин Тельман.

— Обязательно будем! Мой процесс будет политическим, а ваш подзащитный будет обвинять национал-социализм и защищать свою партию от чудовищных наветов.

— На этом процессе вы не сможете вести себя, как Димитров. Второго Лейпцига, хотим мы этого или нет, не будет.

— Посмотрим, доктор Рёттер. Время покажет.

— Вы возлагаете на своих защитников тяжелое бремя, господин Тельман.

— Это правда. Я действительно предъявляю к ним очень высокие требования. Надеюсь, моя жена не оставила в этом вопросе никаких неясностей. Вам известно, что она вела переговоры с двадцатью защитниками?

— Известно, господин Тельман.

— Не считаете ли вы, доктор, что я возлагаю слишком тяжелое бремя и на свою жену?

— Не считаю. Жена — это совсем другое дело.

— А я считаю. Но я знаю, что она справится и вынесет все. Во время последнего свидания я посоветовал ей не заходить больше к адвокату доктору фон Вюльфингу, поскольку это бесполезно. Я отдаю себе отчет в том, что такая разборчивость неизбежно затягивает дело. Но другого выхода нет. Мне самому хотелось бы избавиться от теперешнего невыносимого состояния... Между тем, я борюсь со всеми внутренними искушениями, не поддаюсь воздействию извне, по-прежнему высоко держу голову и буду стараться вынести все мужественно и хладнокровно.

— Вы счастливый человек, господин Тельман. Вам неведомо тягостное чувство сомнения.

— Это чувство, доктор, ведомо всем. Если и есть где чуждый сомнению человек, то бросьте его на два года в такую вот одиночку, и он живо его обретет. Нет, у меня бывают и сомнения и, может быть, даже страх. Но мне удается с этим справиться. Когда бывает особенно больно... Простите, что делюсь этим с вами, незнакомым человеком... Но мы, арестанты, так одиноки, так изголодались по живому слову...

— Я вас очень понимаю, господин Тельман. Пожалуйста, продолжайте. Мне необыкновенно интересно и... важно слушать вас. Как же вы поступаете в трудные минуты? Что делаете?

— Я заставляю себя вновь пережить наиболее яркие впечатления прошлого. Любовь, ненависть... Это очень сильные чувства, господин адвокат. Они помогают мне, дают терпение и надежду. Вот так и избавляюсь от мучений. Снова хожу по камере взад и вперед...

— Как просто...

— На словах все просто, доктор Рёттер. Поэтому слова часто не доходят до людей. Чужой опыт плохо учит. Все нужно испытать самому, внутренне себя найти, и тогда будут силы выстоять. Нелегко это. Да и нет абсолютных мерил. Что значит для вас, скажем, зернышко пшеницы?

Ровным счетом ничего. Нуль! А для Робинзона — это жизнь, возможность продержаться еще какое-то время. Обиды и радости тюрьмы не похожи на привычные человеческие чувства. А дело все в том, что они занимают слишком большое место в груди арестанта. И долго живут там. Другого-то ничего нет. Нечем вытеснить, нечем заменить. Это одновременно и нищета духа и огромное его богатство. Недавно я взял из тюремной библиотеки «Раскольникова»[1]. Уже пролог меня захватил и навел на очень важные, но свои, не относящиеся к книге мысли. Книга — единственный друг, который никогда меня здесь не покидает. Я читаю, читаю часами, пока не раздается звон колокола — сигнал ко сну. День кончен, все беды забыты, все печали вытеснены из души, я снова счастлив и уверен в себе. Скажете, просто? Конечно, просто. Взял книгу — и успокоился. Но суть в том, что книга на свободе и книга в тюрьме — два различных понятия. Вам ведомо только первое. Поэтому мы и говорим на разных языках.

— Очень верное наблюдение, господин Тельман. Необыкновенно верное! Я, знаете ли, никогда не задумывался над такими вещами, хотя мне как адвокату следовало бы о них знать. Я вам очень благодарен. У нас есть время. Расскажите мне, пожалуйста, еще.

— Что ж еще рассказать вам, доктор Рёттер?.. Что еще? Быть может, когда-нибудь вы и поймете меня, но не теперь, нет, не теперь...

Тельман глубоко задумался.

Раньше он и сам никогда не понимал с такой остротой, что значит находиться в одиночном заключении и длительной изоляции, как это действует на психику мыслящего человека, если он принужден жить так годы. Для

[1] Так в переводе на немецкий язык назван роман Достоевского «Преступление и наказание».

него это новая большая жизненная школа, причем ничто пережитое не может служить мерилом для сравнения. Конечно, и здесь бывает разнообразие. Например, когда доходят новости о событиях в Германии и во всем мире, новости о Советском Союзе; об этом он узнаёт из газет, и это ободряет его... Страна социализма крепнет день ото дня. Растет ее авторитет в мире... События развиваются повсюду с такой стихийностью и быстротой, как это редко бывало в прошлом... особенно в области мировой экономики и мировой политики: постоянные сдвиги, изменения и переориентация сил как внутри группировок, так и между ними; неурядицы в мировой экономике; упорная и ожесточенная таможенная и торговая война, война за рынки сбыта, в стороне от которой скоро не останется ни одна страна; все больше осложнений в вопросах валюты и кредита; заметная неустойчивость на рынке денег и капиталов; волна новых расходов на вооружения и, наконец, как следствие этих разнообразных явлений — возросшая опасность войны в Азии, а также в Европе... Будем надеяться, что удастся своевременно потушить очаги пожара...

— Вы стоите вне политики, доктор Рёттер. Это иллюзия, но вам, наверно, трудно расстаться с ней. Быть вне политики невозможно, как нельзя жить вне жизни. Человеческое общество развивается по строгим экономическим законам. А политика — это концентрированное выражение экономики...

— Мне кажется, господин Тельман, вы обрели какую-то недоступную мне мудрость. В чем, по-вашему, смысл жизни?

— Если я скажу, что вижу смысл жизни в борьбе за дело рабочего класса, вы вряд ли поймете меня. Но я скажу, доктор, в чем видится мне истинное искусство жизни.

— В чем же? Это крайне любопытно.

— Оно в том, чтобы с годами становиться моложе.
— Парадокс!
— Нет. Мудрость. Кто искореняет свои ошибки, постоянно преодолевает самого себя, тот молодеет. Это нравственное, духовное омоложение. И единственный источник движения вперед.
— Жизнь учит нас другому. Людям свойственно бороться с недостатками, но лишь с чужими. Личные же несовершенства — неотъемлемая часть нас самих. Мы не замечаем их, свыкаемся. Человеку присуща нетерпимость к своим ближним. Она лежит в основе всех наших деяний, искусства в том числе. Сюжет «Раскольникова» основан только на нетерпимости. Особенно хорошо нетерпимость продемонстрировал Шекспир. Его сила в столкновении противоположных характеров, противоположных нетерпимостей. Вы не согласны со мной?
— Как вы читаете книгу? Как смотрите представление?
— Не совсем понимаю вас.
— Я хочу спросить, следите ли вы за развитием действия как бы со стороны или же непосредственно участвуете в нем?
— Это важно?
— Очень. Иначе я не сумею вам ответить, или, вернее, вы можете неправильно меня понять.
— Тогда, простите, я должен немного подумать. Я, знаете ли, никогда не задумывался, участвую или нет в перипетиях сюжета. Мне не это казалось главным.
— Что же тогда главное? В театре нас волнует не то, что сделал тот или иной персонаж, а то, что сделали бы при подобных обстоятельствах мы сами. Это становится ясно, когда человеческие страсти проявляются в особых обстоятельствах. Если мы не знаем причины страсти героя, она остается для нас чуждой и лишь ошеломляет нас, причем даже в своих самых возвышенных проявлениях.

А Шекспир как раз и вскрывает эти причины. Он не утешает нас, но учит понимать человеческое бытие. А это больше, чем столкновение нетерпимостей. Это поединок с судьбой. Или возьмите Шиллера, его героя — чистого, восторженного и возвышенного человека, прошедшего через тяжелые испытания. В его мире царствует своеобразная гармония. И имя ей — свобода! Все его герои, от Карла Моора и Иоанны до Вильгельма Телля,— воплощения шиллеровского пророчества свободы.

— Пожалуй, мне трудно будет дать вам определенный ответ. Я не задумывался над этим... Может быть, я и сопереживаю с его героями, в отдельных случаях. Но большей частью я, конечно, смотрю на все со стороны.

— А на события реальной жизни?

— Тоже со стороны, если они, конечно, прямо меня не затрагивают.

— По крайней мере, доктор, это честный ответ.

— А как же иначе?

— Вы часто вспоминаете войну, доктор Рёттер?

— Стараюсь не вспоминать о ней никогда. И не потому, что мне было особенно тягостно на ней. Я служил на флоте и был избавлен, таким образом, от многих неудобств окопной жизни. Но зачем вспоминать? Что было, то прошло.

— Зато такой упрямый человек, как я, лишь качает по этому поводу головой и думает: а я все еще учусь!.. Когда двадцать лет назад я уходил на войну, то не знал, какова она, эта война. Я не знал, что такое смерть и что такое страх перед смертью. Я вспоминаю о многом, что пережил во время войны в сражениях под Дуомоном, на Сомме, у Арраса, у Камбре, в Аргоннском лесу, под Суассоном, на Шмен-де-Дам, в Шампани, под Сен-Кантеном и Реймсом и так далее, и о многих боях на других участках Западного фронта. Многих тогда толкнуло к нам. Ребята поняли, что это за штука империалистическая война.

Теперь это лишь воспоминания о страшном прошлом. Но то, что происходит сейчас в болотистых низинах реки Пилькомайо и в девственных лесах Чако, напоминает средневековые формы самой зверской войны. Там убивают беззащитных людей в угоду чьей-то жажде захвата и грабежа. И это факт из современной действительности капиталистического мира. Вот почему, доктор, я часто вспоминаю войну. Она меня не покидает, для меня она не отошла в прошлое.

— Вам мало своих страданий? Неужели мысль о собственной тяжелой судьбе не заслоняет для вас вести о каких-то там столкновениях в Южной Америке, на краю света?

— Конечно, эта строгая изоляция, это одиночество, эта оторванность от живой жизни народа мучительны, нестерпимы. Но и сама жестокость жизни укрепляет внутренние силы. Постепенно начинаешь понимать, что не только ужасы жизни порождают страх, но и сам этот страх рождает кошмары. Это порочный круг. Его можно разорвать, лишь избавившись от страха. Такое понимание приходит только в борьбе. Я уверен, что можно научиться быть мужественным... Это не врожденное качество.

И когда оно придет к вам, вы уже не будете отделять свои беды от бед человечества, свою боль от боли, которую испытывают китайские кули, американские негры или индейцы. Вы научитесь не бояться того, что худые вести увеличат ваши собственные страдания. Человек должен твердо смотреть в глаза неизбежности. Нельзя забывать мировую войну. Завтра она снова может оказаться у нашего порога. Да что там завтра! Уже сегодня мы стоим перед большими и трудными решениями. Я говорю о Германии.

— Которую вы не отделяете от своего личного будущего.

— Конечно, как я не отделяю себя от немецкого

рабочего класса. И если мое представление об абиссинских хижинах несколько абстрактно, то жизнь трудовых людей Германии — это моя собственная жизнь. Недавний шторм в Гамбурге, насколько я могу судить по серии фотографий в «Гамбургер фремденблатт», причинил большие разрушения. Наводнение в порту, конечно, явление не новое. Но на этот раз норд-вест был, кажется, особенно сильным. Разве это не личная моя беда? Там же мои товарищи!

— Это я понимаю.

— Ну и прекрасно. Первобытные люди считали людьми только жителей своей деревни, своей пещеры. Все остальные были для них такой же добычей, как и лесные звери. Современный капитализм сохранил и упрочил этот людоедский пережиток. Хорошенько подумайте над этим, доктор Рёттер, и тогда вы поймете, что значит для будущего всех людей классовая солидарность пролетариата. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — это не просто лозунг. Это единственная надежда человечества покончить навсегда с дикостью и мраком звериного существования. Вот почему этот наш лозунг касается всех, и вас, доктор Рёттер, хотя вы и не пролетарий.

— Вы, наверно, должны особенно сильно чувствовать свою оторванность от людей, от дела, за которое боретесь...

— Раньше я не представлял себе, что значит одиночное заключение! Есть люди, которых суровая жизнь забивает и подавляет, в то время как другие, напротив, мужают и крепнут под ее ударами. Но если жизнь хочет одарить человека величайшим счастьем на свете, она дает ему верных друзей. У меня есть такие друзья. Их много.

— Вы, конечно, говорите о братьях по классу?

— Конечно. Но не только о них. Я говорю и о своих родных, и о личных друзьях, которые, конечно, тоже мои братья по классу.

— Я понимаю. Общаясь с фрау Тельман, я был вос-

хищен ее самоотверженной верностью. Надеюсь, что вы вновь сможете вернуться в семью. Я знаю, как вы привязаны к дочери, как горячо любили отца...

— Я не мог закрыть ему глаза, мне, единственному сыну, не разрешили отдать ему последний долг.

— Да, нелегко быть на этой земле человеком, господин Тельман, очень нелегко... Наверное, ваша собственная нелегкая, как я знаю, жизнь научила вас понимать так называемых простых людей. Вы рано начали свою трудовую жизнь, господин Тельман?

— Как все дети в рабочих семьях, доктор. Шестнадцати лет от роду ушел из родительского дома и скитался в поисках работы без всякой помощи и без каких-либо средств, полагаясь во всем на самого себя. Судьба рано научила меня понимать жизнь и образ мыслей немецкого рабочего. Знал я и нужду и нищету! Как мы хотели работать, если бы вы знали, господин адвокат! Но работы не было... А дома ждали голодные семьи. Чем больше нужда, тем яростнее хотелось одолеть ее. Гамбургские рабочие, первые товарищи в борьбе, стали мне братьями. «Собственный опыт есть мудрость», — сказал Лессинг. Повседневная жизнь и суровый опыт трудового народа были моей сокровищницей, великой школой.

— Странно. Из разговора с вами я вижу, что вы тонко и глубоко понимаете историю, литературу, театр. Почему вас интересует выдуманный писателем или драматургом мир, когда собственная ваша судьба куда богаче? Что вам до того же Раскольникова?

— Реальные жизненные испытания, среди которых мы мужали и крепли, часто были богаче и сильнее книжных. Это так. Но в отупляющем одиночестве, в этой духовной тьме, в которой я принужден прозябать здесь, в камере, я так жажду встречи с людьми, что уже не отделяю реальные судьбы от придуманных. Ведь здесь газеты и книги единственные мои собеседники.

— А знаете, несмотря на весь ужас вашего положения, вы счастливый человек. Вы умеете сделать так, чтобы вам стало хорошо.

— Хорошо тому, кто не в тюрьме, доктор Рёттер. Мало найдется в мире людей, которые мне позавидуют. Вы бы тоже не согласились быть на моем месте...

— Вы выдержите, уж в этом-то я уверен.

— И, быть может, доживу до того дня, когда выйду отсюда...

— Дай вам бог, господин Тельман... Вы, конечно, не верите в бога?

— Конечно, не верю. Надеюсь, вас это не пугает? Господин Гитлер, наверное, поставил теперь все точки над «и»?

— Да, многие священники были репрессированы. Национал-социалисты откровенно говорят, что «ублюдок из дома Давидова не может быть немецким богом». Грубое, отвратительное кощунство над чувствами верующих. Можно не верить в Христа-бога, но нельзя не склониться перед мукой Христа — сына человеческого. Ваше безбожие, господин Тельман, меня не пугает. В моих глазах вы мученик, принявший страдание... И мне нет дела до тех целей, во имя которых вы его приняли. Вы хорошо говорили о том, как в горниле жизни закаляется характер, характер борца. Пусть так... Для меня же страдание человеческое — это напоминание о крестной его муке.

— Вы сами видите, доктор, что национал-социализм — враг всех честных людей. Это и ваш враг.

— Вы агитируете меня, господин Тельман?

— Почему же нет? Оттого, что меня бросили в Моабит, я не перестал быть коммунистическим агитатором. Кроме того, вы мой защитник, значит, в чем-то единомышленник. Вот я и хочу, чтобы поле нашего соприкосновения еще более возросло.

— Как вы пришли в политику, господин Тельман?

Что повлияло на ваши политические симпатии, предопределило ваш выбор?

— Очень серьезные события: большая стачка портовых рабочих в Гамбурге, процесс Дрейфуса во Франции и англо-бурская война. Я понял, что в нашем мире не все благополучно. Я очень остро почувствовал, как несправедливо устроен мир.

— А воспитание?

— Мой покойный отец — старый социал-демократ. В небольшом кабачке, который он открыл в Гамбурге, не затихали политические споры. Это и было мое воспитание. Я слушал и делал выводы. А что такое забастовки и локауты, я узнал не из брошюр. Так вы берете на себя мою защиту, господин доктор Рёттер?

— Безусловно, господин Тельман. Можете на меня положиться. Знакомство с вами большая честь для меня, хотя я никоим образом не разделяю ваших политических предрассудков.

— Предрассудков?

— Да, господин Тельман. Все, что искусственно разделяет людей, кажется мне предрассудком. Ваши идеи классовой борьбы, противопоставление пролетариата всему остальному обществу не представляются мне верными. Но я взял на себя обязанность защищать вас, и, разумеется, мне необходимо знать своего подзащитного. Поэтому я с таким интересом слушаю вас. Фрау Тельман говорила мне, что вы сильно тоскуете по свежему воздуху, что вам очень недостает леса, реки, полей. От нее я знаю, что для вашего внутреннего мира всегда много значило общение с природой.

— Это верно... Я очень любил побродить после работы по лесу. Птицы, пчелы, муравейник, цветы и травы — все одинаково занимало меня. Если было время, я ехал в период цветения деревьев в Вердер. Потом я подробно рассказывал жене и дочери обо всем, что видел там.

Конечно, мне многого недостает здесь... Рабочей закусочной папаши Вернера на Вальштрассе в Шарлоттенбурге, где так хорошо было посидеть за кружкой пива с молодыми ребятами с ближайшего завода... Стадиона... Хотя мне редко удавалось поболеть за любимую команду. Да и в юности мне, знаете ли, не пришлось играть в футбол со школьными товарищами. Поэтому меня, наверно, тянуло посмотреть, как играют другие. Обычно я брал с собой на стадион соседских мальчишек...

Что еще я могу сказать вам, господин адвокат? Что все привычные понятия приобретают в тюрьме более яркий смысл? Никогда окружающий мир не покажется вам таким просторным, как мне тюремный двор, где на коротком пути своем я вижу и цветок в траве, и медленно падающие с дерева желто-коричневые листья, и воробьев, подбирающих хлебные крошки, брошенные заключенными, и муравьев, защищающих свою неоконченную постройку, может быть, и паука, плетущего паутину в окне подвала... Проклятый каменный колодец! И тот — только на полчаса в день, будь там солнце, дождь или ветер! Но довольно об этом, доктор Рёттер. Поговорим лучше о моем деле. Вы не торопитесь к другим подзащитным, доктор?

— Господин Тельман...

— Хорошо, хорошо, я пошутил. Я не гоню вас, доктор, для меня поговорить с человеком — большая радость. Но время идет. Что слышно о моем процессе? Доктор Вандшнейдер в прошлый визит сказал мне, что обвинительное заключение уже готово.

— Да, я видел его. Это обширное дело на двухстах шестидесяти страницах. К сожалению, мне не дали с ним подробно ознакомиться. Но прокуратура заверила, что в ближайшие дни оно будет вручено вам. Если вопрос о моей адвокатуре решится положительно, у нас с вами будет время как следует поработать. Нам предстоит, ра-

зумеется вместе с доктором Вандшнейдером, выработать определенную тактику, чтобы вырвать оправдательный приговор. Сейчас рано говорить, но мне кажется, было бы разумно, господин Тельман, занять более гибкую позицию. Наверное, не стоит злоупотреблять терпением суда, настаивая на тех или иных партийных принципах. Зал заседаний — не лучшая трибуна для пропаганды. Надо всегда помнить о главном и не бояться приносить ему в жертву второстепенное.

— В чем вы видите это главное?

— Добиться для вас оправдательного приговора!

— Не обижайтесь, доктор, но свободу взамен убеждений мне уже предлагали, и не раз. В том числе и сам Герман Геринг.

— Не думаете ли вы, господин Тельман, что я...

— Нет, не думаю, иначе я не стал бы разговаривать с вами. Договоримся сразу: в моем лице обвиняется Коммунистическая партия, и я буду выступать на суде от ее имени. Ваша задача — помочь мне защитить мою партию. Я хочу, чтобы вы хорошо это поняли. Если вас это не устраивает, мне придется отказаться от адвокатов и защищать себя самому.

— Как Димитров?

— Как Димитров... Я вполне в состоянии сам защитить КПГ и себя лично. За свою деятельность в интересах рабочего класса я готов отвечать в любой момент.

— Я понял вас, господин Тельман. Мы еще вернемся к этой теме, и не раз. Сейчас, пока у нас на руках нет обвинительного заключения, споры излишни. Давайте лучше воспользуемся нашим тет-а-тет и поговорим о более насущных вещах. Не хотите ли вы что-нибудь передать через меня фрау Тельман?

— Она очень озабочена, доктор Рёттер, что в последнее время нам все больше затрудняют переписку. Почему это делается, ответить нетрудно. Отправка писем зависит

только от судебного следователя или его заместителя. Кто эти люди, жена знает. Могу лишь пожалеть, что прежнего следователя, доктора Вальтера, здесь уже нет.

— Больше ничего не хотите передать ей?

— Что ж еще?.. Я рад, что здоровье Ольги — это родственница — хорошее. Скажите еще, что меня волнует состояние моего дорогого тестя, очень хотелось бы увидеть старика. Успехами Ирмы я доволен. Вот, пожалуй, и все.

— У вас только семейные заботы?

— С женой — только. Да и не хотел бы я толкать своего адвоката на противозаконный путь, так что никаких секретных поручений я вам не даю.

— Ну и прекрасно! А что сказать фрау Тельман о вас лично? Она же будет спрашивать. Как вы себя чувствуете?

— Нормально. Как солдат. Особых жалоб на здоровье и тюремный режим нет. Скажите Розе, что я каждый день хожу на прогулку, всегда в одно и то же время, одним и тем же путем, по одной и той же каменной дорожке. Весьма сожалею, что не гуляю ночью.

— Ночью? Почему же?

— Давно не видел звезд.

— Хорошо, господин Тельман, я все обстоятельно перескажу вашей жене. Очень рад был знакомству с вами. Надеюсь, мы еще встретимся.

— Я не сомневаюсь в этом, доктор. Добивайтесь защиты.

Глава 32

Обвинительный акт

При первом, сравнительно поверхностном чтении обвинительного акта Тельман понял, что прокуратура потерпела поражение. Сенсация явно не по-

лучалась. Лживые, шитые на скорую руку обвинения ничего не стоило опровергнуть. После провала в Лейпциге можно было ожидать, что юстиция постарается более тонко организовать новый показательный процесс. Но этого не произошло. Логика диктатуры, как обычно, шла вразрез с логикой человеческого общежития, логикой права. С тупой настойчивостью гитлеровская прокуратура шла на новый мировой скандал. И Тельман, вот уже в который раз, подумал, что процесс может не состояться. Лично для него это был бы наихудший выход. Он долго ждал процесса, а теперь, когда уже твердо знал, в чем его обвиняют, им овладело знакомое чувство нетерпения, как всегда перед схваткой. В детстве похожее беспокойное и радостное чувство охватывало его накануне праздника.

Чтобы отвлечься немного и успокоиться, Тельман сделал несколько гимнастических упражнений. Подошел к окну и, встав на цыпочки, осторожно постучал в стекло. Но рыжий с белыми пятнами паук, который свил тонкую прозрачную паутину между двумя стальными стержнями, не появился. Его призрачная сеть тихо колыхалась под холодной струей воздуха. Она казалась похожей на подвешенный к соснам гамак. Жаль, что когтистый восьмилапый сосед где-то сегодня пропадал... Возможно, у него были другие дела. В тюрьме даже паукам недостает чего-то...

Тельман вернулся к столу, раскрошил разрезанную по милости тюремного начальства сигару и сделал самокрутку. Стараясь затягиваться неглубоко, медленно выдохнул струю крутого едучего дыма. Потом по памяти, не заглядывая в акт, выписал на отдельном листке главные пункты обвинения.

Да, они стоили немного. Без всякой помощи адвоката он мог бы сделать из обвинения посмешище. Это был бы хороший подарок для зарубежных представителей и корреспондентов, которые наверняка будут в зале суда.

Неужели эти наци в Берлине настолько ослеплены ненавистью, что не видят этого сами? Или они и мысли не допускают, что портовый рабочий из Гамбурга, не кончавший никаких гимназий и университетов, сможет разоблачить их судебно-юридическую комедию? Поистине кастовое чванство пруссаков не знает границ. Что ж, если так, то тем лучше. Он с удовольствием посмотрит, как будут ерзать в своих креслах облаченные в средневековые мантии генеральный прокурор доктор Вернер и первый помощник доктор Брунер вместе с четырьмя следователями... Для гестапо же он прибережет особый сюрприз! В нужный момент он скажет и о биче из кожи гиппопотама, и о шуте-гипнотизере. Но не это главное. Важно, очень важно будет показать, насколько жалки выставленные гестапо свидетели — четверо отщепенцев, которые смели когда-то называть себя коммунистами. Двоих он знает: они занимали в партии высокие посты...

Свидетели, пожалуй, наиболее уязвимое звено грядущей комедии. На предварительном следствии он назвал больше двухсот имен, но вызвали для дачи показаний человек двадцать, не больше. В основном, наверное, тех, кто без всякого злого умысла мог сообщить нужные обвинению сведения. Из зарубежных товарищей не вызвали никого, хотя собирались судить большую политическую партию, даже весь Коммунистический Интернационал...

В обвинительном заключении были названы всего тридцать два имени. И какие! Шестнадцать человек поставило гестапо, о чем говорится с бесстыдной, прямо-таки изумительной откровенностью. Это все средние и даже высшие чиновники. Палач Гиринг тоже попал в свидетели. Что ж, тем лучше...

Очевидная слабость прокуратуры видна и в том, что к делу приобщены материалы, не фигурировавшие на предварительном следствии. Он же знает, что опубликованная к выборам 1930 года «Программа национального

и социального освобождения немецкого народа» ни на одном допросе ему в вину не ставилась. Интересно, как они будут доказывать, что лозунги: «За свободу, социализм, работу и хлеб!» и «За свободную социалистическую Германию!» — государственная измена. Разве в демагогической программе национал-социализма не содержатся точно такие же слова, взятые на вооружение, чтобы дезориентировать рабочий класс? Странно, что при таком беззастенчивом подходе к делу ему не ставят в вину поджог рейхстага. Ишь как подобрели!.. Не упоминаются в акте и «жуткие документы», о которых столько трубили «Фолькишер беобахтер», «Дас рейх», «Шварце корпс» и «Ангрифф». Теперь газеты молчат, словно воды в рот набрали, об этих будто бы найденных в ЦК КПГ списках. То ли дело раньше: «Коммунисты готовили тайный заговор. Они собирались поджечь все общественные учреждения и 4 000 крестьянских домов. Арестовать сотни заложников и зверски убить немецких женщин и детей»,— просто и понятно! Жаль, что это не фигурирует в деле, право, жаль...

Зато все его речи, воззвания и статьи, легально изданные при веймарском правительстве, приводятся как примеры очевидной измены и подстрекательства. Когда об этом зайдет речь на процессе, они скорее всего и выпустят своих провокаторов, этих гестаповских экспертов по коммунизму. Сенсация века! Четыре коммунистических функционера выступают на стороне обвинения...

Тельман перелистывает акт, находит страницу с именами свидетелей, внимательно читает фамилии. От связного он уже знает, что в списке свидетелей защиты не будут фигурировать ни секретарь ЦК КПГ Ион Шеер, ни член Политбюро Рудольф Шварц. После нечеловеческих пыток эсэсовцы расстреляли их на лесной опушке близ Потсдама. Тельман знает, что гестапо пыталось заставить их подтвердить выдвинутые против него и

партии обвинения. И он хорошо понимает, *что* вынесли эти дорогие ему люди, прежде чем приняли смерть. Их имен нет в списке свидетелей защиты, нет их и в изменчивом перечне жизни...

Эсэсовцы не смогли заставить их признать подлинность сфабрикованных гестапо фальшивок. А следствие все же решилось приложить к акту эти бумажки, пропитанные кровью! Пусть же весь мир увидит эту кровь, почувствует ее запах, услышит строгий голос ее...

Он находит место — 133 страница,— где его обвиняют в преступных действиях против Веймарской республики. Так и есть, совершенно точно, здесь ссылка на документы, найденные в здании ЦК КПГ. Подумать только, даже указана дата, когда были обнаружены эти «вопиющие улики»: 15 ноября 1933 года! Это почти через девять месяцев после захвата здания ЦК нацистами. Или они думают, что у всего мира начисто отшибло память? На что они надеются? Как собираются строить процесс? Он уже однажды указал следователю на это, мягко говоря, подозрительное несовпадение в датах. Точно так же поступили и другие товарищи: Бухман, Замдтнер, Кунц. Но прокуратура прет, подобно быку с налитыми кровью глазами. Она ничего не видит и, главное, ничего не желает видеть. Тем хуже, в конце концов, для нее...

Вообще обвинение в преступлении против веймарской конституции — смехотворное. Кто, как не сами наци, угробили ее? Еще с начала двадцатых годов они скликали своих приверженцев в крестовый поход на Берлин, где засели «ноябрьские преступники». Это для них Ноябрьская революция стала проклятием и позором. Это они устраивали путчи, шатались во время войны в добровольческих корпусах по болотам Польши и Латвии, стреляли из-за угла. Теперь же наследники палачей Карла Либкнехта и Розы Люксембург, убийцы буржуазного министра Ратенау, террористы из шайки «Консул» обвиняют его,

Тельмана, в том, что он в 1923 году произносил «бунтарские речи»! Разве это не вызовет в зале смех? За десять лет до того, как могильщики республики взяли власть, он, видите ли, призывал к свержению режима. Какого режима? И кто защищает этот режим? Кто чей наследник? Они провозгласили вместо республики «третий рейх», объявив себя продолжателями Карла Великого и Бисмарка. Это официальные тезисы режима. И вот, оказывается, НСДАП выступает как законный юридический наследник Веймарской республики, чью конституцию она аннулировала!..

Он не откажет себе в удовольствии сказать по этому поводу несколько слов! Лучшую возможность разоблачить наглую фашистскую пропаганду и придумать трудно. Главный тезис — о стремлении коммунистов к государственному перевороту — он, конечно, отвергнет целиком. Стратегия Коммунистической партии искажается и фальсифицируется. Политика коммунистов — это политика широких народных масс. У коммунистов есть четкая программа. Она общеизвестна. Основная задача партии — завоевание большинства в рабочих, трудящихся массах, без него победа пролетарской революции невозможна. Такая революция — действительно конечная цель партии, которая рассматривается как историческая перспектива. Коммунисты никогда не прибегали для ее достижения к путчам, индивидуальному террору, поджогам, грабежам, налетам и другим преступным, авантюристическим действиям. Такие непозволительные средства и методы, напротив, всегда были характерны для другой партии. Примеров тому тьма...

Столь же неубедительны и так называемые доказательства «преступных злоумышлений» КПГ против нынешнего режима. КПГ — ленинская партия, а не союз заговорщиков... Четко сформулировав мысль, он делает запись:

«В феврале 1933 года в Германии не было ни непосредственной революционной ситуации, ни революционной ситуации вообще, не было также непосредственного развития и углубления революционного кризиса... Поэтому неправильно утверждать, что в конце февраля 1933 года мы намечали переворот в Германии; абсурдно говорить о вооруженном восстании и о подготовке партии к восстанию...

Итак, мы не отрицаем революцию, мы считаем ее необходимой, а также и единственной возможностью социального и национального освобождения, мы работаем для этой цели и боремся за нее. Но мы отвергаем заговор — мы исходим из объективных предпосылок (которым мы субъективно содействуем)... Исторический переворот в Германии в результате победоносной пролетарской революции мыслим только при участии миллионных масс рабочих и трудового народа.

В заключение хочу еще заметить, что наша партия энергично боролась против всех проявляющихся тенденций играть в революцию... и, пропагандистски выдвигая в повседневной политике лозунг борьбы за власть, не оставляла у масс никаких сомнений в том, что завоевание этой исторической цели в результате победы пролетарской революции возможно и мыслимо только при вполне определенных объективных предпосылках».

Он перечитал написанное и остался доволен. Сказано было точно и прямо. И это правильно, потому что с трибуны фашистского суда он будет говорить не для судей. Его слушатели — это миллионы трудящихся во всем мире, это германский рабочий класс...

И все же сомнительно, что нацистские бонзы пойдут на такой процесс. Они боятся его, они не решаются — это очевидно. Да, весь вопрос в том — пойдут ли. Даже адвокатам — двое из которых члены НСДАП — стало ясно, что обвиняющие инстанции при обосновании своего обвине-

ния окажутся в исключительно тяжелом положении...

Под давлением международного Комитета защиты[1] власти дали в газеты материал о процессе. Как будто бы теперь все пути назад отрезаны... Но надо плохо знать наци, чтобы делать такие заключения. Все человеческие понятия у них извращены, поэтому и действия их часто непредсказуемы...

Статьи о процессе подписаны верховным прокурором доктором Вернером и профессором Гриммом из Эссена. Эти господа ограничились бездоказательными обвинениями в государственном преступлении, не ссылаясь на факты. Ведь считает же доктор Геббельс, что факты — звук пустой... Поэтому не надо удивляться, если в последний момент они все переиграют.

Однако в статьях о процессе есть и весьма любопытный момент. И доктор Вернер, и профессор Гримм в один голос уверяют, что Тельману не будут чинить никаких препятствий к защите. Этому обещанию трудно поверить, потому что оно связывает руки обвинительной инстанции. Юридическое положение защиты, напротив, значительно облегчается... В большой политике, а порой и в жизни отдельного человека случается, что одна сторона слишком страстно желает ускорить процесс, другая же, напротив, боится его, провидя грядущее свое поражение. Это как раз такой, типичный для истории неправого правосудия, случай.

Тельман свертывает еще одну самокрутку и подходит к окну. Дуновение тоненькой прохладной струйки еле ощутимо. Глухо доносится в камеру гул тюремных коридоров, грохот железных лестниц и хриплый собачий лай.

...Неужели мне не суждено, думает он, пережить эту радость, этот грандиозный показательный судебный

[1]Комитет защиты Тельмана, в который вошли крупные общественные деятели мира.

процесс? Неужели наша партия, мои дорогие друзья, неужели все мы должны будем отказаться от победы, которую он, бесспорно, нам обещает?

Глава 33

Роза и Рёттер

Рёттер принял Розу в своей квартире, которая находилась в том же доме, что и его адвокатская контора. Он сам открыл ей, поскольку нарочно отпустил в этот день помощника, и пригласил в гостиную.

— Не хочу скрывать от вас, фрау Тельман: мне думается, приговор предрешен. — Рёттер покосился на телефон и, на всякий случай, накрыл его подушкой, на которой был вышит крестом сидящий на горшке кот.

— Может быть, пройдем в кухню? — спросила Роза, вставая с дивана.

— Если вы ничего не имеете против,— с учтивым жестом он пропустил ее вперед.

— Каков же он, этот предрешенный приговор? — спросила Роза, как только он закрыл кухонную дверь.

Она предчувствовала ответ. Но кафельные стены, черные конфорки газовой плиты, прикрытые вощеной бумагой банки на подоконнике — все это вдруг дрогнуло, расплылось и медленно поплыло перед глазами. Нащупав ногой табуретку, она села.

— Вам нехорошо? Дать воды?

— Нет, спасибо,— она помотала головой.— Минутная слабость. Сейчас все пройдет. Говорите же, доктор Рёттер.

— Видите ли, фрау Тельман, даже самый неправый суд не может дать вашему мужу больше пятнадцати лет.

— Пятнадцать лет!

— По юридическим нормам. И это с учетом всевоз-

можных подтасовок, фальсификаций, лжесвидетельств. При этом я имею в виду, что суд оставит без внимания все соображения защиты.

— Значит, пятнадцать лет?!

— Да. Разумеется, с зачетом предварительного заключения... Но вся беда в том, что даже такой приговор не удовлетворит власть имущих.— Он зачем-то подошел к раковине и пустил воду, но тут же закрыл кран.

— Я знаю. Они хотят его смерти,— твердо сказала Роза.— Не надо издалека, доктор Рёттер, говорите все как есть.

— Да, власти оказывают на судебные органы известное давление... Даже на адвокатуру.

— На вас тоже?

— Мне дали понять, что наверху ожидают самого сурового приговора и... слишком активная позиция адвоката не очень желательна. Более того, она может существенно отразиться на его практике и вообще на дальнейшей жизни.

— И что же вы решили, доктор Рёттер?

— Прежде всего, мне хотелось посоветоваться с вами.

— Я плохой советчик.

— Отчего же?

— Такие вопросы человек должен решать для себя сам... и, между прочим, раз и навсегда.

— Боюсь, что вы меня не совсем правильно поняли, фрау Тельман. По вопросу личной морали мне и не нужны ничьи советы. Но сейчас речь идет об интересах моего подзащитного, почему я счел себя не только вправе, но и обязанным переговорить с вами. Следственные органы оказали мне доверие. Мне дали на руки экземпляр обвинительного заключения, разрешили повидать вашего мужа и обсудить с ним наедине все самое важное. Это любезность властей. Конечно, они надеются на мой ответный жест. Вряд ли от меня ожидают прямого пособничества

прокуратуре: это было бы совершенно неуместно и не нужно. Не говоря уж о том, что ваш муж был бы вправе отказаться от подобных услуг. Насколько я понял, они хотят, чтобы я поменьше цеплялся к свидетелям, закрыл глаза на слишком очевидные шероховатости в их показаниях.

— Этого разве мало?

— В обычном процессе, фрау Тельман, в обычном... В данном случае, как я уже сказал, даже полная пассивность защиты не дает возможности ужесточить вероятный приговор в пятнадцать лет.

— Вы ищете себе оправдания? — она резко встала, но он мягким прикосновением к руке усадил ее обратно на табуретку.

— Вы опять неправильно меня понимаете. Прошу вас повременить с поспешными выводами. Моя цель дать вам полное понимание сложившейся ситуации. Выводы давайте сделаем потом... Могу я продолжать?

— Я слушаю вас, доктор Рёттер.

Вышедшее из-за облаков солнце ударило прямо в окно. В кухне сразу же сделалось жарко и душно. Роза прищурилась и чуть отклонилась в сторону.

— Позвольте, я задерну занавеску,— сказал адвокат, осторожно обходя ее сбоку.— Мне хочется, чтобы вы уяснили себе положение. Ни от меня, ни от моих коллег практически ничего не зависит. Если прокурор потребует смертной казни, суд не посчитается с мнением адвокатов. Понимаете?

— Но вы же сказали, что больше пятнадцати лет...

— Да. Но при условии хоть сколько-нибудь нормального судопроизводства. Если же, закусив удила, они пойдут на открытый произвол и беззаконие, то их уже никто не остановит.

— Это я понимаю.

— Тогда вам легко будет понять и остальное. Я жду,

что они потребуют от меня прямого соучастия в готовящемся преступлении. Соучастия в юридическом убийстве. Но самое страшное, что, невзирая ни на какие отказы или протесты, своего они добьются... Это я и имел в виду, когда сказал вам, что приговор предрешен. Простите за тяжелое известие.

— Известие страшное, доктор Рёттер, — она крепко сцепила пальцы и вся подалась вперед.

— Понимаю. Поэтому я и не скрываю от вас ничего. Я не разделяю политических воззрений вашего мужа, фрау Тельман. Более того, я считаю себя истинным патриотом Германии. Все национально мыслящие немцы готовы были на жертвы, лишь бы сбросить оковы Версальского договора. Эти жертвы во имя национального возрождения велики, но велика и цель. Правительство много сделало, чтобы смыть со страны позор... И мы должны понимать правительство, если оно руководствуется политикой общего блага вопреки интересам отдельной личности. Но как юрист я не могу не видеть всю неосновательность выдвинутых против вашего мужа обвинений. Вот и получается, что я понимаю генеральную идею правительства, которое хочет развязать себе руки, но не могу способствовать ей, поскольку она выливается в прямое убийство.— Резким движением он снял очки и зашагал по кухне.

— И как вы решили эту мудреную дилемму?

— Я становлюсь на сторону личности,— решительно и несколько раздраженно сказал он.— Не в малой степени этому способствовало общение с вашим мужем. На меня произвели неизгладимое впечатление его мужество, искренность убеждений, прямота и твердость характера. Ваш муж — крупный политический деятель. Недаром он баллотировался в президенты страны. Но несмотря на это, он остался простым, отважным, полным собственного достоинства рабочим, и больше всего он озабочен улучше-

нием положения своих товарищей по классу. Как видите, фрау Тельман, ваш муж меня распропагандировал, я повторяю его любимое выражение: «товарищи по классу».

— Он обычно говорит «братья по классу».

— Хорошо, пусть будет «братья»... Я поражен, фрау Тельман, выдержкой вашего мужа. Он не позволяет сломить себя. Даже политические противники должны его уважать.

— Спасибо, доктор Рёттер, за лестные слова о моем муже... Спасибо вам за все. По-моему, вы сделали верный выбор.

— Да, фрау Тельман, хотя это и не легко. Коммунистическая идеология мне столь же чужда, как и национал-социалистская, но я не могу — как человек и как христианин — помогать тем, кто собирается отправить под топор невиновного. Я знаю, чем мне грозит отказ от сотрудничества с обвинением, но не могу пойти против своей совести... Они даже не попытались замаскировать, что руководящая политическая линия процесса целиком продиктована гестапо. Причем же здесь, спрашивается, следователь? И, тем более, адвокат? Одним словом, мне нужен ваш совет. Что я могу сделать в этой ситуации для облегчения участи вашего мужа? — Он остановился, надел очки и несколько театрально повернулся к Розе.

— Теперь я вас, кажется, окончательно поняла, доктор Рёттер. Простите, если была к вам несправедлива... Вы правы. Если приговор, смертный приговор, предрешен, то защитник мало чем может помочь обвиняемому. Но каждый должен выполнить свой долг до конца. Это ясно. Нацисты не могут все время нагло пренебрегать общественным мнением. Чем очевиднее будет их произвол, тем труднее им будет противостоять возмущению всех честных людей. Вы говорите, что обвинительное заключение не смогло доказать виновность моего мужа?

— Да. И я готов подтвердить это где угодно.

— Не так-то это просто.

— Еще бы! Придется пожертвовать практикой, положением, имуществом... Порвать с привычной средой, налаженным бытом. Возможно, придется даже пойти на большой риск.— Он снял очки и тщательно протер их кусочком замши.

— Я не о том... Все, что вы сказали, конечно, верно, но я не о том.

— О чем же?— он удивленно посмотрел на нее.

— Вы сказали, что готовы подтвердить невиновность Тельмана перед всеми?

— Конечно.

— Так вот, этого мало. Нужно, чтобы обвинительное заключение стало известно миру, а это-то и нелегко.

— Нелегко? Это просто невозможно!

— Почему?

— Экземпляр обвиняемого находится в тюремном сейфе. Тельман получает его на два-три часа в день... Можно попытаться снять копию, но для мировой общественности нужен аутентичный экземпляр. Нацистам ведь ничего не стоит отказаться и заменить один обвинительный акт другим, что лишь отсрочит процесс, не более...

— Вы не можете поподробнее рассказать об этом акте?

— Пожалуйста. Я сделал кое-какие выписки, и, хотя это запрещено, они у меня в портфеле... Простите, я оставлю вас на минуту.

Он принес большой, крокодиловой кожи портфель с серебряной монограммой — типичный портфель преуспевающего адвоката с солидной практикой.

— Вот,— он быстро нашел нужные листки.— Ваш муж обвиняется по статье восемьдесят второй уголовного кодекса в измене и подготовке вооруженного восстания, в устных и письменных призывах к насильственной отмене веймарской конституции.

— Веймарской?

— Да. Такова ирония положения... На первых страницах дается общая характеристика обвиняемого. С третьей по восьмую страницу говорится — вам это, конечно, хорошо известно,— что Тельман принимал активное участие в профсоюзной и политической деятельности. Здесь написано, что с семнадцати лет. Это верно?

— Верно.

— Далее сказано, что он в течение многих лет был социал-демократом, потом стал коммунистом, руководил восстанием в Гамбурге и так далее... С 1925 года — председатель КПГ... Между прочим, любопытный момент. На пятой странице ему инкриминируется, что уже во время войны, цитирую: «...он не только никогда не забывал и не пренебрегал своими обязанностями революционера, но, напротив, вел неутомимую пропаганду против войны». Это, на мой взгляд, не очень патриотично, более того, преступно для немецкого солдата — я сам фронтовик, фрау Тельман, и имею право так говорить,— но речь-то ведь идет о событиях двадцатилетней давности! Таким образом, все сроки погашения давным-давно прошли... С 1918 по 1920 годы он участвовал в революционных боях. С 1924 года и вплоть до ареста был депутатом рейхстага и видным коммунистическим функционером. Далее я отметил примечательный абзац, в котором следователь, по-моему, изрядно напутал. Ваш муж обвиняется здесь в измене отечеству, которая выражалась в том, что он в октябре 1932 года приехал в Париж и там выступил против Версальского договора, вооружений, немецкого милитаризма и его захватнических устремлений. Версальский договор здесь явно неуместен... Но пойдем дальше. Страницы тринадцатая и четырнадцатая содержат убийственное для следствия признание. Там говорится, что судебный следователь обратился с просьбой к тайной полиции предоставить ему обвинительный материал вместе

с директивными — так и сказано «директивными» — указаниями. Это ни в какие ворота не лезет! Шито белыми нитками! И таких мест в акте предостаточно. Вот хотя бы страница девятнадцатая: «Большая часть документов обнаружена 15 ноября 1933 года в бывшем Доме Карла Либкнехта... Причина, по которой документы не были представлены раньше, состоит в том, что они хранились в потаенных местах, лишь случайно открытых...» Да что они — на детей рассчитывают?

— Вы все дело переписали?

— Нет. К сожалению, только первые пятьдесят страниц. Да и то это лишь беглый конспект.

— Но уже ясно, что мировая общественность должна получить этот акт. Для нацистов это станет тяжелым ударом. Им труднее будет устроить судебную комедию и приговорить мужа к смерти.

— Но как это сделать? Я же говорю вам, что ему дают дело лишь на короткое время...

— А ваш экземпляр?

— Мой?.. Но ведь и я могу пользоваться им лишь в служебном порядке. Выносить материалы из здания не полагается...

— Вас обыскивают?

— Нет... Но даже если я и вынесу, предположим, обвинительный акт в портфеле, то как мне оправдаться потом в его исчезновении? Нет, это совершенно невозможно! За такое должностное преступление меня могут казнить.

— Понимаю,— она кивнула и поднялась с табуретки.— Надо что-то придумать... Я кое с кем посоветуюсь и приду к вам завтра, доктор Рёттер, или послезавтра. Я позвоню.

— Пожалуйста, фрау Тельман. Располагайте мной. Я всегда вам рад. Мы обязательно должны что-то придумать и спасти его от эшафота... Но похитить обвинительный акт — решительно нельзя. Немыслимо.

— До свидания, доктор Рёттер.

— Всего хорошего, фрау Тельман. Позвольте, я открою вам дверь.

Обитая черным дерматином дверь бесшумно закрылась. Роза постояла немного, сосредоточенно глядя под ноги на желтые и красные плитки, рассеянно скользнула взглядом по черным готическим буквам, глубоко врезанным в позеленевшую бронзу: «Д-р Фридрих Рёттер», и стала медленно спускаться.

Срочно нужно было повидаться с Гербертом. Но в условленный день он не явился, а телефон молчал.

Глава 34

Бельгийская граница

При переходе бельгийской границы Герберта задержала французская полиция. Его допрашивали низенький толстощекий инспектор сюрте женераль и какой-то тип в штатском, судя по выправке, офицер. Герберт решил, что он контрразведчик. Очевидно, французы принимали его за крупную международную птицу, если даже военная разведка проявила к нему интерес. Впрочем, все это были только догадки. Он мог, конечно, сказать им всю правду, точнее некоторую ее часть, но что это даст? Задание будет провалено, а его, подозрительного немецкого эмигранта, все равно вышлют из страны. Кроме того, он не был уверен, что обо всем этом не станет известно в гестапо. Правда, таким образом, исключалась. Поэтому Герберт назвался швейцарским гражданином Эрихом Шенауэром, благо у него были такие документы.

— Хорошо,— сказал инспектор с румяными щечками.— Мы передадим вас швейцарским пограничникам.

— Воля ваша, — пожал плечами Герберт. — Только зачем высылать в Швейцарию человека, которому надо в Бельгию? Это не слишком логично.

— Вот как? — удивился штатский из Второго бюро.— Не потому ли, мосье, что ваши документы — великолепная липа?

— Нет, мосье, совсем по другой причине.

— Он еще позволяет себе острить,— с некоторым даже одобрением заметил штатский.

— Стреляный,— уважительно отозвался инспектор.— Только мы и не таких раскалывали. На кого работаете?

— Преимущественно на себя, мосье, и на Швейцарскую конфедерацию, которая отбирает большой процент моих доходов. Налоги, знаете ли...

— Нам известно, что вы агент гестапо,— покусывая серебряный карандашик, сказал штатский.— Советую вам во всем сознаться. С каким заданием вы были посланы во Францию?

— Любой ценой перейти франко-бельгийскую границу.

— Пошути у меня, пошути! — радостно осклабился инспектор, потирая красные волосатые руки. — Мы тоже сейчас пошутим с тобой.— Он недвусмысленно сжал кулаки.

— Что у него в портфеле? — спросил штатский.

— Доллары, франки, рейхсмарки. Всего на сумму десять тысяч франков.

— Фальшивые?

— Я бы не сказал,— ухмыльнулся инспектор.

— Это становится смешно, мосье, — Герберт махнул рукой, изобразив при этом крайнюю усталость.— Если вы хотите остаться при своем мнении, к чему тогда утомительный допрос? Если же вам интересна моя скромная особа, то, ради бога, поверьте мне. Я же готов вам все рассказать. Спрашивайте, мосье!

— У вас немецкий акцент,— констатировал штатский.

— Без сомнения,— с готовностью ответил Герберт.— Я швейцарец.

— Из Цюриха? — ехидно спросил инспектор.

— Из Цюриха.

— Но акцент у вас явно берлинский,— не отставал штатский.— Вы бывали в Берлине? — он отложил карандашик и, раскрыв какую-то папку, уткнулся в нее.

— Неоднократно! — ответил Герберт и подивился тому, насколько все же однообразны полицейские штучки.

— И были бы, наверное, не прочь попасть опять? Как вы посмотрите, если мы передадим вас немецким пограничникам? — коротышка инспектор явно не терял жизнерадостности.

— Я уже сказал вам, мосье, что предпочитаю все же бельгийских. У меня в Брюсселе дела.

— Не волнуйтесь,— подмигнул ему инспектор.— Немцам мы вас не передадим. Нам не желательно, чтобы вы ржали у себя в Берлине над дуростью французской полиции.

— Что вы, комиссар, у меня самое высокое мнение о сюрте женераль!

— Откуда вы прибыли во Францию?

— Из Швейцарии. В моем паспорте есть пометка.

— Где получали визу?

— У французского консула в Люцерне.

— Его фамилия? — включился в допрос штатский, медленно поднимая глаза от папки.

— Понятия не имею.

— Кого вы знаете во Франции?

— Очень многих.

— Фамилии?

— Все?

— Не валяй дурака. Все! — перебил его инспектор.— Кто может подтвердить, что ты действительно тот, за кого себя выдаешь?

— Мосье Виктор Леблен, нотариус. Его адрес: Париж, улица Клиши, 29.

Герберт был готов к подобному вопросу. Мосье Леблен

и существовал именно на такой крайний случай. Однако теперь, когда вопрос был задан и оба полицейских буквально впились в Герберта глазами, он помедлил и сделал вид, что раздумывает.— Я бы мог назвать вам и других столь же уважаемых лиц, но боюсь, что это может повредить моей репутации. Все-таки я солидный коммерсант.— Он улыбнулся и довольно нахально подмигнул инспектору.

— А вы, часом, не контрабандист? — спросил тот, схватывая все на лету.

— Эх, мосье. Все это, как сказал бессмертный Шекспир, слова, слова, слова... С чем вы меня взяли? С жалкой пачкой франков в портфеле? И уже — фальшивомонетчик, контрабандист! Нет, я слишком люблю прекрасную Францию, чтобы поверить в вашу искренность. Ведь вы шутите надо мной, мосье? Не так ли?

— Птицу видно по полету! — вновь восхитился инспектор.— Стреляный!

— Доллары. Рейхсмарки,— уточнил штатский.

— Подлинные доллары и подлинные марки,— возразил Герберт.

— Предположим,— уступил штатский и вдруг зевнул.

— Это свободно конвертируемая валюта, — как бы вскользь заметил Герберт.

— Для чего вам столько наличных денег?

— Мелкие дорожные расходы, — пренебрежительно махнул рукой Герберт.— Терпеть не могу аккредитивов.

— На вашем пиджаке ярлыки брюссельского портного. Вы уже бывали в Бельгии? — штатский совсем развалился. Он даже рот рукой прикрыл.

На этом-то я и погорю, похолодел Герберт, лихорадочно придумывая подходящий ответ. Старая система дала течь.

Старая система действительно дала течь. Готовясь к переходу границы, Герберт, как правило, надевал одежду,

изготовленную в той стране, куда стремился попасть. Если, конечно, у него были там сменные комплекты. Вот и теперь он собирался по приезде в Брюссель забрать в камере хранения портфель с потрепаным барахлом голландского моряка, чтобы переодеться уже в порту. Но сейчас у системы вскрылись ускользнувшие от него, но тем не менее смертельные слабости. Сейчас опережение событий, весьма уместное при успешном переходе границы, грозило ему провалом.

— Что же вы не отвечаете? — штатский, наконец, перестал зевать.

— Стараюсь не мешать вам скучать,— учтиво и чуть-чуть нагло улыбнулся Герберт.— Если Французской Республике будет угодно послать запрос по поводу Эриха Шенауэра в Брюссель, то, возможно, в ответе на него будет сказано, что оный Шенауэр больше бельгиец, чем швейцарец. Что вам от меня нужно, наконец? — он проявил явное раздражение.— Я дал вам адрес для справок в Париже, могу дать аналогичные адреса в Лионе, Марселе, Бордо или Перпиньяне.— Он остановился, потому что явно хватил через край.— Если же вас больше интересуют ярлыки на моем пиджаке или метки на кальсонах, то к вашим услугам самые именитые граждане Брюсселя и Льежа. Можете справиться обо мне в Швейцарии. Чего вы хотите, наконец?

— Швейцарское посольство о вас знает?

— Не думаю. Я не обращался в посольство. Не ожидал, простите, что мне это может понадобиться. Но как швейцарский гражданин я даже настаиваю теперь на встрече с консулом. Могу ли я сказать ему, в чем меня обвиняют?

— Благородное негодование разыгрывает,— инспектор сморщил нос и, хитро поблескивая черными масляпистыми глазками, спросил: — Немцы тоже могут дать вам блестящие аттестации?

— Не ручаюсь,— покачал головой Герберт.— Там, знаете ли, все с ума посходили. Нормальному человеку, вольнолюбивому европейцу стало трудненько... Но, я вижу, у вас начинается та же болезнь.

— Вы про что это? — брезгливо осведомился штатский.

— Про наше с вами приятное времяпрепровождение. Никогда, знаете ли, не встречал затруднений со стороны полиции.

— Глядя на вас, я бы этого не сказал,— усмехнулся инспектор.— У вас все задатки международного афериста.

— В самом деле? — Герберт выказал преувеличенное удивление.— Вот уж не думал. Ну и глаз у вас, инспектор: что ни выстрел, то наповал! Сначала шпион, теперь — аферист.— Он уже успокоился по поводу этих проклятых брюссельских меток. Допрос шел теперь по нужной колее. На их запрос из Парижа ответят, что мосье Шенауэр, хотя и замешан в биржевых спекуляциях и хорошо известен в игорных домах, является личностью вполне благонадежной. И этим он будет обязан королю рулетки!

Какой неожиданный поворот, подумал Герберт. Как нельзя зарекаться и с тупым видом твердить избитые истины, годные только для благонравных буржуйских сынков.

— Ладно, Шенауэр! — комиссар раскурил остывший с краю пепельницы огрызок сигары.— Будь спокоен, мы все проверим. И плохо тебе будет, если ты соврал. Ой, плохо...

Тип в штатском только шмыгнул носом и молча вышел из комнаты.

— Скажите, комиссар,— осведомился Герберт.— У вас обычно кормят арестованных?

— Вам принесут обед, я распоряжусь. Если хотите, можете заказать что-нибудь в ресторане, разумеется за свой счет.

— Могу я рассчитывать на мои деньги?

— Разумеется. Мы оплатим ваши расходы из конфискованной суммы.

— Конфискованной?

— Подпавшей под арест,— поправился комиссар.— Играете на нашем демократизме? В Германии, небось, с вами так бы не церемонились.

— Конечно. Именно по этой причине я и порвал всякие связи с Германией. Этот их фюрер мне не очень-то симпатичен, комиссар... А что за кухня в вашем ресторане?

— Вполне приличная. Сегодня у них заяц с краснокочанной капустой и матлот из угрей.

— А вина?

— Рекомендую взять божоле.

— Обязательно спрошу полбутылки. Не согласитесь ли отобедать вместе?

— Нет. Благодарю вас.

— А после окончательного выяснения моей личности и полного восстановления невиновности?

— Там видно будет,— и он вызвал двух жандармов — отвести Герберта обратно в караулку.

— Закуривайте, мосье Шенауэр,— предложил на прощание комиссар и протянул Герберту золотистую полированную сигаретницу.

— А, отпечатки пальцев! — лениво потянулся Герберт.— Это можно.— И добросовестно прижал пятерню к металлическому зеркалу.

«Вот я и засветился!» — подумал он.

Глава 35

Совещание в министерстве юстиции

Секретное совещание о подготовке показательного процесса над транспортным рабочим и бывшим депутатом рейхстага от запрещенной ныне Ком-

мунистической партии Эрнстом Тельманом близилось к концу. На заключительном заседании, состоявшемся в конференц-зале министерства юстиции, председательствовал министериаль-директор Кроне.

Кроне: А сейчас, господа, я считаю целесообразным выслушать компетентное мнение представителя прокуратуры. Мы должны отдавать себе полный отчет в реальных возможностях того или иного государственного института. Отбросив в сторону эмоции, которые могут лишь повредить делу, нам надлежит установить истинную картину того, что происходит и, главное, может произойти. Как показал обмен мнениями, нам вряд ли удастся прийти к единогласию. Но это, полагаю, отнюдь не обязательно. Конечные выводы будут делать лица, наделенные большей властью и, следовательно, обладающие бо́льшим кругозором. Нашу же задачу я вижу в том, чтобы дать всестороннее освещение проблемы и, быть может, выработать некоторые рекомендации. Все это, надеюсь, облегчит принятие ответственного решения. Прошу вас, господин доктор Бриннер, ознакомить участников совещания с юридическим аспектом вопроса.

Бриннер: Господин министериаль-директор, господа! Я уже имел честь сообщить вам, что следствие по делу Тельмана было закончено еще 28 декабря 1934 года. С обвинительным актом вы знакомы, поэтому я ограничусь комментариями о возможном исходе процесса. Как вам известно, господа, Тельману инкриминируются преступления, предусмотренные параграфами 83, 85, 73 имперского свода законов. Максимальное наказание по этим статьям не превышает пятнадцати лет тюремного заключения. И это наилучший исход. Мы не можем не учитывать, что защита противопоставит требованию прокурора свои контрдоводы. Таким образом, вполне вероятно, что Тельман отделается лишь несколькими годами лишения свободы. Если учесть еще и зачет предварительного

заключения, то воспитательная и пропагандистская сила такого приговора будет равна нулю. Я представляю себе момент, когда судья объявляет приговор, из которого явствует, что государственному преступнику Тельману остается провести в тюрьме еще каких-нибудь пять — семь лет, после чего он выйдет на свободу... Я разделяю ваше возмущение, господа, такой приговор был бы равнозначен победе Тельмана. Но я вынужден заявить с этой высокой трибуны, что применить смертную казнь или же пожизненное заключение в данном случае юридически невозможно. Улики, которыми располагает обвинение, заключаются преимущественно в печатных статьях и стенографических дубликатах выступлений обвиняемого. Таковы факты, мы обязаны смотреть им в глаза. Какие будут вопросы, господа?

Зиберт (от государственной тайной полиции): В какие сроки может быть проведен процесс?

Бриннер: Процесс можно начать через восемь недель после передачи обвинительного заключения в народный суд. Слушание дела вряд ли займет более двух недель.

Зиберт: Итого, будем считать, три месяца... Как это отразится на международной обстановке, которая к тому времени сложится?

Кроне: Как вы полагаете, доктор Гизевиус?

Гизевиус (от министерства внутренних дел): Я внимательно выслушал все мнения, господа, и постепенно пришел к заключению, что от процесса следует отказаться. Особенно убедило меня в этом лаконичное и четкое выступление коллеги Бриннера. Прокуратура проделала титаническую работу и ждет естественного ее завершения. Но что это нам обещает? Вы сами слышали, господа: несколько лет заключения. Озабоченность штурмбанфюрера Зиберта совершенно оправданна. Пять лет тюрьмы для Тельмана не окупят весьма реальных осложнений

внешнеполитического и внутреннего характера. На суде вряд ли удастся вскрыть во всей их отвратительной полноте факты подрывной деятельности коммунистов. Более того, может поколебаться мнение о коммунистической опасности, если даже коммунистический лидер отделается пятнадцатью годами. С действительной опасностью разве борются столь либеральными методами? Левые зарубежные круги, безусловно, используют суд для антигерманской пропаганды. Процесс вызовет недовольство не только за рубежом, но и внутри страны, где Тельман еще достаточно популярен среди части рабочих.

Зиберт: Среди ничтожной части!

Гизевиус: Согласен: среди незначительной части. Но мягкий приговор, я уверен, эту незначительную часть увеличит. Люди будут недоумевать: «Неужели это все, что инкриминируется председателю КПГ?»

Зиберт: Это говорит не о том, что не нужен процесс, а лишь о том, что непедагогичен мягкий приговор.

Гизевиус: Позволю себе не согласиться с господином Зибертом. Смертный приговор был бы здесь совершенно неуместен. Коммунисты только и ждут, чтобы зачислить своего лидера в разряд мучеников. Мученики опасны, господа. Избавьте нас от страстей по Тельману! С точки зрения министерства внутренних дел, существуют иные, более приемлемые возможности обезвредить Тельмана. Если называть вещи своими именами, то я могу сказать, что нам не следует подыгрывать противнику. Даже наши враги за границей понимают, что Новая Германия не может позволить себе освободить лидера коммунистов. Смею уверить вас, господа, от нас этого и не ждут. Не будем же дарить им этот процесс в качестве пасхального гостинца.

Кроне: Что думает по этому поводу министерство пропаганды?

Байде (от министерства пропаганды): Вопрос о Тельмане — сложный вопрос. Это дело первостатейной государственной важности. Министериаль-директор Кроне прав, говоря, что мы должны лишь облегчить принятие решения на более высоком уровне. Для вас, господа, не секрет, что окончательное решение примет сам фюрер. Что касается меня, то я целиком согласен с господином Бриннером.

Хеллер (от государственной тайной полиции): Я разделяю мнение господина Гизевиуса. За границей проявляют слишком большой интерес ко всему, что касается лидера КПГ. Процесс над ним только даст лишний повод еврейско-марксистской пропаганде развернуть очередную ожесточенную кампанию против нас. Если юристы не могут обещать нам благоприятное для дела национал-социализма решение, то мы просто обязаны изыскать другие методы обезвредить Тельмана.

Зиберт: Было бы целесообразно передать Тельмана в одно из воспитательных учреждений СС.

Байде: Мнение это ваше личное, штурмбанфюрер, или же всей тайной полиции? Что думает штандартенфюрер Хеллер?

Хеллер: Это можно было бы рассмотреть, как один из методов, о которых я говорил.

Кроне: Какие будут предложения, господа?

Таубер (от министерства пропаганды): Я стою за немедленное проведение процесса.

Диверге (от министерства иностранных дел): Я тоже. Затягивание только сыграло бы на руку врагам рейха.

Кроне: Если я вас правильно понял, господин Диверге, то министерство иностранных дел считает, что отсрочка процесса больше вредит внешнеполитическим интересам страны, чем его проведение?

Диверге: Да, я так считаю.



Фон Бюлов-Шванте (министерство иностранных дел): Поймите, господа, бесконечное откладывание процесса дает возможность крупным иностранным юристам и авторитетным органам печати, с которыми мы не можем не считаться, лишний раз выступить против нас. Но надо подумать и о том, что этот процесс нам даст. Дело Тельмана, мне кажется, следует разобрать без особого шума. Доктор Бриннер говорил здесь о возможных демаршах защиты. Это обязательно?

Грубер (от прокуратуры): С защитой нами была проведена определенная работа. Строго конфиденциально могу сообщить, что официальному защитнику Рёттеру было даже дано поручение выяснить, как будет реагировать Тельман, если в ходе процесса представители защиты, так сказать, отойдут от привычных функций.

Зиберт: Вот это мы должны приветствовать.

Грубер: К сожалению, в условиях открытой судебной процедуры подобные мероприятия весьма затруднены, но мы делаем все возможное, чтобы направить процесс в единственно необходимое русло.

Зиберт: Стоит ли игра свеч, если прокурор не может потребовать свыше пятнадцати лет.

Фон Бюлов-Шванте: Картина ясна, господа. Процесс обещает нам массу неприятных осложнений. Нужно учесть еще, что, если из-за границы будут приглашены свидетели обвинения, придется дать слово и свидетелям защиты. В итоге нам придется столкнуться с чудовищным разбуханием горы судебных материалов, как это случилось на процессе о поджоге рейхстага. Беглое знакомство с обвинительным актом убеждает меня в том, что вновь повторяется старая ошибка. Свидетели — самое слабое место в следственных материалах. Все эти соображения, господа, вынуждают меня присоединиться к тем из вас, кто стоит за разработку иных, внепроцессуальных мер пресечения. Но они должны последовать немедленно, эти

меры, если мы не хотим умножить тот ущерб, который ежедневно наносит нам враждебная пропаганда.

Кроне: По этому вопросу я попрошу выступить личного представителя группенфюрера Гейдриха господина Эрхардта.

Эрхардт (от секретной службы): Я с интересом выслушал здесь мнение представителя министерства пропаганды. Не скрою, оно несказанно удивило меня. Не далее как вчера я имел честь присутствовать на одном специальном мероприятии, где, в числе других вождей нации, выступал и министр пропаганды рейхслейтер Геббельс. Он сказал, в частности, что считает процесс против Тельмана в данный момент неуместным. Относительно же обвинительного акта рейхслейтер заявил, что документ не обладает пропагандистской ценностью. И это в то время, господа, когда враги обрушивают на нас потоки враждебной пропаганды. Разрешите кратко охарактеризовать положение. Только за последние шесть недель в Берлин прибыли из-за границы одиннадцать делегаций. Они требуют немедленного освобождения Тельмана. Протесты против затягивания процесса поступают ежедневно. В развязанную коммунистами кампанию втянуты сотни тысяч рабочих, ученые, юристы, пацифистские круги. Наши дипломатические представительства завалены петициями. В адрес заключенного Тельмана прибывают и прибывают пачки писем, телеграмм, продуктовых посылок. Эта пропагандистская волна достигла особой силы, когда в иностранной печати появились ложные измышления о том, что Тельмана якобы подвергали пыткам.

Байде: Нужно привлечь к суду газету, которая первой напечатала эту наглую ложь.

Эрхардт: Это едва ли возможно. Слух о «страшных гестаповских пытках» пустил сам Тельман. К нему допустили рабочую делегацию из Саарской области. На вопрос о том, как он себя чувствует, Тельман выкрикнул:

«Меня избивали!» Когда же охрана, надо прямо сказать, не совсем ловко попыталась замять инцидент, Тельман стал кричать еще громче и застучал кулаками по решетке: «Да, да, они меня избивали и будут избивать!» Можно лишь сожалеть, что даже солидные агентства прессы подхватили эту заведомую ложь. Как видите, господа, наши враги не брезгают ничем. Мне думается, вам будет небезынтересно ознакомиться с некоторыми высказываниями враждебной печати. Они помогут вам представить себе, как будет встречен за границей и сам процесс. Вот хотя бы выдержка из английской «Ньюс кроникл»: «Неслыханным фактом в деле Тельмана является не только длительное тюремное заключение без судебного приговора, но и низкопробная, наглая ложь, с помощью которой пытаются оправдать эту несправедливость...» Я пропускаю отвратительный выпад в адрес нашего фюрера и читаю дальше: «...знают наперед: за судебным разбирательством дела Тельмана на всех его стадиях весь мир будет следить с величайшим интересом и огромным вниманием. Ибо перед глазами всего человечества не только Тельман будет находиться перед судом».

И это, господа, «Ньюс кроникл», газета, далекая от коммунизма! Но в своей злобной ненависти к национал-социалистской революции плутократы смыкаются с красными. К сожалению, эта статья довольно точно выражает общественное мнение за рубежом, дезориентированное мнение слепых или же оглупленных людей. Так дальше продолжаться не может. Пора положить конец всему этому шуму. Довольно гнусных инсинуаций, хватит драматизировать положение и раздувать непомерно жалкую фигурку того, кто ныне является всего лишь политическим трупом. Я согласен, господа, с прозвучавшими сегодня требованиями положить всему этому конец. И если процесс над Тельманом не принесет нам ничего, кроме вреда, остается только одно: испробовать другие меры.

Наиболее конкретно их сформулировал штурмбанфюрер Зиберт. Почему бы нашим доблестным СС и не прийти в трудную минуту на помощь правосудию?.. У меня все.

Кроне: Благодарю вас, господин Эрхардт. Мы, безусловно, учтем ваше пожелание при разработке итогового документа. В заключение хочу поблагодарить вас всех, господа, за творческий и конструктивный подход. Напоминаю, что все здесь сказанное не подлежит разглашению. Особо обращаю ваше внимание на обвинительный акт. Здесь следует соблюдать строжайшую секретность. Появление во враждебной печати каких-либо сведений о нем могло бы серьезно повредить проведению процесса, а в случае отмены последнего, и престижу Новой Германии. Еще раз благодарю вас, господа. Завтра, когда будут готовы стенограммы, нам надлежит встретиться снова.

Глава 36

Подготовка побега

Когда Макс вышел из подземки, повалил снег. Небо сразу потемнело. Бело-сизый налет тронул голые ветки деревьев, тротуары и провода. Черные, запорошенные снегом фигуры брели мимо освещенных витрин, печатая оттиски рифленых подошв. Но липучий снег неутомимо замазывал их. Вскоре все оттенки исчезли, очертания расплылись, и пешеходы убеленного города под слепым небом растворились в косо летящем снеге, подобно тому как исчезла в нем неподвижная торговка горячими сосисками и булочками. Но тут зажглись мутные фонари, и Курфюрстендамм совершенно переменилась. Снежинки неистово обрушились на огонь, словно стаи ночных бабочек, а фигуры людей обозначились, как на негативе.

И первый, кого Макс увидел в этой проявленной толпе, был Шу-Бой.

— Привет, старый бродяга! — Макс протянул ему обе руки.

Шу-Бой остановился, прищурился, но тут же радостно заулыбался и стащил с руки перчатку.

— Как хорошо, что ты жив! — тихо сказал он, и они зашагали рядом.

— Я слышал, что тебя освободили,— сказал Макс.— Но никак не ожидал увидеть тебя здесь. Ты же вроде уехал куда-то?

— Уехал! — усмехнулся Шу-Бой.

Выйдя из лагеря, он действительно уехал в Варнемюнде. Так уходит от облавы подраненный волк, чтобы в дальнем лесу зализать свои раны и собраться с силами. И в глазах его окровавленный снег, на котором корчатся и судорожно вытягивают лапы его собратья... Вместе с ним эсэсовцы схватили в редакции на Шнеллингштрассе Андриена Туреля и Генри Эрлангера. Но Турель был швейцарский гражданин, и его выпустили, а он с Генри так и остался в подвале «дикого» концлагеря на окраине Берлина. Очнувшись, он увидел, что лежит на черно-красно-золотых знаменах республики. Символика! Кладбищенский юмор СС... Потом их вывели во двор и прогнали сквозь строй. Били плетьми, в которые был вделан свинец. Его трижды провели этим живым коридором. И когда, ослепленного и окровавленного, его бросили на асфальт, он встал на четвереньки, выпрямился и, шатаясь, побрел назад, чтобы самому еще раз пройти через это. Что он хотел доказать этим? И кому?.. А хрупкий Генри не выдержал. Он умер, не приходя в сознание...

— Ты чего? — осторожно спросил Макс.

— Так... Кое-что вспомнилось. Как тебе удалось уцелеть?

— Ушел,— усмехнулся Макс.

— И как?

— Как видишь. Хожу но городу. Расскажи мне про себя. Я же совсем потерял тебя из виду. Чем ты жил эти годы?

— Я все тот же.

— В этом я и не сомневался... А внешне ты здорово изменился.

— Вся морда в рубцах, ухо оторвано... Красота! — усмехнулся Шу-Бой.

— Не беда. Зато тебя труднее будет узнать.

— Ты же узнал.

— Я узнал.

— Мне трудно жить.— Шу-Бой сунул руки в карманы пальто и чуть сгорбился.— Тошно. Но я жду. Свою ненависть я положил на лед... Хорошо, что встретил тебя. Я и стремился в Берлин только за тем, чтобы найти своих. Но это оказалось не так просто.

— Понимаю. Где ты теперь обитаешь?

— В одной конторе на Николазее... Мне нужно было немножко отлежаться, прийти в себя. И знаешь, что я надумал? Где решил найти спокойный угол? В военном ведомстве! Лучшего места в сегодняшней Германии не сыскать! По крайней мере там меньше соглядатаев, чем где бы то ни было.

— Боюсь, что ты заблуждаешься.

— Во всяком случае, они не так наглы.

— Это может быть. Послушай, ты сознательно не называешь меня по имени?

— Сознательно.— Шу-Бой придержал Макса за локоть.— Я готовлюсь с того самого дня, как на моих руках умер Генри.

— Можешь звать меня Максом.

— Хорошо. Я пока не делаю ничего такого, что требовало бы конспирации. И вообще, не с моими особыми приметами жить под чужим именем. У меня другой план...

Мне кажется, нужно забраться в недра системы и скрытно действовать изнутри.

— Куда же тебе удалось пробраться?

— Я подался в авиацию, под крыло к Герингу.

— Ого!

— Но не думай, что все шло гладко.

— Гладко ничего не бывает.

— Примерно год я учился на морского разведчика в летной школе в Варнемюнде. Там было очень трудно и одиноко. Камрады частенько устраивали мне веселую жизнь. Начальство тоже не больно-то жаловало. Я не удивился, когда меня провалили на выпускных экзаменах по высшему пилотажу. Но после «дикого» концлагеря все это солома. Я решил подобраться с другой стороны, благо в моей почтенной семье позаботились обучить меня пяти иностранным языкам. Русский я выучил сам. Меня взяли переводчиком в люфтваффе, но лишь в заштатное подразделение в Шлезвиге. Что и говорить, анкета у меня не из лучших...

— Там ты и торчишь до сих пор?

— Нет. В последнее время бурно пошел на повышение.

— Оценили в тебе полиглота?

— Держи карман шире. В нашем милом отечестве все строится только на личных связях. Помогли высокопоставленные родственники,— криво улыбнулся Шу-Бой.

— И это неплохо.— Макс хлопнул его по плечу.— Дай бог им здоровья, все-таки они тебя однажды вырвали из лап СС.

— Дважды.

— Что?! Тебя разве еще раз сцапали? Этого я не знал.

— Да. Не успели освободить, как тут же взяли опять. Но ничего, как-то уладилось...

— Досталось тебе... Ну, рассказывай же! Прости, что перебил.

— На этот раз мне помогли связи жены.

— Ты женат?!

— Да. И моим брачным свидетелем был Герман Геринг.

Макс присвистнул и покачал головой.

— Как тебе удалось?

— Совершенно случайно,— смущенно вздохнул Шу-Бой.— Мы с тобой дружим с юности, и, поверь мне, все сложилось, как говорят, по воле судьбы... Прошлым летом я познакомился с Либс...

— Либс? Кто это?

— Либертас Хаас-Хейе. Ныне Либертас Шульце-Бойзен. Она журналистка и пишет отличные стихи. Кроме того, она внучка князя Филиппа цу Ойленбург унд Хертефельд...

— Я всегда восхищался тобой. Ты удивительный человек!

— Ничего ты не понимаешь,— отмахнулся Шу-Бой.— Я узнал, что Либс княжеская внучка, когда мы уже твердо решили пожениться. Вот так! Она смертной ненавистью ненавидит нацизм и... Одним словом, можешь мне поверить, это настоящий товарищ. Между прочим, ее отец заведовал раньше той самой школой прикладного искусства на Принц-Альбрехтштрассе, где Геринг оборудовал теперь камеру пыток. Можешь представить себе, как это способствовало симпатиям профессора Хаас-Хейе к режиму.

— Знакомство с Герингом на этой почве? — улыбнулся Макс.

— Нет,— Шу-Бой рассмеялся.— Профессор никакого отношения к Герингу не имеет. Зато его хорошо знает мать Либс, графиня Тора. Она давно в разводе и живет в княжеском имении в Либенберге, что по соседству с геринговским Каринхалле. Поэтому Геринг частенько наезжает в Либенберг послушать ее пение.

— Сложная цель.

— Конечно. Но это не помешало ей сработать. По протекции Геринга меня зачислили в группу заграничной прессы рейхсминистерства гражданской авиации. Пост хотя и невысокий, но перспективный. Мы занимаемся вражескими ВВС.

— Любопытно. И кто же потенциальный противник?

— Польша, Англия, Россия, Франция... Весь мир. Война неминуема, и, знаешь, чем скорее, тем лучше. Это будет крах режима, не сомневаюсь. Мы идем к катастрофе.

— Слушай, Шу-Бой, я спрошу тебя прямо: что ты уже сделал? Ведь я тебя знаю, не такой ты парень, чтобы сидеть сложа руки!

— Что я сделал? Проявил невиданное рвение по службе. Записался на курсы офицеров запаса. По вечерам зубрю военную и политическую литературу.

— Один?

— Нет, со мной Либс. Зайди к нам как-нибудь.

— Охотно. Куда и когда?

— Вайцштрассе, 2. В следующую среду вечерком... Возможно, будет еще кое-кто.

— Так я и подумал. До встречи.

Они расстались на перекрестке. Макс прибавил шагу, чтобы не опоздать на встречу с Гербертом. Связной наконец-то прибыл в Берлин, ровно на одиннадцать суток позже контрольного срока. Его уже перестали ждать и три дня назад уведомили парижский центр.

Встреча с Шу-Боем его очень обрадовала. Макс понял, что старый друг затевает большое дело. Надо обязательно доложить руководству о разговоре с Шу-Боем...

Сильный снегопад мешал вовремя заметить слежку, но шпикам он тоже работу не облегчал. Поэтому Макс, вскочив в первый попавшийся автобус, проехал только две остановки и, не оглядываясь, поспешил затеряться в

подворотнях. Теперь, если и была слежка, он наверняка оторвался.

У зеленной лавки на Гогенцоллерндамм он огляделся. Улица казалась пустынной. Снег залеплял покачивающиеся на ветру фонари. Макс подумал, что в Берлине давно не было такого снегопада. Перейдя на другую сторону улицы, он остановился у мрачного пятиэтажного дома и посмотрел вверх. Глаза слепило, и он никак не мог разглядеть, открыта ли форточка в крайнем верхнем окне. Он приставил к глазам руки на манер бинокля, но мокрые холодные хлопья по-прежнему часто и косо летели вниз, мешая видеть.

«Вот на таких-то мелочах и заваливаются,— подумал Макс.— Как все надо тысячу раз продумывать».

Он вошел в подъезд, отряхнул снег и начал медленно подниматься, задерживаясь почти на каждой ступеньке. Все было тихо. Из какой-то квартиры аппетитно пахло ванилью: видимо, пекли праздничный пирог.

Герберт уже ожидал его. Они бросились друг к другу, молча обнялись и постояли так с минуту.

— Смотри, как с меня натекло, — покачал головой Макс, разглядывая мокрые следы на полу.

— Ерунда, чего там...— махнул рукой Герберт.— Проходи в комнату. Хочешь кофе?

— А чего-нибудь выпить найдется?

— Ром.

— Вот и отлично, гони ром... Ну, что там у тебя приключилось?

— Засветился я, Макс, вот в чем дело.

— Где?

— На бельгийской границе... Пойдем со мной на кухню. Пока сварится кофе, я тебе все расскажу.

Герберт зажег газ, поставил кофейник и, пока он закипал, коротко поведал, что случилось с ним на границе.

— Конечно, вся эта липовая проверка их ни в коей

мере не удовлетворила,— сказал он, наполняя чашки.— Но они, видимо, поняли, что я не тот, за кем стóит охотиться. Кто их знает, может, они и в самом деле ловили гестаповского агента? Одним словом, не знаю... Ну, отвели меня на границу и передали бельгийцам, а те, видимо, почуяли, что тут не совсем чисто, и уперлись. Не хотят пропустить, и все. Хоть плач! Требуют визу. Это у швейцарского-то гражданина, путешествующего по Франции. Я, конечно, мог бы заупрямиться, потребовать консула и все такое...— он грустно улыбнулся.— Но, сам понимаешь, не в моих это было интересах. Махнул я на все рукой и решил: пусть делают со мной что хотят. Ночью они отвели меня подальше от контрольно-пропускного пункта и велели идти назад во Францию. Ну, я и перебежал назад. Дело нехитрое. Переждал некоторое время, пока все успокоится, и тихонько подался опять в Бельгию, но не тут-то было. Они меня ждали. Видимо, эти сволочи привыкли издеваться над беспаспортными немецкими беженцами, которых гоняют по всей Европе... Да, в общем, сцапали меня бельгийцы и тут же поставили ультиматум: либо два месяца тюрьмы с последующей высылкой за нелегальный переход границы, либо я снова немедленно уберусь обратно. Я выбрал Францию, хотя после конфликта с сюрте меня там ничего хорошего не ждало... Одним словом, в Бельгию я попал только на четвертые сутки. Поскольку моя репутация уже была несколько подмочена, пришлось и там затаиться денька на два, чтобы не влопаться еще раз. А потом все пошло, как в кино. У голландцев забастовка. Не желают портовики грузить идущие в Германию суда — и баста. «Свободу Тельману!» Представляешь себе ситуацию? Не станешь же кричать с бочки: «Братцы! Я курьер товарища Тельмана! Загрузите только для одного меня «Принца Оранского», мне на нем в Гамбург надо». Я бы, конечно, мог, только гестапо меня бы так встретило в гамбургском порту, что не обра-

дуешься... Вот, собственно, и все мои злоключения... Самое печальное то, что я засветился.

— Да. Радоваться тут нечему. Не хватало в сюрте только твоей визитной карточки. Малейшее осложнение на французской границе — и ты окончательно влип. Придется переменить тебе штаб-квартиру. Будешь работать в пражском центре.

— Я еще не все тебе рассказал, Макс.— Герберт закурил, так и не притронувшись к своему кофе.— В Берлине у меня тоже вышла накладка. Боюсь, что провалилась квартира в Панкове.

— Не может быть? Откуда ты знаешь? Ты же приехал только утром?

— Утром-то оно утром, но кашу заварил я давно. И тут, Макс, я кругом виноват. Только я один и никто больше. Помнишь, я сообщил вам о своей встрече с профессором Хорстом и просил собрать о нем сведения?

— Конечно. Они были самые благоприятные.

— Так вот, я опять случайно встретился с ним в гамбургском поезде и узнал, что за ним приходили. Вообще это долгая история, в которой нет ничего, кроме лирики. Не стану объясняться, почему да отчего, только я решил, вернувшись с задания, попросить тебя переправить его.

— Ты поселил его в Панкове?

— Да, на свой страх и риск.

— Почему никого не предупредил?

— Не успел. Просто не успел. К тому же я знал, что в эти несколько дней квартира никому не понадобится. Не думал же, что так задержусь.

— Собственно, квартира все равно никому не понадобилась. Что там произошло?

— Дав тебе знать, что приехал, я сразу же поспешил в Панков. Было рано, и в окнах горел свет. Я сразу заметил, что верхнее окно освещено, и забеспокоился. С профессором мы твердо уговорились зажигать свет только

при зашторенных окнах. Что же случилось? Академическая рассеянность или нечто похуже? Решил выяснить. Поднялся на верхнюю площадку, отпер на всякий случай дверь на чердак и приготовился ждать. Проторчал часа три, потом слышу: кто-то поднимается на наш этаж. Я перевесился через перила и смотрю.

— Рискованно.

— А что делать? Выяснить же необходимо! И ничем я особенно не рисковал. Дверь на чердак открыта, и, в случае чего, они бы меня не поймали. Зато я убедился, что квартира провалена. Какой-то тип в охотничьей шляпе с пучком оленьей шерсти и кожаном пальто постучал в нашу дверь. Три раза с небольшими промежутками. Видимо, стук условный. Ему сразу же открыли, и он вошел. Лиц я не разглядел, но все и так предельно ясно. Хотел было уже спускаться, как дверь открылась. Я опять свесился и увидел того, в шляпе, причем в лицо. Рыжий, лет сорока, на левой ноздре вишневая, точно кровью налитая бородавка... Не знаешь такого? На всякий случай спрашиваю. Не из наших ли?

— На ноздре бородавка? Нет, такого не знаю. И вообще, кроме Эрвина и нас с тобой, о Панкове никто не знает. Так-то...

— Понятно. Да я и не надеялся на чудо... Значит, все ясно. Я провалил Панков.

— Да... Квартиру жаль. Но это не самое страшное. Хуже всего, что тебя придется убрать с моста связи. А замену тебе найти нелегко.

— Я все понимаю, Макс.— Герберт развел руками.— Но будем смотреть истине в лицо.

— А что нам еще остается? Твой профессор видел тебя в Париже, для гестапо этого вполне достаточно. Не забудь, он знает тебя и, конечно, сумеет описать. Плюс к этому твой последний инцидент.— Макс прищелкнул в досаде пальцами. — Как ни крути, ничего не получится. Как

заграничный курьер ты провален. Хорошо еще, что Политбюро в свое время приказало нам расширить каналы связи...

— Я знаю. Товарищ Вальтер и мне сказал, что мост следует укрепить.

— Конечно! Теперь, когда готовится партконференция в Брюсселе, бесперебойная связь с Тедди особенно нужна... Как ты думаешь, Эдвин справится?

— Не сомневаюсь! Я его еще поднатаскаю... Кромо того, в экстренных случаях можно же и меня послать. Не следует так уж преувеличивать...

— Преуменьшать тоже не следует. Но об этом мы еще поговорим. Теперь давай займемся операцией. Что сказал Центр? У нас все готово.

— План в принципе одобрен. Сейчас я тебе все изложу. Меня возьмешь, Макс?

— Ни в коем случае. Ты был и остаешься курьером Тедди. Он тебя знает, и в тюрьме тебя тоже хорошо знают... Выводы делай сам. Кроме того, у тебя налажена связь с Марией. Это очень важно. Одним словом, по-прежнему будешь связным между нами и Тедди, но на внутренних линиях... А за Панков мы с тебя еще спросим.

— Понимаю, Макс.

— Давай теперь о деле. Конспиративная квартира в Польше готова?

— Да. Пражский центр все обеспечил. Москва тоже предупреждена. Димитров в курсе всех наших действий.

— День?

— Назначаете вы.

— Прекрасно. У нас тоже все пока идет по плану. Машины, эсэсовские мундиры, оружие давно подготовлены.

— Пропуска? Документы? Это больше всего беспокоит Центр.

— Ну, не тебе объяснять, Герберт, как тут обстоят

дела. Завербовать Гейдриха нам еще не удалось. Но бумаги, в общем, хорошие.

— Центр предлагает небольшую поправку к плану. Что, если взять две машины? Одна пойдет в тюрьму, а другая останется для прикрытия. В случае погони она попытается сбить преследователей.

— Мы об этом думали, Герберт. Но не сделать бы хуже: курсирующая возле Моабита гестаповская машина может заинтересовать настоящее гестапо, и тогда нам придется плохо.

— Не уверен, Макс, не уверен. Если все пройдет, как задумано, и вам быстро выдадут Тедди, вторая машина сможет отвлечь внимание. Учти, они быстро догадаются, что вы везете его не в централ на Принц-Альбрехтштрассе. Погоня неминуема. Даже если все пройдет идеально, через тридцать минут максимум по городу будет объявлена тревога.

— Этого нам хватит. Мы провели хронометраж. Чтобы надежно укрыть Тедди, нам достаточно четырнадцати минут.

— Хорошо, если они у вас будут. Возможны самые непредвиденные осложнения, Макс.

— Видишь ли, Герберт, если бы в нашем плане не было риска, не о чем было бы и разговаривать. Тедди давно бы уже гулял на свободе. Но мы как могли сократили риск. Нам нужно всего четырнадцать минут.

— А знаешь что? Пошлите вторую машину ровно через четырнадцать минут!

— Это, пожалуй, мысль.— Макс влил остатки рома в остывший кофе и выпил.— В случае удачи она сможет прикрыть Тедди... Если же ребята окажутся в мышеловке, она поможет им вырваться. Хорошая мысль! Передай, что мы принимаем такой вариант. Что еще?

— Все. У Центра есть только один вопрос: ты знаешь всех, кто примет участие в операции?

— Конечно. Кроме, разумеется, наблюдателей.
— Наблюдателей?
— Мы решили по всей трассе расставить своих людей — по два человека на километр, конечно вооруженных. Некоторые тоже будут в эсэсовских мундирах на случай каких-либо осложнений.
— Кто именно будет? Ты не знаешь?
— Некоторых знаю. Охрана трассы возложена на группы Гельмута и Валентина. Понятно, что каждого из ребят в лицо я не знаю, но...
— Понятно. Остается только назначить день и оповестить Центр. Он желает вам большой удачи... А сейчас, если ты не против, я пойду и малость сосну. Не спал трое суток, все как в тумане — того и гляди свалюсь.
— Иди, конечно, иди. Отдохнуть необходимо, у тебя глаза, как у кролика.

Герберт ушел спать в соседнюю комнату. Макс закурил и стал обдумывать вариант со второй машиной. Он нравился ему все больше и больше. Еще он пытался поймать проскользнувшую у него во время разговора мысль. Она мелькнула и исчезла, оставив в нем неуловимое беспокойство. Постоянная настороженность приучила его не оставлять без внимания малейших проявлений интуиции. От нее часто зависела жизнь. Но было ли то мимолетное движение души своего рода интуитивным озарением или что-то случайно всплыло в мозгу и тут же забылось?

«Красная бородавка! — вдруг вспомнил он, когда гасил в пепельнице сигарету.— Рыжий с красной бородавкой на носу!» Кажется, это было в Нидерлеме...

Глава 37
Секретный пленум

Да, именно в Нидерлеме видел Макс рыжего щупленького человечка с красной бородавкой на носу. Небольшое усилие, и выплыло из темных омутов

памяти его лицо. Оно проявилось медленно и постепенно, как бы по частям. Сначала, конечно, бородавка, красная и чуть сморщенная, как подсохшая ягода рябины, потом высокий в веснушках лоб с глубокими залысинами и медные, чуть курчавые на висках волосы... И память, как прожектор, нащупывающий в ночном море цель, заплясала широким лучом, высвечивая отрывочные эпизоды, между которыми мгновенно устанавливались причинные связи.

Мглистый сырой вечер перед самым захватом власти нацистами. Короткая оттепель, которую принес в Берлин атлантический циклон. Ветер. Опустевшие улицы. Притаившийся в ожидании город...

Макс продрог, пока добрался тогда до Бисмаркштрассе. Но квартира была хорошо протоплена, и он скоро отогрелся.

— Замерз? — спросил Тельман, заметив, что Макс устроился поближе к печке.— Сейчас придут товарищи, и будем пить чай.

— Я предпочел бы рюмку водки,— улыбнулся Макс.

— Можжевеловой? Я и сам бы не отказался, но, к сожалению, ничего нет. Только чай. Зато есть дивные яблоки, настоящий гравенштейн. Хочешь?

Потом пришли Отто Франке и Герман Дюнов, и начался серьезный разговор.

— Мы должны решить с вами,— сказал Тельман,— где лучше всего собрать нелегальное заседание Центрального Комитета.

— Нелегальное? — удивился Макс. Коммунистические митинги и собрания нацисты часто срывали, к этому уже привыкли и всегда соблюдали осторожность. Но нелегальное заседание ЦК?

— Да.— Тельман отодвинул недопитый стакан, и его большие руки тяжело замерли на клетчатой скатерти.— Мы должны готовиться к самому худшему. Партия сделала

все, чтобы предотвратить нависшую над страной угрозу насилия, но вы не хуже меня знаете, каково сейчас положение. Если Гитлер получит всю полноту власти, ни о какой легальной деятельности и думать нечего. Сейчас нам нужно найти зал для заседания. Я просил заняться этим товарища Франке.

— Я все выяснил, товарищ Тельман,— сразу же откликнулся Отто Франке.— Есть два подходящих помещения: спортивный зал «Цигенхальс», его владелец — наш товарищ, коммунист Вильгельм Мёршель, и «Локаль цур Линде» в Шмёквиц-Раухфангсвердере.

— Кто хозяин? — спросил Дюнов.

— Пауль Гофман.— Франке взял тяжелый чайник коричневого фаянса и налил себе еще стакан.

— «Цигенхальс» мне больше нравится,— кивнул Тельман.

— Да, мне тоже... Я уже договорился с Мёршелем о встрече.— Франке разрезал половинку яблока на маленькие кубики и бросил их в чай.

— Заседание назначено на седьмое февраля,— сказал Тельман и повернулся к Отто Франке: — так и передай товарищу Мёршелю. Скажешь ему, что заседание, в котором будут участвовать только члены КПГ, посвящено «Красным спортсменам». Понятно, он должен обо всем молчать.

— На товарища Мёршеля можно положиться,— сказал Франке.— Я его давно знаю. И вообще место выбрано удачно.

— Ты ведь, кажется, состоишь членом общинного самоуправления в Нидерлеме? — спросил Тельман.

— Да, товарищ Тельман. Общинного и районного. Кроме того, я еще и председатель ревизионной комиссии общинной кассы.

— Это, наверно, можно как-то использовать? — заметил Макс.

— Пожалуй,— задумчиво протянул Франке.

— Контроль за действиями полиции? — спросил Тельман.— Кто там у вас бургомистром?

— Эмиль Леман. — Франке все еще сосредоточенно раздумывал.— Он социалист-демократ. Главный кассир общины Эмиль Пёш — тоже. Да, это идея! — он тихо засмеялся и постучал ложечкой о стакан.— В день заседания я неожиданно объявлю ревизию общинной кассы!

— Зачем? — удивился Дюнов.

— И потребую от бургомистра, чтобы он тоже принял участие в ревизии.

— Не понимаю! — развел руками Дюнов.— При чем тут...

— Погоди,— остановил его Тельман.— Пусть договорит.

— Дело в том, что сельские жандармы до и после полудня докладывают бургомистру о своих контрольных поездках по району. Если же бургомистр будет вместе со мной проверять кассу, то я смогу присутствовать при докладах! Ясно? Мы узнаем, нет ли каких донесений о заседании ЦК. И вообще будем в курсе всех важных для нас сообщений.

— Правильно.— Тельман сцепил пальцы.— Тебе, товарищ Франке, поручается еще охрана спортзала. Ты, Макс, будешь отвечать за конспирацию. Тебе, товарищ Дюнов, поручим организацию заседания и охрану городка.

Дюнову досталось тогда самое сложное задание. Макс подумал об этом сразу же. Но только потом, когда стали съезжаться члены Центрального Комитета, он понял, какую колоссальную работу проделал за эти дни Герман...

Всех участников заседания направили на явочные квартиры в разных районах Берлина. Никто не находился в такой квартире больше десяти минут. Запоздавшие никого уже не смогли застать в условленных местах. Это

почти полностью исключало вмешательство полиции. Но Дюнов на этом не успокоился. С явочных квартир участников заседания переправили в Трептовскую обсерваторию, где работал преданный партии человек. Слесарь по специальности, он самоучкой изучил астрономию и проводил экскурсии по астрономическому музею. Вместе с Дюновом он встретил группу «экскурсантов», которую быстро провел мимо застекленных стендов прямо на крышу обсерватории, где находились астрономические приборы. Там можно было легко проверить собравшихся.

Убедившись, что пришли только свои, Дюнов назвал место заседания. Макс точно знает, что до этого момента никто посторонний не знал о собрании в Нидерлеме. Но и на крыше обсерватории тоже не было посторонних. Тем более что все, кто стоял там, сразу же сели в автобус и поехали. Вторая группа товарищей была доставлена в «Цигенхальс» с такими же предосторожностями. Даже если и затесался в нее предатель, он не смог бы оповестить полицию: Дюнов называл место заседания лишь за две-три минуты до посадки в автобус...

Откуда же взялся тот рыжий субъект, как он сумел узнать о секретном заседании? Случайно? После рассказа Герберта Макс не мог поверить в такую случайность. Полиция новопреставленной Веймарской республики о заседании не знала. Это было очевидно. Оставалось только одно: секретная служба наци. Кто-то из ее агентов пронюхал о Нидерлеме. Возможно, тот самый, который приходил теперь на квартиру в Панкове...

Но многое Максу оставалось неясно. Он не мог понять, почему шпик тогда медлил, прислушиваясь к словам Тельмана. Почему не вызвал сразу громил из штурмовых отрядов? Видимо, он знал далеко не все. Поэтому выжидал, хотел убедиться, что коммунисты действительно затевают важное дело...

Это подтверждает, что все предпринятые Дюновом

меры предосторожности были необходимы. Это он настоял, чтобы Тельман, Пик и Ульбрихт прибыли в Нидерлеме отдельно. Они приехали на легковых машинах после того, как автобус привез первую группу. И, возможно, именно поэтому рыжий шпик догадался о характере заседания лишь в самый последний момент.

Когда все тридцать пять участников заняли свои места, Вальтер Ульбрихт открыл заседание и предоставил слово Тельману. Тедди сначала старался говорить тихо, но привычка взяла свое, и голос его, перекрывающий грохот клепальных машин на верфях, зазвучал в полную силу.

Макс забеспокоился и осторожно вышел из зала, чтобы проверить, насколько далеко слышно. Вокруг спортзала все было спокойно. Со своими нехитрыми снастями возился рыболов у озера. На дороге, ведущей из леса, стояла телега с хворостом. Возчик спал. Это были поставленные Отто Франке часовые. Но голос Тельмана долетал и до озера и, возможно, до леса... И это, конечно, беспокоило не только Макса.

— Очень громко,— покачал головой вышедший вслед за ним Дюнов.— Я послал ему записку, да что толку? — он махнул рукой.— Как идут дела?

— Вроде все тихо, Герман,— Макс достал сигареты и протянул Дюнову.

— «Спорт»? И охота тебе курить всякую дрянь?

— Ничего,— улыбнулся Макс.— По случаю «спортивного» мероприятия можно.— Он закурил. Медленно выпуская едкий дым, скользнул взглядом по вывеске «Шпортхауз «Цигенхальс». Пиво Шульхайса», по фонарю и оленьим рогам над входом, по голым деревьям во дворе.— А что слышно у Отто?

— Ревизия кассы идет спокойно, — улыбнулся Дюнов.— Но отряды охраны наготове. В случае чего ребята прикроют.

— Нам только перестрелки теперь не хватает, Герман. Лучше бы обошлось без этого.

— Конечно, — серьезно ответил Дюнов.— Это только на крайний случай.

С заднего двора, заваленного всевозможными ящиками, прибежал молодой парень.

— Товарищ Герман! — крикнул он на бегу, но тут же сбавил тон и договорил уже шепотом: — В распивочную вошли два посетителя. Пьяны вдрызг. Что делать? Они же могут услышать Тедди!

— Распивочная разве работает? — удивился Макс.

— Так надо,— отмахнулся Дюнов и взял парня за руку.— Беги-ка, Иобст, назад и скажи Адди, чтоб немедленно что-то сделал. Пусть он подлезет к этим выпивохам и уведет их в другую пивную. Понял?

— Понял, товарищ Герман! — опять крикнул парень и убежал.

— Нельзя было закрыть распивочную, Макс,— объяснил Дюнов.— Это сразу бросилось бы в глаза.

— Но мы же договорились...

— Знаю! Но в последний момент я передумал. Вилли Мёршель тоже считает, что не следует навлекать ненужные подозрения. Он сам стоит теперь за стойкой.

— И ты думаешь, что тех двоих будет легко увести? — Макс недоверчиво покачал головой.

— Настоящего пьянчужку ничего не стоит спровадить в другой ресторанчик, если пообещать ему пиво покрепче... Или бабу.

— А если они только притворяются?

— Такой случай тоже предусмотрен... Но здесь, кажется, все чисто. Смотри,— Дюнов кивнул на дверь, откуда вышла шатающаяся троица. Старый коммунист-печатник Адальберт Кройчке тащил на улицу двух осоловевших парней.

Но не успели избавиться от пьяных, как возникла

новая опасность. С чердака спустился наблюдатель и доложил, что на ограде сидят двое мужчин и внимательно прислушиваются к речи Тедди.

— Опять двое,— заметил Макс.

— Думаешь, что те пьянчуги тоже? — нахмурился Дюнов.

— Все возможно. Давай-ка поглядим на этих господ, что они собой представляют.

Они поднялись на чердак и осторожно выглянули в оконце. Сейчас на ограде сидел один — худой, смуглый, в зеленой шляпе, коричневом кожаном пальто с воротником из цигейки и крагах. Другой — в синей куртке с поднятым воротником — стоял за забором и, отворотив лицо от ветра, прикуривал. Он был без головного убора, и Макс обратил внимание на его шевелящиеся под ветром медно-красные волосы.

— Что ты думаешь об этих? — спросил он.

— Похоже, шпики,— коротко ответил Дюнов.

— Бьем тревогу?

— Погоди. Понаблюдаем немного. Пока еще нет оснований прерывать работу ЦК.

— Пожалуй, — кивнул Макс.— Пока они торчат там и слушают, угрозы нет. Но нужно быть готовыми в любой момент увезти людей.

— Все готово, Макс. Часть людей увезем на автобусе в Берлин, остальных на моторной лодке в Цойтен, на вокзал. А теперь давай вниз. Ты иди в зал и не спускай глаз с Тедди, а я займусь своими делами! — Он отошел от окна и махнул рукой наблюдателю.— Займите свое место, товарищ Фриц,— тихо сказал он.— Если кто-то из них уйдет, немедленно сообщите мне.

Но только они вышли во двор, как деревянные ступени жалобно заскрипели. Это спускался с чердака наблюдатель.

— Ушли!.. Оба.

За домом раздался треск мотоцикла.

— Поднимай тревогу, Макс! — крикнул Дюнов и побежал к автобусу. Шофер был на месте. Он ел бутерброд с колбасой и читал газету.— Заводи мотор! — скомандовал он и понесся к озеру.

Макс вошел в зал и направился прямо к столу президиума. Никто не обратил на него внимания: все глаза были устремлены на Тедди.

— Мы должны,— Тельман тяжело взмахнул кулаком, словно молот опустил,— разрушить стену между нами и социал-демократическими товарищами по классу! Мы должны бороться за каждого рабочего, независимо от того, к какой организации он принадлежит. Если мы вступаем в дискуссию с христианскими рабочими, то должны рассеять их сомнения и опасения в отношении веры и религии... Мы не хотим грабить ковчеги, не хотим сжигать распятия... Мы хотим совместной борьбы...

Когда Тельман остановился на миг, чтобы набрать в легкие побольше воздуха, Макс наклонился к Ульбрихту:

— Надо прервать заседание, товарищ Вальтер,— тихо сказал он.— Нас выследили.

Ульбрихт, не оборачиваясь, кивнул и продолжал слушать речь.

— В лице Гитлера,— казалось, что Тельман говорит через усилитель,— рейхсканцлером стал человек, который главной линией своей внешней политики сделал подготовку войны с Советским Союзом. Пролетариат и трудящиеся всего мира, равно как и немецкий пролетариат, смотрят на нас. На нас смотрят русские рабочие и крестьяне... Мы должны удвоить и утроить наши усилия. Мы должны разбудить в каждом товарище сознание ответственности партии перед рабочим классом.

Макс отошел от стола президума и остановился у приоткрытого окна. Повинуясь безотчетному желанию, он осторожно раздвинул створки и выглянул наружу.

Внизу стоял тот рыжий в синей, с поднятым воротником куртке. Он оказался пугающе близко. Макс явственно увидел красную морщинистую бородавку на левом крыле покрытого веснушками носа, залысины на лбу и мелкие завитки на висках. Он разглядел даже коричневые крапинки в нечистой зелени настороженных глаз.

С минуту они неотрывно смотрели друг на друга. Потом рыжий опустил голову, достал из кармана пачку сигарет и неторопливо пошел прочь.

— ...необходимо приложить, наконец, все усилия, чтобы мобилизовать массы, и прежде всего социал-демократических товарищей на предприятиях, на борьбу с гитлеровцами! — гремел голос Тельмана.

Этот остался следить, а другой уехал на мотоцикле, подумал Макс и пошел к двери. Надо предупредить Германа... Как же они проворонили эту рыжую гниду?

Уже на лестнице он услышал, как голос Тедди вдруг замолк и наступила настороженная тишина. Потом Вальтер Ульбрихт закрыл заседание...

Когда через два часа в «Цигенхальс» ворвались штурмовики, спортзал был пуст. Только в распивочной за двумя-тремя столиками сидели одинокие посетители да хозяин Вильгельм Мёршель пересчитывал за цинковой стойкой дневную выручку. Все сошло тогда благополучно. Но Макс запомнил лицо, рыжие волосы шпика. Он не сомневался теперь, что именно его и видел Герберт на квартире в Панкове.

«Все возвращается на круги своя»,— подумал Макс.

Глава 38

Засада

Второй «мерседес-бенц» выехал ровно через четырнадцать минут после первой машины. Макс сел рядом с шофером. Руди, Хельмут и Карл разместились

на заднем сиденье. Два карабина и автомат положили на пол.

— Пошел! — скомандовал Макс, включая секундомер, и захлопнул за собой дверцу.— Старайся держать точно шестьдесят.

Шофер кивнул и нажал кнопку стартера. Машина медленно выехала из темной подворотни на залитую солнцем Клейстштрассе и понеслась к Моабиту.

Ребята, сидевшие сзади, заерзали. Эсэсовские мундиры были подогнаны кое-как, а солнце палило нещадно. В кабине сразу же стало душно. Макс поправил кокетливо сдвинутую к правой брови пилотку и приспустил стекло. Пахнуло сладковатым и гнилостным ветром весны. Стрелка спидометра дрожала возле шестидесяти.

На углу, около молочной, стоял молоденький штурмовик с букетиком альпийских фиалок. Когда машина замерла перед светофором, он глянул на часы и понюхал цветы. Пока все шло благополучно. Следующий контрольный пункт находился у костной клиники. Пожилой господин, прогуливавший черно-рыжего эрдель-терьера, снял шляпу и, отдуваясь, опахнул ею разгоряченное лицо. Здесь тоже дела обстояли хорошо.

Юная дама, как завороженная, застыла перед витриной агентства путешествий Кука, где пестрели плакаты и проспекты с экзотическими пейзажами. Перчатки и сумочку крокодиловой кожи она держала в левой руке.

— Как идем? — спросил Хельмут.

— Идеально,— не оборачиваясь, ответил Макс.— Последний пост на углу Турмштрассе. Там должен стоять парень со скрипкой из группы Валентина. Если на трассе будет порядок, мы сделаем круг и вновь выедем на Турмштрассе... Может, к этому времени наши уже обернутся.

— Только бы у них в Моабите все сошло гладко,— сказал Руди.— Остальное — пустяки.

— Сейчас будет Турмштрассе,— зажав в зубах потухшую сигарету, процедил шофер.

Макс глянул на секундомер. Они ехали уже почти двенадцать минут.

На углу, возле булочной, беспокойно озирался вокруг щупленький человек в сером пыльнике. Под мышкой у него зажат видавший виды скрипичный футляр.

Перекресток был свободен, и машина проехала не сбавляя скорости. Лишь какую-то долю секунды видел Макс лицо человека со скрипкой. Но и этого оказалось совершенно достаточно: толстая, чуть отвисшая губа, какая-то неуверенная искательная полуулыбка, морщины, веснушки и рыжие завитки на висках — и эта неповторимая красная бородавка.

— Стой,— выдохнул сквозь сжатые зубы Макс и впился пальцами в плечо шофера.

Взвизгнули тормоза, переднее колесо чиркнуло о борт тротуара, их занесло, но шофер, рискуя вывернуть руки, крутнул рулевое колесо в обратную сторону. Машина вылетела на середину улицы и остановилась, преградив движение. С зубодробительным скрежетом остановился в каком-то метре от них коричневый «оппель».

— Давай же! Давай! — крикнул Макс, привстав с сиденья, и тут же плюхнулся обратно, когда машина резко взяла с места.— Направо,— уже спокойно скомандовал он, ткнув пальцем в ветровое стекло.— Все пропало, ребята. Тот рыжий со скрипкой — провокатор. Я его знаю.

— Что будем делать? — тихо спросил Карл.

— Не знаю,— покачал головой Макс и вдруг застонал.— Но эту гадину я раздавлю. Ты пойдешь со мной, Руди.

— Да,— сказал Руди.

— Как свернешь, так сразу и остановишься,— Макс повернулся к шоферу.— Мы с Руди сойдем, а вы уходите.

— А как же... Как же наши? — Хельмут еще ничего не понимал.

— Я же говорю: все пропало! Наши в ловушке, и мы им ничем не сможем помочь! — Макс сжал кулаки и закусил губу.— Они в-въехали в-в Моабит, как в-в мышеловку... Группа Валентина тоже теперь завалена.

Машина приближалась к повороту. Уже был виден узорный чугун ограды и голые ветки деревьев за ней.

— Там есть кратчайший проход на Турмштрассе,— сказал Макс.— Мы быстро, мы еще застанем его.

— Если не вспугнули,— заметил Руди.

— Не-нет. Он не уйдет. Он дождется...

— Смотри, Макс! — крикнул шофер, махнув рукой на зеркальце.

Макс наклонился к нему и чуть повернул зеркало к себе.

Сзади, метрах в шестидесяти за ними шел грузовик, набитый эсэсовцами. Офицер стоял в кузове. Рука его подрагивала на брезентовой крыше кабины. Колючей звездой дрожало солнце на вороненом стволе пистолета.

— Так,— Макс обернулся назад. Сквозь желтоватое целлулоидное окошко он увидел черный радиатор грузовика и смутные тени в кабине.

— Поворачивать? — крикнул шофер.

— Давай.

Они повернули на полной скорости, но шофер тут же рванул на себя тормоз. Машину тряхнуло. Макс чуть было не разбил лицо о стекло. Острая боль пронзила колено. Посреди улицы стояли четыре мотоциклета с эсэсовцами. Они, как по команде, включили моторы. Сидевшие в колясках схватились за автоматы. Все эсэсовцы были в черных касках. У тех, кто сидел за рулем, на груди болтались жестяные бляхи. Как ущербленные луны, блеснули они отраженным солнечным светом и сразу же затуманились в сизом облаке выхлопных газов.

Шофер врубил задний ход, и машину опять вынесло на середину улицы. Грузовик, который был уже угрожающе близко, ощетинился стволами карабинов. Шофер с искаженным от напряжения ртом стремительно обернулся. Макс тоже всем телом подался назад, поближе к целлулоидному окошку. Качающаяся в желтоватой дымке улица казалась пустой.

— Жми! — Макс облизал пересохшие губы.

Они понеслись полным ходом на задней передаче, но мотоциклисты догоняли их.

У первого же перекрестка шофер дал стремительный поворот. Машина подскочила. Люди качнулись из стороны в сторону, как задетые шаром кегли, но их тут же бросило назад, настолько мгновенно была переключена скорость, и вновь головокружительный поворот у ближайшего пересечения улиц. Скрежет и вой шестеренок. Синяя мгла угарных газов за спиной. Дребезжание стекла в разболтанной дверце и молниеносный бросок вперед.

Машина резко остановилась.

— Вылезайте! — крикнул шофер.— А я их еще повожу.

Распахнулись дверцы с обеих сторон, и ребята, подхватив с пола оружие, выпрыгнули на асфальт.

— Держись, Эдвин! — Макс хлопнул шофера по плечу и, схватившись за кобуру на поясе, выскочил вслед за ними.

Машина тут же рванула с места.

Когда четверо в эсэсовских мундирах, пригибаясь, как под обстрелом, вбежали в первый попавшийся двор, из-за поворота вылетели мотоциклисты.

Глава 39

Переброска

Оставшиеся до переброски во Францию дни адвокат Рёттер решил прожить в небольшом приморском городке Нордейх Халле, где у его дальней родственницы была дача. Когда-то он провел там с Вольфгангом Хорстом неплохое лето...

Каждое утро уходил он к неспокойному бледно-зеленому морю. Садился на сырой прибитый песок. Смотрел, как накатывались холодные белогривые волны. Вздымались у самого берега, застывали на миг пузырчатой массой бутылочного стекла и, шипя, обрушивались на мелкую блестящую гальку. Ветер гнал низкие сумрачные облака, шелестел в песчаных дюнах. Дрожала сухая осока, тихо шуршали кусты ивы. Иногда море было желтым от вымытой дождевыми потоками глины.

«И дурак ожидает ответа»,— вспомнил он Гейне. Но уходить от моря не хотелось, хотя и не ждал он от него ни ответа, ни избавления. С тех пор как он оставил флот, ему редко приходилось бывать у моря. И теперь он опять часами завороженно глядел, как накатывают и бессильно уходят вспять крутые волны.

Вспомнил Хорстов. Живы ли они? Что с ними?.. Вольфганг оказался провидцем. Пессимисты чаще угадывают. Впрочем, в чем-то этот типично кабинетный ученый был большим оптимистом. Почти фантастом. Весь его скепсис отходил на задний план, когда он начинал говорить о судьбах науки. А что, если он и здесь прав? Может быть, так и есть: ничто не случайно. Гальвани открыл электричество с помощью лягушачьей лапки, но прошло сто лет, и оно стало могучей силой. Вольфганг говорил, что физики постигают тайны вещества, пространства и времени. Сколько же лет понадобится им, что-

бы подчинить эти первоосновы мироздания своей воле? Неужели близок день, когда все самолеты и танки покажутся детской игрушкой по сравнению с той силой, которую подчинят они себе?

«Нет, на этот раз мы, ученые, не будем дураками,— сказал как-то Вольфганг.— Генералы и министры не получат из наших рук нового оружия, гитлеры и муссолини не смогут больше грозить миру. Мы сумеем крикнуть безумцам: «Остановитесь или мы уничтожим вас!»

А когда? Когда вы это им крикнете, близорукие донкихоты?

Он вернулся на дачу и застал в своей комнате незнакомого человека. По виду — типичный мастеровой с верфи или с завода.

— Что вам угодно? — внутренне замирая, сурово спросил он.

— Меня послал Герберт.

— Кто это? Я не знаю никакого Герберта.

— Простите... Мне сказали, что на вашей даче можно купить козьего молока.

— Нет, вы ошиблись. Мы не держим коз. Где сам Герберт?

— Он послал меня. Мое имя Эдвин.

— Очень приятно, — Рёттер церемонно поклонился.

— Материалы процесса с вами?

— Да, конечно.

— В Париже вы остановитесь в трактире «Резвый кролик». Это на Монмартре близ церкви Сакре-Кёр. К вам туда придут. Обвинительное заключение отдадите тому, кто скажет, что он от Герберта.

— Ваш человек сам меня найдет?

— Да. Я привез вам документы на имя Мартина Рилле и немного денег. Завтра у Арнского маяка вы встретитесь с Уго Касперсеном, шкипером рыболовного баркаса. Он переправит вас в Нормандию.

— Не знаю, как благодарить вас, господин Эдвин...

— Вы ничем мне не обязаны. Итак, завтра у маяка. Сразу же после захода солнца.

— Простите, господин Эдвин, вы случайно не знаете, что сталось с Вольфгангом Хорстом? Господин Герберт обещал мне узнать...

— Он в Бухенвальде. Его арестовали на улице... Случайно...

— Ах вот как... А фрау Хорст?

— Она умерла. От разрыва сердца во время допроса.

— Вы это наверное знаете?

— Да. Герберт велел мне это вам передать... Если, конечно, вы поинтересуетесь...

— Понятно... Вот, значит, как...

— Да, так. Желаю вам удачи. Берегите документ.

— Еще бы! — Рёттер прижал руки к груди.— Ему цены нет. Европейские юристы по косточкам разберут это дутое дело... На всякий случай следовало бы снять с него копию. Мало ли что может случиться.

— Такая копия уже есть.

— Как?! Когда вы успели?

— Товарищ Тельман переписал все дело целиком и переправил его к нам. Сейчас оно уже находится в распоряжении Комитета по освобождению.

— Это действительно великий человек,— покачал головой Рёттер.— Он совершил невозможное.

— Да,— кивнул головой Эдвин.— Ну, еще раз желаю вам удачи. Подлинник обвинительного акта будет очень кстати.

Когда на другой день Рёттер прощался с хозяйкой дачи, она срезáла на клумбах хризантемы. Он сказал ей, что уезжает обратно в Берлин. Она ничем не проявила своей радости, но ему показалось, что фрау Беатрис облегченно вздохнула. Он ее вполне понимал.



От берега, как и предполагалось, они отошли уже ночью.

Ревел ревун. Маслянистым пятном вспыхивала мигалка на маяке. Ровно рокотал мотор. За кормою остался большой неспокойный концлагерь, имя которому Германия. Удалялись, бледнели и таяли в тумане береговые огни. Рядом дышала холодом невидимая черная вода. Попахивало отработанным бензином и рыбой. Эту рыбу Уго наловил вчера и нарочно не выгрузил из баркаса. Под ее скользкими, скупо поблескивающими грудами он и запрятал завернутую в брезент папку с документами.

— Береженого бог бережет, — сказал Уго. — Это на крайний случай... Скажите, господин, это правда, что вы везете бумаги о нашем Тедди?

— Правда.

— И вы собирались защищать его на суде?

— Да.

— Доброе дело. А теперь суда не будет?

— Думаю, что не будет. Но я все-таки стану его защищать. На глазах у всего мира.

— Ясно. Они боятся Тедди.

— Вы правы. Они боятся его.

Стало свежо. Уго дал своему пассажиру теплый шарф, связанный из собачьей шерсти, и зюйдвестку. Рёттеру стало тепло и покойно. Под ровный рокот мотора, плавное покачивание баркаса он едва не задремал.

Медлительно, словно это касалось кого-то другого, он думал о том, что ждет его во Франции. Найдет ли он себе место под чужим солнцем? Сможет ли возобновить работу над книгой «Саллические франки и уголовное право»? Работа, работа, всегда работа. Отец его умер в пятнадцатом году от разрыва сердца, мать умерла от чахотки, когда он был еще студентом. Ни жены, ни детей у него не было. Вся прожитая жизнь представлялась сплошной работой с перерывами на еду и сон. Но даже во сне его

мозг не переставал искать новые пути и решения. Особенно, если попадалось интересное дело. Он не привык к иной жизни, да и не хочет ее. Возможно, он очень ограниченный человек и просто-напросто обокрал себя.

Уже растаял маяк. Плотные слои облаков не пропускают ни звездного, ни лунного света. За бортом клокочет темное море, изредка вспыхивая голубоватым свечением.

Он пристально следит за ним, вспоминает, как гасли недавно береговые огни и — это было лет десять назад — свечи на концерте в Вене.

В огромном зале с очень высоким потолком зажгли на пюпитрах свечи. В зал пахнуло разогретым воском. Погасли хрустальные люстры и бра, дрожали лишь шаткие языки свечей. Родились первые звуки музыки. Тоска и жалость, прощание и надежда на встречу, и грусть, и радость. Свечи сгорели ровно на одну треть, когда оркестр заиграл последнюю часть. Как прилив и отлив, накатывались соло и дуэты. Одна за другой гасли свечи и, как темные призраки, уходили со сцены музыканты. Ушли виолончель и валторна, ушли валторна и скрипка, ушли два гобоя, ушли скрипка и виолончель. Все меньше и меньше остается колеблющихся языков пламени, но музыка не исчезает. Все так же страстно и наивно течет она бессмертной мерцающей рекой. Наконец остались лишь две скрипки — первая и вторая. Они приняли на себя всю тяжесть и всю боль одиночества и тоски. И когда они погасили свои свечи, музыка еще долго умирала в ушах. Рёттер помнит, что закрыл тогда глаза. Он не хотел видеть, как зажгутся люстры и бра и как выйдут раскланиваться на сцену окрестранты. Он знал, что стоит открыть глаза, и затухающая в ушах музыка оборвется совсем. Это была «Прощальная симфония» Гайдна... И музыканты, гасившие свечи, уходили в небытие.

Проснулся он от внезапно наступившей тишины. Мо-

тор не работал. Уго сидел рядом и осторожно отвинчивал компас.

— В чем дело, господин Касперсен? — спросил Рёттер, поеживаясь от холода.

Уго молча прижал палец к губам и показал рукой куда-то в темно-серый туман. Рёттер пригляделся и увидел, как вдалеке мечется расплывчатое световое пятно. Уго качнул головой, приглашая спуститься вниз. Согнувшись, чтобы не задеть головой низкий потолок, Рёттер пролез в крохотную каютку. На маленьком откидном столике стоял ацетиленовый фонарь и жестянка с табаком. На койке лежали брезентовые рукавицы.

— Дозорный миноносец? — тихо спросил Рёттер.

Уго кивнул. Он нагнулся и достал из ящика бутылку темного сладкого пива «доппель-карамель». Открыл ее и протянул Рёттеру. Потом еще раз нагнулся и взял себе тоже. Отпил несколько больших глотков и тихо сказал:

— Ночью в тумане они нас не заметят. Но уже светает, и утро обещает быть ясным. Если нас засекут, скажем, что сбились с курса из-за поломки компаса. Я его уже отвинтил.

— С таким пассажиром, как я, это не поможет,— усмехнулся Рёттер.— Лучше уж не попадаться!

Они вышли на палубу. Было удивительно тихо. Рёттер ничего не слышал, но Уго сказал, что различает рокот моторов.

Так, в полном молчании, они провели часа полтора. Баркас заметно покачивало. Уго несколько раз вставал и прислушивался. Потом наконец махнул рукой и сказал:

— Все! Кажется, проскочили.

Он вынул из кармана отвертку и поставил компас на место. Закурил трубку и спустился вниз запустить мотор.

Рёттер чувствовал себя превосходно. Короткий сон среди безмолвного моря удивительно освежил его.

Вернулся Уго и сказал, что все в порядке и господин может еще поспать... Здесь или в каюте.

— А вам разве не хочется спать, Уго?

— А кто поведет за меня баркас? — спокойно возразил рыбак.

— Я немного знаю морское дело, — скромно сказал Рёттер. — Вполне могу постоять на вахте.

— Хорошо. Когда я устану, вы меня смените. А пока — отдыхайте.

Рёттер прошел в каюту. Снял зюйдвестку, стащил огромные резиновые сапоги и лег на застланную верблюжьим одеялом койку. В крохотном иллюминаторе было еще совсем темно.

РЕШЕНИЕ

по уголовному делу транспортного рабочего Эрнста Тельмана, обвиняемого в заговоре и призыве к государственной измене.

2-й сенат палаты народного суда на своем заседании 1 ноября 1935 г. по предложению верховного прокурора

постановил:

обвиняемый Тельман — при сохранении в силе приказа об аресте только ввиду подозреваемой возможности побега — освобождается от дальнейшего отбывания предварительного заключения.

После освобождения обвиняемый обязывается ежедневно являться в соответствующий полицейский участок по месту пребывания.

Брунер Вайс д-р Цигер

Господину Эрнсту Тельману
Берлин-Моабит

Составлено
в Берлине 1 ноября 1935 г.
Делопроизводитель 2-го сената палаты народного суда
Кислинг, судебный советник,

Прусская тайная
государственная полиция
Заместитель начальника
и инспектора

Берлин, 1 ноября 1935 г.
Господину Эрнсту Тельману
в настоящее время
Берлин-Моабит

На основании § 1 декрета рейхспрезидента о защите народа и государства от 28 февраля 1933 г. постановляю настоящим, что в интересах общественной безопасности Вы подлежите содержанию в заключении впредь до особого распоряжения.

Основания:

До Вашего ареста, последовавшего 3.3.1933 г., Вы являлись лицом, ответственным за руководство Коммунистической партией Германии.

В интересах поддержания общественной безопасности и порядка Вы подвергнуты превентивному заключению, поскольку в случае освобождения Вы, несомненно, снова стали бы действовать в коммунистическом духе.

Гейдрих

Глава 40

Ужин в „Адлоне“

В пятницу вечером клуб иностранных корреспондентов, аккредитованных в Берлине, устроил для дипкорпуса ужин с танцами в отеле «Адлон».

Посол Соединенных Штатов Америки Уильям Додд приехал с небольшим запозданием. Военный вице-атташе капитан Крокетт, военно-морской атташе капитан Кепплер, политические советники Уайт, Ли, Флэк и Бим уже сидели за отведенными для них столиками. Все были во фраках и прибыли на прием в соответствии с этикетом — в цилиндрах.

Появление американского посла в обеденном зале

вызвало некоторое удивление. Все обратили внимание, что его дочь Марту сопровождает принц Луи Фердинанд. Собственно, это обстоятельство и задержало посла. Когда его высочество пожелал поехать на прием в посольском «линкольне», Додд осторожно попытался отговорить принца.

— Боюсь,— сказал он,— что пребывание в нашем обществе может причинить вам неприятности.

— Я ничего не боюсь,— надменно ответил принц.— Кроме того, моя преданность вашей семье общеизвестна.— Он улыбнулся.— Тут уж ничего не поделаешь.

Додд пожал плечами и велел шоферу зачехлить звездно-полосатый флаг, чтобы придать поездке менее официальный характер.

Ближайшими соседями Доддов по столу были министр иностранных дел фон Нейрат, уволенный бургомистр Зам с супругой, сэр Эрик, Ханфштенгль, мосье и мадам Франсуа-Понсе, советский посол Яков Суриц и организатор Олимпийских игр Левальд.

Послы Англии и России почти не разговаривали друг с другом, зато Франсуа-Понсе был весьма оживлен и чрезвычайно любезен с обоими.

Принц обменялся с послами рукопожатием, но когда приветствия были закончены, отвел Додда в сторону.

— Сожалею, но я не смогу сесть за ваш стол,— сказал он.

— Вот как! — удивился Додд и со свойственной ему непосредственностью воскликнул: — Здесь собрались очень милые люди. Особенно этот русский. Он, вероятно, самая светлая голова среди здешних дипломатов. Бедняга, на приемах он почти всегда стоит в одиночестве.

— Я ничего не имею против него,— доверительно наклонился к Додду принц.— Но в семнадцатом году русские коммунисты казнили моих родственников — членов царской семьи.

— Русский посол кажется мне вполне интеллигентным человеком,— не слишком кстати заметил Додд.— Как видите, Нейрат чувствует себя вполне сносно, хотя и сидит напротив него.

— Еще раз сожалею,— принц наклонил голову, поклонился супруге и дочери посла и отошел к столику, где сидели швейцарский посланник, румынский посол и военно-морской атташе Португалии.

Ужин прошел довольно скучно, но, к счастью, не слишком затянулся. Как у Максима в Париже, оркестр сыграл попурри из «Веселой вдовы», и начались танцы. Кельнеры разносили на серебряных подносах мороженое и бокалы с прохладительными напитками.

Капитан Крокетт пригласил миссис Додд на тур вальса и весело помахал шефу рукой. Уильям Додд улыбнулся и, взяв с подноса бокал с охлажденным киршвассером, смешался с толпой.

— Хелло! — окликнул его политической советник Бим.— Что нового?

— Брожу в поисках интересного собеседника. Только в такой толчее можно откровенно поболтать о важных делах.

— Поговорите с профессором Онкеном, сэр. Вам это будет легко, вы же с ним из одного академического мира.

— Говорят, Розенберг заставил Руста его уволить?

— Да. «Фёлькишер беобахтер» обрушилась па его книгу о Кромвеле. Усмотрели какие-то аналогии с Гитлером.

Додд пожал плечами.

— Я не думаю, что Онкен — решительный противник режима,— продолжал Бим.— Однако он упорно отстаивает свое право профессора печатать книгу без предварительного одобрения ее правительством.

— Естественно,— Додд потянул ледяной напиток через соломинку.— Папский нунций здесь?

— Нет. Он избегает контактов с официальными лицами, пока не определится политика Ватикана по отношению к новым реформам нацистов.

— Напрасно. Папе все равно придется с ними примириться. Я думаю, что Гитлер станет на сторону Розенберга с его древнегерманским культом бога Вотана. Планы Розенберга вернуть страну к германскому варварству потерпят неудачу в том случае, если католики поддержат лютеран.

— Что и говорить,— усмехнулся Бим,— папа оказался в затруднительном положении. Он должен помочь лютеранам и лютеранским университетам спасти католицизм в Германии.

— В то же время он должен поддержать нацистскую философию, которая может ему послужить оружием для борьбы с коммунизмом в России, а также с развитием социалистических идей во Франции и Испании.

— Парадокс истории! Но бог с ним, с папой,— Бим засмеялся. — У нас полно своих забот. С вами хотел бы побеседовать в неофициальной обстановке доктор Шахт.

— Где он?

— В ореховой гостиной, сэр. Мне проводить вас?

— Благодарю. Лучше устройте мне небольшую встречу с Франсуа-Понсе.

Когда Додд поднялся на третий этаж, где находилась ореховая гостиная, Яльмар Шахт уже ожидал его. На круглом полированного ореха столике стояли бутылки французского коньяка и ящичек манильских сигар.

— Рад вновь встретиться с вами, ваше превосходительство,— сказал, вставая, Шахт.

Они обменялись рукопожатием и опустились в кресла.

— Я слышал, доктор,— исподволь начал Додд,— что вы побывали в Базеле на международной конференции банкиров. Что там слышно?

— Финансовое положение в мире довольно сложное,— уклончиво заметил Шахт, обрезая сигару.

— Оно никогда не было простым. Меры по стабилизации доллара и фунта стерлингов оказались недостаточно эффективными.

— Это верно, господин Додд. По сути, англичане используют дешевый фунт стерлингов для борьбы с американскими промышленниками, которые, монополизировав рынки внутри Соединенных Штатов, стараются теперь прибрать к рукам английскую колониальную торговлю.

— Совершенно с вами согласен,— Додд вытянул ноги и поудобней откинулся в кресле.— Дешевый фунт стерлингов — это средство борьбы с американскими высокими таможенными тарифами.

— Я настроен не очень оптимистически, господин посол. Если стабилизация не будет проведена, нас ожидает экономическая катастрофа.

— Мои представления о сложной финансовой системе до того смутны, что я не могу составить себе сколько-нибудь определенного мнения на этот счет.

— Как вам понравился Фуртвенглер? — сразу же перевел разговор Шахт.

— Превосходный дирижер! Позавчера я видел в кинотеатре «Уфа Паласт» любопытный киновыпуск...— Додд не договорил и тоже занялся сигарой.

— Вы имеете в виду «Наш вермахт»? — не выдержал затянувшейся паузы Шахт.

— Совершенно верно. Эти бесконечные колонны солдат, эскадрильи пикирующих «штука-бомберов», торпеды, оставляющие в море вспененный след, производят довольно сильное впечатление. Кстати, господин министр, что означает закон о всеобщей воинской повинности?

— Это означает мир в Европе. Мой сын тоже отбыл положенный ему год службы, и все немцы должны сделать то же самое ради безопасности своей страны.

— Не так давно я был в оперном театре на Унтер-ден-Линден на торжественном заседании, посвященном памяти немецких героев.

— Вам понравилось?

— Чрезвычайно. Это нечто подобное нашему «Дню павших бойцов». Но дело не в том. Просидев минут десять, я был несколько встревожен тем, что, кроме меня, в зале нет ни одного посла. А назавтра я узнал из газет, что в этот день французский, английский, итальянский и польский послы побывали у господина канцлера, который официально объявил им о расширении армии.

— Это отнюдь не означает войны! — немедленно отозвался Шахт.

— Не скрою озабоченности моего правительства по этому поводу.

— Прошу вас заверить президента Рузвельта, что Новая Германия не хочет войны. Господин Гитлер приводил в своей речи «Четырнадцать пунктов» Вильсона в качестве основы для конференции стран Европы. Примут ли Соединенные Штаты участие в такой конференции?

— Сомневаюсь, хотя и считаю, что участие Америки в работе конференции, проводимой Лигой наций, чрезвычайно важно для всего мира. Президент за сотрудничество с Лигой наций, несмотря на то, что общественное мнение против такого сотрудничества.

— Общественное мнение переменчиво. Я уверен, например, что американский народ поймет в конце концов идеалы Новой Германии, хотя определенные круги и настраивают его против нее. Возьмем последнюю кампанию в американской печати...

— Американцы не могут одобрить антисемитских эксцессов, господин министр.

— Но ваша печать извращает истинное положение дел!

— Я проконсультируюсь со своим пресс-атташе.

— Наконец, эта шумиха по поводу процесса над Тельманом. Письма протеста, петиции...

— Насколько мне известно, такие письма поступают не в одно только американское посольство.

— Да, но американская пресса пользуется слишком большим влиянием в мире... Жаль, что ее направляют определенные еврейские и марксистско-либеральные круги.

— Я бы этого не сказал. Видите ли, я имею честь лично знать мистера Херста, и мне известен его образ мыслей. Лично он ни в малейшей мере не сочувствует Тельману.

— Но его газеты тоже поднимают вокруг этого шум.

— Газеты для того и созданы, чтобы поднимать шум. Согласитесь, господин министр, что основания для этого есть. Я лично не слышал, чтобы в цивилизованном мире кто-то дожидался суда почти три года. Между прочим, процесс все-таки состоится?

— Обвинительного материала для процесса собрано недостаточно.

— Я знаком с этой официальной версией. Но говорят, что господин Геббельс, выступая перед журналистами, выразился более определенно.

— Мне об этом ничего не известно.

— Будто бы доктор Геббельс сказал, что важен не сам процесс, а лишь пребывание Тельмана в надежной тюрьме... Но, право, господин министр, это не единственная тема для нашего разговора.

— Безусловно. Я уверен, что немцы и американцы будут жить в мире и дружбе. Позвольте мне провозгласить тост за взаимное уважение,— он налил в рюмки коньяк.

— Охотно, господин министр. Ваше здоровье!

Они подняли рюмки и стоя выпили.

Уильям Додд откланялся. Еще в дверях он заметил

Марту. Она весело болтала с Бимом и сэром Эриком в противоположном конце зала.

Пробиваясь к ним через оживленную толпу, он невольно ловил обрывки фраз. На разных языках говорили об одном и том же: о политике наци и войне. Португальский атташе на прекрасном английском языке беседовал с группой журналистов. Одного из них — Эхснера из агентства ЮПИ — Додд хорошо знал. Он остановился невдалеке и прислушался.

— Завещание Гинденбурга так и не нашли.

— Геринг купил у США аэропланы на миллион долларов.

— Подумаешь, миллион!

— К фюреру ездил расписываться весь дипкорпус.

— Что тут удивительного? Рейхсканцлер!

— Он больше времени проводит в Берхтесгадене, чем в бисмарковском кабинете.

— Вы знаете, кто его любовница?

— Эта ассистентка фотографа Гофмана?

— Она очаровательна.

— Он подарил ей бесподобный изумрудный гарнитур, отделанный бриллиантами.

— Вы знаете, что Шахт и Геббельс — враги?

— Геринг объявил войну католикам.

— Что думает министр по делам культов Керль?

— Фуртвенглер был великолепен. Между прочим, на «Эгмонте» были Гитлер и Геббельс.

— Как вы полагаете, что может дать англо-германское морское соглашение?

— Проще простого! Германия будет держать Россию на Балтике, а Турция навсегда закроет ей доступ в Средиземное море.

— Очень важно, чтобы Япония не дремала на Тихом океане.

— Японский посол вхож в самые верхи.

— В принципе, Англия и Франция стоят за мир. Главное — это остановить русских. Пусть немцы даже аннексируют Литву.

— А вы полагаете, что невозможен пакт Лаваль — Литвинов — Титулеску — Бенеш?

— Наци — бешеные волки. Возьмите хотя бы драматическое убийство австрийского канцлера Дольфуса.

— А югославский король? А Барту? Это тоже работа гестапо.

— Диктатура...

— Это не единоличная диктатура. Это триумвират: Гитлер, Геринг и Геббельс.

— Вы забыли Гиммлера.

— Тайная полиция? Это несерьезно.

— Людендорф терпеть не может Гитлера.

— Нельзя сбрасывать со счетов рейхсвер. Он еще скажет свое слово.

— Пушками, господа!

— Сказал же Папен, что с тридцатого января тридцать третьего года Германия вычеркнула из своего словаря слово «пацифизм».

— Они вышли из Лиги наций, покинули конференцию по разоружению. Все, по-моему, ясно...

— Десятилетнее соглашение о дружбе между Германией и Польшей — большой дипломатический успех Гитлера.

— Но это не шаг к миру. Пилсудского одурачили.

— Ничего. Они еще повторят австрийские события в Варшаве.

— Но Германия идет за Гитлером. На саарском плебисците он получил четыреста семьдесят три тысячи голосов. Абсолютное большинство!

— А как немцы приветствовали призыв к денонсации военных статей Версальского договора!

— Мы сами развязываем им руки. Разве англо-гер-

манское военно-морское соглашение — не самоубийство? Теперь они могут строить корабли и подводные лодки.

— Успокойтесь, господа, они их и так уже давно строят.

— Çe n'est pas normal[1]. Мы даем в руки поджигателю коробок спичек. Война вот-вот вспыхнет.

— Она уже пылает, господа.

— Вы имеете в виду нападение Муссолини па Эфиопию?

— Ах, это далеко от Европы...

Додд отошел от беседующих и направился к Марте. Не подлежит сомнению, думал он, что Гитлер стремится к войне. Когда он ее начнет — зависит от военной готовности Германии и от соответствующего предлога. Правительство ведет себя агрессивно. Ответственное, или вернее безответственное, трио — Гитлер, Геринг и Геббельс так мало знакомы с историей, что могут пуститься в безрассудные авантюры. Все они убийцы в душе... Как жаль, что английское правительство настолько недальновидно, что прислушивается к советам таких людей, как сэр Эрик. Он, несомненно, сочувствует фашизму. Вот Франсуа-Понсе — совсем другой человек. Надо будет с пим обязательно встретиться...

— Хелло, Марта!

— Хелло, Уилл!

— Франсуа-Понсе просит вас принять сегодня у себя мосье Берари,— тихо сообщил послу Бим.— Утром он вылетает из Темпельгофа в Париж. Судя по всему, он срочно везет доклад Франсуа-Понсе правительству. Кстати, французский посол сказал, будто его правительство решительно добивается, чтобы Англия, Франция и Италия заявили совместный протест против германских военных

---

[1] Это ненормально. *(Франц.)*

приготовлений. Франсуа-Понсе готов даже предложить всем этим государствам отозвать своих послов, если Германия будет и впредь нарушать Версальский договор.

— Пожалуй, в таком случае я тоже попрошу, чтобы меня отозвали,— улыбнулся Додд.— В котором часу может встретиться со мной Берари?

— После десяти.

— Хорошо. Передайте ему, что я буду ждать его у себя дома. Во сколько сегодня разъезд?

— Пожалуй, уже можно уезжать, сэр.

— Прекрасно. Мы так и сделаем. Как тебе понравился вечер, дорогая?

Из доклада посла Французской республики в Германии Франсуа-Понсе министру иностранных дел

На закате осеннего дня дом представляет собой воистину величественное, дикое зрелище. Человек спрашивает себя: не снится ли ему это? Ему хотелось бы знать: где он находится? В замке Монсальва среди рыцарей Грааля, в тайнике монахов Монт-Атоса или во дворце Антиноя, где-то в середине Атласских гор? Вызвано ли это к жизни фантастическими картинами Виктора Гюго, построено ли капризами миллиардера, или же это просто разбойничье гнездо, в котором бандиты хранят свои сокровища?..

Если бы кто-нибудь захотел изучить характер Адольфа Гитлера, он непременно обратил бы внимание на одно интересное обстоятельство: подъезды, горловина подземного коридора и все вокруг дома организовано на военный лад и находится под защитой пулеметных гнезд.

Глава 41

Берхтесгаден

Еще в 1925 году национал-социалистская партия приобрела этот мрачный купеческий дом для своего фюрера. Именно здесь, на юго-востоке Баварии, где суровый Оберзальцберг и ласковые виноградники в лощинах равно символизируют твердость и нежность германца, были заложены основы Новой Германии.

Став рейхсканцлером, Гитлер незамедлительно приступил к полной реконструкции своей резиденции. Он давно вынашивал грандиозные планы создания горной крепости, оборудованной по последнему слову техники. Это будет не только его убежище, откуда, в случае необходимости, легко уйти в Австрию или в Италию, но и воплощение смутных юношеских грез. Недоучившийся гимназист и несостоявшийся художник, он набрасывал карандашом контуры фантастических сооружений, эклектически сочетающих мрачный колорит средневековья со строгостью эллинских ордеров и невероятной роскошью из детективных романов дешевой серии. Даже в тюрьме, где он писал «Майн кампф», на полях рукописи появлялись вдруг стрельчатые арки, дорические колонны, портики и контрфорсы.

Но настал день, когда можно было осуществить дерзкую и больную мечту. Реконструкцией здания под личным наблюдением фюрера занялся творец «арийского классицизма» Шпеер, переделку ландшафта взял на себя инженер Тодт. Издали странное здание, построенное на вершине скалы на высоте 1900 метров, напоминало, пожалуй, современную обсерваторию с мощными рефракторами в меридианальных куполах. Но при этом возникало ощущение, что у телескопа сидит не астроном, а безумный чернокнижник. К замку ведет пятнадцатикиломет-

ровая автострада, идеальное покрытие и частые стремительные повороты которой как бы символизируют взлеты и блуждания мятущегося духа. Впрочем, с инженерной точки зрения это творение Тодта выглядит безупречно. Шесть тысяч рабочих три года прокладывали эту горную трассу, движение на которой разрешено лишь по особым пропускам с косой зеленой линией. У подножия горы дорога уходит в длинный скальный туннель, запирающийся двойной дверью из бериллиевой бронзы. Здесь днем и ночью дежурят три рослых эсэсовца с автоматами на груди. Следующий пост установлен в конце туннеля, у большого, обитого латунью лифта, вертикальная шахта которого пронзает всю толщу скалы снизу доверху. В мгновение ока кабина взлетает на высоту нескольких сотен метров, двери бесшумно раскрываются, и в глаза, успевшие привыкнуть к электрическому освещению подземелья, ударяет ослепительный горный свет, преломленный стенами из толстого хрустального стекла. Эти стены почти незаметны на фоне диких скал. Но когда солнце скрывается за свинцово-синим пиком Ватцманн, хрустальный дворец наполняется тяжелыми багровыми отсветами и густыми черно-фиолетовыми тенями.

«Здесь,— писал биограф Гитлера,— высоко над миром восседает на троне недосягаемый германский фюрер. Это — его логово. Отсюда он противопоставляет себя вечности, отсюда объявляет войну векам».

Но когда впечатляющие эффекты осенних закатов сменяются ровным дневным светом, окруженный римской колоннадой дворец выглядит несколько карикатурно. Особенно утром, когда фюрер, расстегнув коричневый китель СА, садится в шезлонг у мраморной балюстрады погреться на солнышке. Иногда туда же выходит и Ева Браун в голубом шелковом купальнике. Позируя для кинохроники, она любит держать в руках голенького младенца, которого операторы специально приносят для этой цели

с собой. Еще она кормит голубей и вычесывает шерсть у любимой овчарки. Эсэсовцы из пулеметных расчетов с нетерпением ждут появлений фройляйн Браун. Иногда она приветливо машет им рукой и бесхитростно улыбается.

На каменном престоле Вотана поселился мелкий буржуа. Кажется, лишь одно небольшое обстоятельство мешает ему наслаждаться идиллической жизнью: он носит мундир штурмовика и железный крест, а не, скажем, куртку железнодорожного кондуктора и свисток...

Личный адъютант Гитлера Видеман позвонил Гейдриху в девять утра и сказал, что фюрер хочет побеседовать с ним по поводу секретного письма гестапо от 12 июня 1936 года. Гейдрих хорошо помнил это письмо, оно было целиком посвящено Тельману.

Быстро собрав материалы, Гейдрих поехал на вокзал. После вчерашнего он был в полном изнеможении. Затылок ломило, во рту стоял кислый металлический привкус. Но не встряхнуться нельзя было. Перед этим три недели он работал как проклятый, без отдыха. Чувствовал, что уже не выдерживает. А вчера выдался свободный вечер, и в нужную минуту подвернулся Вальтер Шелленберг.

Лучшего спутника он себе и не желал. Ему нравился этот спокойный интеллигентный офицер. Правда, Шелленберг немножечко сноб, но это даже пикантно. А на своем месте он незаменим. Свободное мышление, оригинальный склад ума.

— Давайте махнем сегодня куда-нибудь,— предложил Гейдрих.— Разумеется, в штатском.

— Идет,— сразу же согласился Шелленберг, прекрасно знавший, что шеф обожает женщин.— Только куда? — Он даже пожалел Гейдриха. Бедняга совсем заработался. Не хватает времени на жизнь. Только такие вот редкие неистовые вечера бурного, неистребимого натиска. Это викинг, завоеватель и покоритель, но на всю баталию у

него только одна ночь...— Куда бы вы хотели? — вновь спросил он, видя, что Гейдрих раздумывает.

— Ну, куда-нибудь, где можно хорошо поужинать, а потом и проветриться...— уклончиво ответил Гейдрих, но тут же нетерпеливо заторопился.— Идите переодевайтесь, Вальтер! — В такие вот редкие минуты совместных похождений они звали друг друга по имени.— Только не берите машину. Пойдем пешком.

Пока он осторожен и не хочет лишних свидетелей, подумал Шелленберг уходя, но придет час, он встретит очередную неприступную с виду незнакомку — и вся осторожность побоку. Забудет все на свете и весь свой талант, все силы души, как последнюю карту на стол, выбросит в один вечер. И добьется своего... А все для чего? Чтобы холодно отбросить потом и с брезгливой усмешкой уйти. Нет, он не ищет наслаждения. Просто ему нужно каждый раз убеждать самого себя, что он всемогущ и ничто не устоит перед его волей. Он страшный человек. И эта единственная слабость мешает ему быть сверхчеловеком.

А Гейдрих тем временем в задней комнате своей приемной нетерпеливо возился с аметистовыми запонками, которые никак не лезли в узкие петли накрахмаленных манжет...

Они хорошо повеселились, до сих пор в голове звенит. Но это скоро пройдет. Игра явно стоит свеч. Объект попался очень занятный. Он доволен. Кроме того, во время попойки в «Урании» ему пришла в голову весьма любопытная идея, над которой стоит поразмыслить. Лишь одно его омрачает: неожиданный вызов в Берхтесгаден. Он хотел бы предстать перед фюрером свежим, отдохнувшим, когда каждая жилка играет и все нервы напряжены. Там нужны острый глаз, безошибочный нюх и мгновенная реакция, иначе можно нажить беду. Ну, ничего, он попробует отдохнуть в спецвагоне. Надо будет только спросить минеральной воды. Этой французской, «виши»...

Ему действительно удалось в дороге немного вздремнуть. Он побрился, протер кожу одеколоном, помассировал щеки. Землистые круги под глазами, правда, остались. Но это даже хорошо: следы постоянной работы, недосыпания.

Поезд прибыл в Берхтесгаден днем, в самую жару. Было душно, совсем не чувствовалось освежающей близости горных высот. Гейдрих сел в ожидавшую его машину и сразу же опустил окно. Он боялся, что его станет мутить от бензинного перегара.

Дорога прошла хорошо. Пропуск на стекле избавлял его от постоянной проверки документов. Но у входа в туннель охрана тщательно осмотрела машину. Лишь после того, как молодой офицер с лицом херувима захлопнул багажник, бронзовые двери раскрылись, и машина медленно въехала в освещенный огромными тысячеваттными лампами туннель.

Перед лифтом Гейдрих отстегнул кобуру с парабеллумом и вручил ее вахтенному офицеру. В кабину вместе с ним вошел эсэсовец с двумя глубокими шрамами на левой щеке — следами студенческих забав. По безучастному, скучающему даже виду охранника Гейдрих понял, что никто здесь не знает его в лицо. Это было в порядке вещей.

В круглом зале, несмотря на жару, пылала в камине огромная охапка дров. Вокруг стола заседаний, как всегда, стояли тридцать три стула. Гейдрих знал, что фюрер придает значение тройному мистическому числу одиннадцать.

Говорили, что орден храмовников, исповедовавший тайный культ сатаны, управлялся одиннадцатью командорами. Не от них ли фюрер заимствовал эмблему — крест из четырех согнутых в беге ног? Об этом как-то обмолвился рейхсфюрер Гиммлер. Впрочем, Гейдрих знал почти наверняка, что идею свастики подсказал Гитлеру не-

кий Гурджиев — азербайджанец, проживший долгие годы в Тибете. Это подтверждал и тот постоянный интерес, который фюрер питал к мрачным мистериям Азии. Гейдрих знал, что в специальных учреждениях СС есть несколько тибетских лам. То ли они гадают Гиммлеру на закопченной бараньей лопатке и составляют гороскопы, то ли наставляют в мистическом ритуале свастики и черепов, Гейдрих точно не знал.

Но пересчитав сейчас пустые стулья, он подумал, что стоит заняться этим подробнее. Мистические заскоки начальства можно будет использовать в своих целях. Прежде всего, он попробует прощупать гиммлеровского массажиста Керстена, от которого у рейхсфюрера нет секретов.

В этом безжалостно освещенном зале Гейдрих чувствовал себя, как в кабине самолета. Дом висел над пропастью. Голая скала круто уходила вниз, закругляясь в глубине в исполинскую чашу. В легкой дымке лежали на ее дне крохотные деревеньки и Зальцбург, окруженные острыми контурами горных цепей.

Вошел Видеман и пригласил Гейдриха в кабинет. Он последовал за адъютантом и, пройдя несколько элегантно обставленных салонов, остановился перед резной дверью мореного дуба.

Видеман распахнул одну ее створку и пропустил Гейдриха, который вошел боком, зажимая под мышкой портфель.

Гитлер сидел в кресле у самого окна и почесывал ухо большой улыбчиво оскаленной овчарки. На окне щебетала в клетке зеленовато-желтая канарейка.

Гейдрих щелкнул каблуками и выбросил в приветствии руку.

— Здравствуйте, Гейдрих,— фюрер поднялся ему навстречу.— Иди, милая,— он легонько шлепнул собаку. Она послушно вышла, и Видеман бесшумно закрыл дверь. Гейдрих пожал протянутую руку стоя по стойке смирно,

не сгибая спины. Он лишь резко наклонил и тут же поднял голову.

— Садитесь,— пригласил Гитлер.— Я вас ждал.— И, глядя вслед ушедшей собаке, неожиданно сказал: — Знаете, Гейдрих, чем больше я узнаю людей, тем больше люблю собак,— и в глазах его была та же немая и сладкая собачья тоска.

У Гитлера был очередной приступ меланхолии. Следовало остерегаться, и Гейдрих внутренне подтянулся. Он знал, что фюрер особенно опасен в те часы, когда никто, и прежде всего он сам, не знает, чего он хочет. Взрывы бешенства и слепой ярости, когда фюрер и рейхсканцлер катался по полу и кусал ковры, страшили Гейдриха куда меньше. Он знал, что они во многом были наигранны и вызывались искусственно. Но сентиментальная и тошнотворная меланхолия приходила к Гитлеру сама, и нельзя было предугадать, на какие поступки она его толкнет.

— Я приготовил вам подарок, дорогой Гейдрих,— сказал Гитлер, грызя зубочистку.

— Благодарю, мой фюрер.

— Вот, возьмите, — порывшись в бумажнике, Гитлер достал оттуда пожелтевшую визитную карточку.— Сейчас я вам ее надпишу.

Адольф Гитлер,
писатель

«Дорогому Гейдриху»,— написал фюрер на обороте и поставил число.

— Берегите ее,— он наставительно поднял палец.— Это память о тех годах, когда я писал свою книгу.

Гейдрих сейчас же припомнил, что в «те годы» фюрера финансировал и помогал ему писать книгу нынешний шеф бюро иностранной печати Эрнст Ханфштенгль.

Ныне «франта» перестали пускать пред светлые очи. Что это? Намек ему, Гейдриху, что хранитель тайн той знаменательной ночи слишком засиделся на этом свете? Одного такого любимчика, ясновидящего Ганнусена, уже спровадили куда надо после столь же неуловимого намека. Правда, тогда за намеком фюрера последовал ясный приказ ныне покойного Рема... Так как же понимать этот неожиданный подарок?

— Когда-нибудь,— печально вздохнул Гитлер,— лишь такие случайные реликвии останутся от нашей героической эпохи.

Гейдрих сочувственно покачал головой и вздохнул. Он вынул бумажник, где за целлулоидным покрытием улыбалась фрау Гейдрих с двумя малютками, и нарочито медленно, чтобы фюрер увидел, закрыл визитной карточкой лицо жены.

— Да, мы уйдем с этой земли, Гейдрих, но что-то останется от нас, что-то останется.

— Тысячелетний рейх, мой фюрер! У меня есть идея.

— Говорите, Гейдрих, говорите.

— Мы оставим будущим поколениям великую книгу! Пусть ее благоговейно раскроют немецкие руки через тысячу лет.

— Да, меня будут читать тогда,— безучастно отозвался Гитлер и отвернулся.

Гейдрих тут же понял, что выразился неточно.

— Я хотел сказать,— поправился он,— что великая книга должна быть вечной не только духом, но и в материальном своем облике. Нужно изготовить вечный экземпляр «Майн кампф».

— Как? — Гитлер заинтересованно склонил голову набок.

— Из самых лучших ягнят чистокровной немецкой породы мы изготовим по способу древних германцев листы пергамента, а лучшие наши художники от руки пере-

пишут на них священные слова. Переплет же можно изготовить из отличной высоколегированной крупповской стали!

— Пушечной стали! — загорелся Гитлер.

— Так точно. На переплете будет вырезан герб рейха!

— Сталь тоже нужно сварить по способу древних германцев.

Гейдрих не был уверен, что древние германцы умели варить сталь, но тут же развил мысль фюрера.

— Немецкие горняки ручным способом добудут для этого руду, а шахтеры — уголь.

— Пусть это будут расово полноценные руки.

— Разумеется, мой фюрер. Каждый, кого допустят к почетной работе над книгой эпохи, будет предварительно проверен... Драгоценный фолиант будет помещен в основание обелиска с указанием для потомков: «Вскрыть через тысячу лет!»

— В этом есть нечто от обители наших северных богов, нечто от валгалы, Гейдрих. Обелиск из серого гранита, северная суровость... Или из коричневого? Я, пожалуй, сделаю набросок.

— Надпись, конечно, будет выполнена руническим письмом,— Гейдрих чувствовал, что выиграл сражение.

— А книга — готическим! Большие черные готические буквы!

— Прописные — красные, как кровь, мой фюрер.

— Нам с вами пришла в голову хорошая мысль!

— Это дух здешних гор осенил вас, мой фюрер,— скромно потупился Гейдрих. — Берхтесгаден — сердце Германии.

— Сердце...— задумчиво повторил Гитлер.— Оно отдает приказ руке, сжимающей копье! Не мозг! Сердце! Германская кровь. Мы никогда не сможем заниматься большой политикой без прочного, закаленного, могучего ядра, образованного восемьюдесятью или ста миллионами нем-

цев, проживающих в замкнутом поселении,— он расставил руки и медленно сомкнул их в виде круга.— Следовательно, первой задачей является создание Великой Германии. Вокруг Великой Германии мы организуем систему мелких и средних вассальных государств, в которую войдут Прибалтийские государства, Польша, Финляндия, Венгрия, Югославия, Румыния, Украина и многочисленные южнорусские и кавказские государства. Это будет федеративная Германская империя,— он прищурился, словно пытался разглядеть, что скрывается за черным зазубренным контуром потонувших в тени скал.— Да... Эти территории нужно заселить немецкими крестьянами, славян нужно частично уничтожить, а частично переселить в Азию, у остальных нужно отнять землю и превратить их самих в слуг господствующей германской расы.

На Востоке мы распространим свою власть до Кавказа или Ирана, на Западе нам необходимы Фландрия и Голландия, но мы не откажемся и от Швеции. Германия либо будет господствовать над Европой, либо она распадется на множество мелких государств. Третьего не дано!

Гейдрих читал «Майн кампф», но, слушая фюрера, он внимал этим знакомым словам как откровению, будто завороженный грандиозными перспективами, открывшимися вдруг в невидимой той дали за ником Ватцманн.

— Вы говорили с Зейсс-Инквартом? — нахмурился Гитлер.

— Да, мой фюрер! Австрийские СС...

— Австрийские? Как вы сказали, Гейдрих,— австрийские? Я не желаю слышать этого слова! Восточные Марки, Гейдрих! Запомните: Восточные Марки.

— Виноват, мой фюрер! СС Восточных Марок готовы в любую минуту выполнить приказ своего фюрера. Зейсс-Инкварт просил заверить вас в этом.

— Она настанет, Гейдрих, будьте уверены. Двадцать пятое июля было лишь репетицией... Я знаю, что у нас

там преданные друзья. Восемьдесят девятый штандарт СС вписал немеркнущие страницы в историю движения. Кальтенбруннер, Глобоцник — это настоящие рыцари идеи.

— Смею рекомендовать вам еще Скорцени, мой фюрер. Он хорошо себя проявил.

— Как вы сказали?

— Скорцени. Отто Скорцени.

— Хорошо. Я запомню это имя. Мне нужны преданные люди, жестокие, беспощадные. Природа жестока, поэтому и мы должны быть жестоки. Я могу послать цвет германской нации в ад войны без малейшего сожаления, что прольется драгоценная кровь... Тем большее право имеем мы устранять миллионы людей низшей расы, которые размножаются, как мошкара... Гиммлер передал вам мое пожелание?

— Да, мой фюрер. Мы уже нашли подходящего человека для изучения вопроса.

— Кто он?

— Штурмбанфюрер СС Адольф Эйхман, весьма знающий офицер. Характера совершенно нордического. Между прочим, он тоже из Австр... Восточных Марок, мой фюрер.

— Покажите мне его как-нибудь, Гейдрих. Я хочу видеть этого человека.

— Слушаюсь, мой фюрер.

— Ну давайте, что там у вас...— Гитлер поморщился и вновь отвернулся к окну,— с Тельманом?

— Одну секунду, мой фюрер,— Гейдрих подхватил портфель и достал папку с подколотым письмом гестапо. Оно было отпечатано в двух экземплярах: один находился в канцелярии фюрера и рейхсканцлера, другой — у него.— Согласно вашему распоряжению, мой фюрер,— Гейдрих встал, как для доклада, позволив себе лишь чуточку расслабить колени, — Тельман, как подследственный,

оставлен в тюрьме Моабит и содержится в таких условиях в отношении обращения, питания и надзора, которые приняты в тюрьме.

— Знаю,— сказал Гитлер.

Гейдрих понимал, что фюрер достаточно хорошо осведомлен. Он вызвал его для разговора о Тельмане, поэтому, о чем бы ни шла речь в начале беседы, фюрер неизбежно заговорит о коммунистическом лидере. Он всегда все помнит.

— Что с этими коммунистами, которые пытались устроить ему побег?

Ах, он об этом, обрадовался Гейдрих. Это забота рейхсмаршала Геринга, а мы свое дело сделали.

— Их судили, мой фюрер. Двое казнены, остальные отправлены на перевоспитание.

— Что?! Что вы говорите, Гейдрих? Какое перевоспитание?

— Это компетенция судебных органов,— спокойно ответил Гейдрих, но тут же добавил: — Мы в сопроводительных бумагах высказали пожелание: «Возвращение нежелательно».

— Другие попытки были?

— Нет, мой фюрер.

— Чем же тогда обеспокоено гестапо?

— Следует особо подчеркнуть, мой фюрер,— Гейдрих докладывал словами письма: он хотел лишний раз показать, что память у него не хуже, чем у самого фюрера,— что его жена, которая регулярно приезжает из Гамбурга, помогает ему поддерживать связь с внешним миром. И это невзирая на установленный в тюрьме строжайший надзор,— он сделал паузу, чтобы Гитлер проникся смыслом последних слов, иначе могла последовать вспышка гнева.

— Яснее, Гейдрих!

— Полицейский надзор в Гамбурге показал, что жена

Тельмана неоднократно устанавливала связь с иностранными делегациями. В часы же свиданий в крайне осторожной, непонятной для надзирателя, вероятно, условной форме и во внешне невинных выражениях, знаками и взглядами, она давала ему понять, как живо интересуются его судьбой... Особенно за границей.

— И сообщала подробности планов побега?

— При хорошем взаимопонимании между мужем и женой постороннему лицу практически невозможно распознать, о чем они говорят. В коротких замаскированных репликах можно передать и сведения о попытках устроить побег. В результате частых свиданий за последние три года они приобрели такой опыт маскировки, что становится трудно уследить. Гестапо просит в этой связи значительно сократить число свиданий.

— Сделайте это.

— Будет исполнено, мой фюрер.

— Никогда не поверю, Гейдрих, будто вы ничего не сумели придумать, чтобы узнать, о чем они говорят.

— Нет ничего проще, мой фюрер. Если вместо отведенного для встреч помещения можно было бы допустить фрау Тельман непосредственно в камеру и оставить с мужем наедине...— Гейдрих многозначительно замолчал.

— Почему же это до сих пор не сделано? Микрофонов не хватает?

— Если на то будет ваше разрешение...

— Я приказываю, Гейдрих!

— Будет исполнено, мой фюрер.

— Так вы и не знаете, о чем они шепчутся? — Гитлер недоверчиво прищурился.

— Они никогда не шепчутся, мой фюрер. Последнее свидание девятого июня показало, что она пытается передать мужу сведения весьма простым путем. Она передала Тельману, как обычно, несколько свежих экземпляров газет «Гамбургер фремденблатт» и «Гамбургер ниюст-

рирте». Среди них была найдена ранее изъятая из посылки шестая страница вечернего выпуска «Гамбургер фремденблатт» от шестого июня 1936 года со статьей «Ответственность за террористические акты по процессу». В ней идет речь о процессе Эдгара Андре, руководителя гамбургского Союза красных фронтовиков. Тельмана в качестве главного свидетеля в ближайшие дни должен допросить председатель Верховного суда. Жена Тельмана, безусловно, пытается повлиять на показания мужа. Председателя президиума суда гестапо проинформировало.

— Суд! Надо все радикально менять, Гейдрих. Упрощать эту никому не нужную процедуру. Значит, Тельман по-прежнему не изолирован?

— Весьма вероятно, что его жена, получая большие суммы из-за границы на адвокатов, и служит передаточным звеном.

— Адвокат, который сбежал, развил в Париже бурную деятельность. Он же вывез все дело! Это ваше упущение, Гейдрих.

— Подбором адвокатов занимались другие инстанции, мой фюрер. Относительно же Рёттера я уже дал указание Шелленбергу.

— Пора прикрыть всю эту шумиху за рубежом.

— Да. Она многое осложняет. Иностранные посольства завалены продуктовыми посылками на имя Тельмана, не говоря уже о корреспонденции.

— Следовало бы больше знать, что творится в этих посольствах.

— Некоторыми шифрами мы уже располагаем...

— Они слишком часто меняются, и это дорого стоит.

— Мы разработали один план, мой фюрер.

— Говорите.

— Речь идет о создании особого заведения, мой фюрер, где смогут бывать дипломаты, иностранные журналисты, предприниматели и прочие лица, которые причастны к

работе иностранных осведомительных служб. Интимный интерьер... Хорошая кухня, музыка... Одним словом, чтобы мысль о дамском обществе рождалась как бы сама собой. И мы дадим господам иностранцам таких дам!

— Поручите это Артуру Небе. Он знает все бордели Германии.

— Безусловно, мой фюрер, шеф крипо должен их знать. Но мы привлечем к работе еще и самых блистательных звезд из европейских столиц: певичек, манекенщиц и прочих дам полусвета, свободно владеющих языками. Остальному мы научим их сами.

— Одного этого мало,— Гитлер неожиданно улыбнулся.

— Безусловно, мой фюрер! — обрадовался Гейдрих.— Мы сделаем двойные стены и нашпигуем их оптикой и звукозаписывающей аппаратурой.

— И как вы назовете этот свой... это заведение?

— «Салон Китти»,— мысленно улыбнулся Гейдрих, вспомнив вчерашнюю ночь.

— Хорошо. Согласуйте с рейхсфюрером СС и представьте смету. Что вы намерены предпринять в отношении этого?..— он опять поморщился.

Гейдрих понял:

— Гестапо считает необходимым разрешать передачу продуктов только через третье лицо. Передачи от жены позволять, только если все продукты будут куплены в столовой тюрьмы Моабит.

— Одобряю. Но пусть и эти продукты доставляет ему тюремный служащий. Что еще?

— Было бы целесообразно ежемесячно отбирать у Тельмана всю корреспонденцию и сохранять в его личном деле.

— Согласуйте с рейхсмаршалом Герингом. Охрану усилили?

— Согласно вашему приказу создана охранная коман-

да из двадцати человек, вооруженных автоматами, карабинами и пистолетами. На Турмштрассе и Ратеноверштрассе установлены дополнительные полицейские посты, которые усиливаются по ночам. Тюремные чиновники, предназначенные для несения службы во флигеле, где содержится Тельман, подвергаются специальной проверке.

— Чего же вам еще? Я нахожу эти меры достаточными.

— Устранить полностью опасения гестапо нельзя до тех пор, пока жене Тельмана не будет совсем отказано в свиданиях.

— Вы сами хорошо знаете, Гейдрих,— Гитлер начинал выказывать раздражение,— что в создавшейся ситуации это нецелесообразно. Лучше устранить этот надоедливый шум вокруг Тельмана!

— Позволю себе присоединиться к просьбе рейхсфюрера Гиммлера передать Тельмана специальным учреждениям СС.

— Нет. В лагере он сразу же превратится в опасный притягательный центр. Кроме того, там труднее избежать непредвиденных случайностей... Как вы думаете, Гейдрих, что сделал бы с нами Тельман, будь он у власти?

— Уничтожил бы, мой фюрер.

— Правильно. Врагов нужно уничтожать. Беспощадно! Мы это делаем и будем делать в невиданных масштабах... Но, видите ли, мой дорогой Гейдрих, есть враг — и враг. Иногда смерти бывает мало. Смерть врага радует сердце германца. Но и сознание, что над головой обреченного занесен меч, тоже очень много значит. Казнь Тельмана все еще длится. Вы поняли меня?

— Да, мой фюрер,— Гейдрих видел, что Гитлер не хочет выказать своих истинных намерений. Возможно, он и сам еще не осознал их до конца. Фюрер часто сле-

довал мгновенным капризам, неожиданным озарениям и влиянию случайных, иорой самых случайных лиц. Но ему было свойственно и другое. Он мог тайно лелеять, долго вынашивать иодобную маниакальной идее мысль, чтобы в удобный момент молниеносно ее осуществить.

Гейдрих не смог в этот раз прочувствовать, интуитивно разгадать запутанный мыслительный процесс фюрера, и не настаивал более. Всегда осторожный и дальновидный, в разговорах с фюрером он становился осторожным вдвойне.

— Как продвигается подготовка плана «Грюн»? — Гитлер пристально взглянул на Гейдриха, но тот, как обычно, непринужденно отвел глаза.

— Рейхсвер доволен сотрудничеством с нами.

— Учтите, нужна крайняя осторожность.

— Слушаюсь, мой фюрер.

— Война с Россией должна быть выиграна еще до первого выстрела...

Гейдрих щелкнул каблуками.

— Мне было приятно побеседовать с вами. Помните, что в Берхтесгадене вы всегда желанный гость... Пришлите мне личное дело Эйхмана.

Из хроники утреннего выпуска «Берлинер берзенцейтунг»

Единодушный восторг! Безудержный энтузиазм масс! Рабочие Гамбурга радостно приветствуют своего фюрера. Путь торжественного кортежа проходит мимо дома, в котором когда-то жил Тельман, мнивший себя властителем Гамбурга, а ныне — величина, отошедшая в прошлое.

Радиограмма из Мадрида
от бойцов 12-й Интернациональной бригады

Батарея имени Тельмана приветствует своего почетного командира.

Дорогой товарнщ Тельман!

Пять месяцев иазад, когда мы дали иашей бригаде твоё имя и двинулись с орудиями на Мадрид, мы все, от рядового бойца до комаидира, чувствовали, что взяли на себя большие обязательства. Среди иас были представители шестнадцати национальностей, представители всех антифашистских партий, молодые добровольцы и старые солдаты, участники мировой войны. Мы говорили на различных языках, но понимали друг друга, когда речь шла о главной задаче — быть достойиымн твоего нмени.

С тех пор мы вели бои в Университетском городке на окраине Мадрида, участвовали в победоиосиом бою под Лас-Росас, поддерживали наступление у Мирабуеио, помогали отбивать атаку иа реке Хараме н сражались под Бриуэгой.

Впереди — иовые бои. Народ Испании переходит в контратаку. Мы знаем, что боремся за свободу страны, которая особеиио упорно и самоотверженно вела н ведет борьбу за твое освобождение.

И мы знаем, что каждый выстрел иаших орудий расшатывает стены гигантской тюрьмы, в которую превратил наше немецкое отечество гитлеровский фашизм. В день твоего рождения мы клянемся тебе, товарищ Тельман, удвоить иаши силы н плечом к плечу с молодой н храброй армией испанского Народного фронта двигаться вперед, к новым победам. Сегодня, в день твоего рождения, батарея избрала тебя своим почетным командиром.

Мы всем сердцем с тобой, товарищ Тельмаи. Орудия нацелены. Можешь положиться на нас.

Рот фронт, товарищ Тельман!

Глава 42

Второй курьер

Эдвин стоял на гранитных бунах Куксхафена. С грохотом разбивались мутно-зеленые, как бутылочное стекло, волны, из осклизлых щелей стекала

стремительная молочная пена. От выброшенных прибоем черных гниющих куч шел крепкий йодистый запах. По забрызганным чаичьим пометом каменным плитам прыгали стеклянные водяные блохи. Следовало ждать шторма.

Горизонт затянуло размытыми перистыми облаками. Ветер налетал порывами и долго шуршал в камышах. Рассеянный свет тяжело слепил глаза.

Пожалуй, эта его поездка была самой стремительной. Прага, Берлин, Гамбург — и на все два дня...

Дребезжит трамвай на пути к Вацлавской площади, звеня несется по крутому спуску у Голешовичек. Торжественные свечи цветущих каштанов, потом опадающий на горячую от солнца брусчатку липовый цвет. Ласковый безмятежный зной. Пруд в Паненских Бржежанах совсем позеленел. Сухой лист медленно крутится у берега в недвижной воде. А отраженное в ней небо — чисто-синее, и белые легкие облака. Мальчишки ловят медных карасиков. Холодный меркнущий лоск чешуи. Смех. Чужая мягкая, словно ласкающая речь.

Оставив беленький под синей крышей домик на Градчанах, он поехал в Судеты. Границу перешел легко, благо живущим в Чехословакии немцам препятствий не чинили. Чешские коммунисты рассказывали, что судетские немцы тайно установили через границу две телеграфные линии с Берлином. Полиция их не обнаружила. Возможно, боялась найти слишком многое. Пражское правительство остерегалось раздражать воинственного соседа. Инженер Тодт подводил свои автобаны к самым шлагбаумам, которые быстро поднимались, чтобы без лишних формальностей пропустить очередную машину с германским номером.

Эдвин прибыл в Берлин для встречи с Гербертом. После пражской тишины столица рейха оглушила его ревом военных маршей. По улицам печатали шаг беско-

печные колонны солдат. Холодно поблескивали ножевые штыки. Медленно ползли бронемашины. Над Унтер-ден-Линден низко стлалась синяя бензинная вонь. Отряды эсэсовской кавалерии сменялись оркестрами. Ревели трубы, звенела раскаленная медь тарелок, глухо рокотали барабаны. Толпы берлинцев дожидались у цейхгауза смены вахт. Восторженно следили за четким выполнением ружейных приемов. Притоптывали в такт прусскому шагу. Они ревели от восторга, когда появлялся какой-нибудь генерал. Малиновые отвороты и лампасы встречали аплодисментами...

Герберта он разыскал довольно скоро, и они встретились под вечер в Тиргартене.

— В последние дни гестапо произвело многочисленные аресты. Несколько явок завалено,— сказал Герберт.— Основная работа перенесена на север. Ион руководит, пожалуй, самой боеспособной теперь группой. Тебе нужно обязательно с ним встретиться.

Эдвин хорошо знал Иона Зига по прежней работе. Это был один из самых талантливых сотрудников «Роте фане».

— Где он теперь? — спросил Эдвин.

— В Нойкёльне. Ему нужна непосредственная связь с ЦК. Ты поможешь ему установить более регулярные контакты с зарубежным руководством.

— Понятно,— кивнул Эдвин.

— Товарищ Вильгельм знает Иона. Он говорил со мной о нем после партийной конференции в Брюсселе.

— Как Макс?

— Поправляется. Медленно, но поправляется. Врач сказал, что пулю, которая застряла в легком, трогать пока не следует. Он просил передать тебе привет.

— Спасибо. Что еще?

— Наши решили, что теперь ты один будешь работать со Стариком. Меня переводят на другое...

— Понятно. А как же Мария?

— Я тебя с ней познакомлю. Встретимся завтра в семь вечера на побережье. Знаешь кафе «Чайка» в Куксхафене?

— Найду.

— Тогда до завтра.— Герберт достал сигарету и, словно по рассеянности, оставил пачку на скамейке.— Столик второй справа,— бросил он уходя.

Когда он ушел, Эдвин взял пачку и, закурив, сунул ее в карман.

И вот теперь он на окраине Куксхафена. Любуется морем. Следит, как бухает и шипя разбивается в пену волна. Оглушительно кричат чайки — черноголовки, моёвки, сизокрылки. В детстве он любил собирать чаичьи яйца. Право, это дело требовало храбрости и выдержки. Разгневанные чайки самоотверженно атаковали грабителей. И не каждый мог устоять перед неистовой их атакой.

Разворотил носком ботинка штормовую кучу. Запрыгали блохи. Среди черных подсохших водорослей валялись выбеленные, как кость, куски плавника, мелкие ракушки, сорванный с сетей поплавок.

Время близилось к шести. Пора было идти.

Он неторопливо поднялся вверх по откосу и, миновав лесопилку, напрямик пошел к трамвайному кругу. Решетчатые столбы одиноко чернели в мутноватом белозеленом сумраке. В сплетении проводов выплыла маленькая и белая, как огуречное семя, луна. Пока вагон тащился до Баренфельда, луна успела вырасти и стать латунной.

Эдвин легко нашел «Чайку». Нужный столик оказался свободным. Избалованный «праздроем» и «пильзенским», он попросил бутылку датского «старого Карлсена» и бутерброд с кильками. Герберт и Роза пришли минут через десять. Заняли соседний столик, заказали кофе.

Краем глаза Эдвин следил за Розой. Он почему-то представлял себе ее совсем не такой, во всяком случае более молодой. Она оживленно беседовала с Гербертом.

Вот глаза у нее действительно молодые. И взгляд: прямой, уверенный. Но лицо усталое, и у глаз безжалостные гусиные лапки. Стареющая, довольно полная женщина. Да, ей в жизни досталось... Морщины на шее, красные пятна на локтях.

Они допили свой кофе и, даже не взглянув на Эдвина, ушли. Он неторопливо вылил остатки пива в стакан. Дал немного осесть пене и выпил. Потом закурил сигарету, расплатился и вышел на улицу. Постоял немного, огляделся и вразвалочку пошел к спортивному магазину с эмблемой общества «Фихте».

Возле аптеки он перешел на другую сторону и свернул за угол. В крохотном скверике увидел Розу и Герберта. Медленно прошел мимо. В следующем переулке, где был колбасный магазин, они догнали его.

— Здравствуй, Эдвин,— сказала Роза.

— Привет, Мария.

— В среду я была у Старика.

— Как тебе удалось?

— Добилась.

— Как он там?

— Жалуется на рези в животе.

— Надо посоветоваться с врачом.

— Я уже была. Он назначил лекарство, но его не разрешили передать.

— Хорошо. Я попробую через надзирателя Эмиля. Лекарство у тебя с собой?

— Конечно.— Она раскрыла потертую лаковую сумочку и достала пробирку с таблетками.— Он просил сказать вашим, что одобряет избрание Пика председателем партии. Считает решение очень правильным.

— Он знает, что мы готовим новую попытку?

— Он понимает, насколько это все трудно.
— Теперь особенно.
— Да, он все знает. И считает, что следует выждать. Просит не идти на бессмысленный риск.
— А каково общее положение?
— Некоторые обстоятельства наводят на размышления.
— Что-нибудь угрожающее?
— Не знаю, но на свиданиях каждый раз присутствует новый надзиратель. По-моему, это становится системой. В среду тоже был другой. Его фамилия Каснер или Кестнер. Мне он очень не понравился. Он задавал Старику чудовищно провокационные вопросы. В моем присутствии! «Предлагаю вам созвать здесь, в тюрьме, собрание,— сказал он,— и выступить по вопросу о национал-социализме. Вы скажете, что отказались от своего мировоззрения, что марксизм — лжеучение, и призовете собравшихся осознать это и отречься от коммунизма».
— Дурак,— сказал Эдвин.
— Нет,— покачала головой Роза.— Не дурак. Они знают, как Старик реагирует на такие вещи, и сознательно изводят его.
— Конечно,— сказал Герберт, шедший чуть позади,— они меньше всего надеются, что он их послушает. Они просто травят его. Мария права.
— Старик прямо уничтожил его взглядом.— Роза быстро огляделась, но они были одни.— «Я никогда не пойду на это,— ответил он,— что бы вы со мной ни сделали». Это, как ты понимаешь, он сказал уже для меня. Значит, его положение ухудшилось.
— Скорее всего,— сказал Эдвин.— Как он выглядит?
— Похудел. С прошлого раза — похудел.
— Последний раз Эмиль видел его месяц назад,— сказал Эдвин.— Его как раз вели мыться. Он выглядел хорошо. Он ведь много занимается гимнастикой, и это поддерживает в нем бодрость. Надзиратель восхищен, что Старик

так твердо держится и ни на что не поддается. «Я, — сказал он,— на его месте безусловно не выдержал бы».

— Не только он,— сказал Герберт.

— И все-таки Эмиль молодец,— сказала Роза.

— Еще бы! — Эдвин показал большой палец.— Он нам здорово помогает. Не унывай, Мария.

— Я не унываю. Но положение ухудшилось.

— Понимаю. Пожалуй, мне следует повидаться с адвокатом Вандшнейдером. Его все еще допускают к Старику.

— Да,— сказала Роза.— Ведь официально считают, что следствие продолжается, хотя совершенно ясно, что никакого процесса не будет.

— Конечно,— сказал Эдвин.— Теперь не тридцать четвертый год.

Из письма Эрнста Тельмана жене

...Хочу сообщить тебе действительное положение вещей:

1. Свидания с тобой, которые бывали каждые 14 дней, теперь будут допускаться только раз в три недели.

2. Свидания с адвокатами, которые до сих пор не ограничивались, возможно, будут ограничены.

3. Вся почта — письма и открытки,— которую я еще не уничтожил и которая с начала заключения всегда находилась в камере в моем распоряжении, была у меня внезапно отобрана, за исключением последних писем и открыток от Ганса, оставленных мне лишь для ответа. Кроме того, я должен сдавать теперь все новые письма и открытки, как только отвечу на них. Письма передаются на хранение обер-директору. Получу ли я их после освобождения, еще не известно, да и сомнительно.

4. В последние шесть месяцев я мог каждые 14 дней получать от тебя пакеты с продовольствием, впредь эти передачи отменяются.

Уверен, что ты поймешь все без комментариев. У меня хотели отнять даже письма, связанные с обвинительным заключением. Однако после моего решительного протеста их оставили.

Глава 43

„Железная маска“

Тельман окончательно убедился, что в соседних камерах никого нет. Несколько дней он безуспешно простукивал стены, пол и потолок. Очевидно, гестаповцы оставили эти камеры свободными.

С того дня, как его неожиданно, в сопровождении усиленной охраны, перевезли в Ганновер, все связи с волей оборвались. Они и без того слабели день ото дня.

Последние месяцы в Моабите надзиратели менялись чуть ли не ежедневно. Передать что-либо в таких условиях было невозможно. Но тогда он мог хоть перестукиваться! Пусть в более сложной обстановке, но связь с Розой и Эдвином все же продолжала существовать. Однажды сосед сверху передал ему, что надзиратель Эмиль Мориц заподозрен в организации неудавшегося побега и арестован. Потом Тельман узнал, что Эмиля пытали, но он никого не выдал. Чрезвычайный суд приговорил Эмиля Морица к пятнадцати годам, но уже на другой день его нашли в камере мертвым.

С тех пор к нему допускали только надзирателей из СС. С одним из них он как-то разговорился. Знал, что перед ним негодяй и провокатор, но все же вступил в разговор. Ведь и в каменной кладке порой можно нащупать щель, терпеливо увеличить ее и расшатать потом несколько кирпичей. К тому же нацисты продажны, падки на деньги. Не все, конечно. Да и поговорить хотелось, поспорить. За четыре года одиночки можно и онеметь...

Эсэсовец, как положено, начал с того, что стал ругать коммунистов.

— Ваши,— сказал он,— неотступно верят в свое право и все еще надеются на изменения. Однако напрасно! Эту возможность они упустили навсегда! Если бы во время выборов вы объединились с СДПГ, то против этой силы мы ничего не смогли бы сделать.

Да, подумал Тельман, мы, к сожалению, кое-что упустили и не доделали из того, что нужно было сделать в сложном переплетении событий, дабы преградить им путь к власти. Но мы признали наши ошибки, открыто сказали о них. Мы исправили их и нашли новые пути политической борьбы. Наша партия никогда не была правящей, и никто из нас не стоял у кормила власти. И этим смягчается наша вина перед немецким народом. Жертвы, которые мы принесли и ежедневно приносим в борьбе с фашизмом, оправдали нас перед историей... Этому холеному хлыщу, от которого разит духами, легко рассуждать о том, что было или только могло быть. Что он знает о коммунизме? Он говорит о наших ошибках, а мы платим за них своей кровью...

— Разве вы не согласны со мной?

— Даже если бы только рабочие на предприятиях выступили совместно, и то было бы хорошо. Это не удалось нам, но мы, по крайней мере, открыли глаза рабочим в других странах. Мы показали пример, как не следует поступать. Зато во Франции и Испании — Народный фронт! Это и наша заслуга.

— Так это за границей,— пренебрежительно скривил губы эсэсовец. — Обреченная и вырождающаяся латинская раса. Вы же все-таки немецкий человек, Тельман. Если бы вы увидели теперешнюю Германию, вам пришлось бы признать, что она стала лучше. Да! Все немцы так думают. Только одни коммунисты все еще занимаются подстрекательством.

— Старая песня... Я одного не могу понять: почему вы так боитесь коммунистов? А если в Германии стало лучше, то почему вы боитесь рабочих? То, что вы называете коммунистическим подстрекательством, не что иное, как недовольство масс, положение которых не стало лучше.

Правда не поддается фальсификации на длительное время, думал Тельман, нет ничего непреложнее фактов. Наша совесть чиста, она ничем не запятнана в глазах немецких трудящихся. Она не отягощена военными преступлениями, империалистической разбойничьей политикой, тиранией, террором, диктатурой и насилием над совестью, ущемлением свободы и произволом... Мы ничем не запятнаны.

— Мы ликвидировали безработицу. Это раз,— эсэсовец загнул палец.

— Вы закабалили немецкого рабочего, и вы стоите по колено в крови.

— Мы возродили немецкую нацию. Мы свершили великую революцию! Я знаю, вы, коммунисты, молитесь на Москву и плюете на свое отечество. Гадите в собственном гнезде. Ваша родина — Коминтерн... А знаете ли вы, что на самом деле происходит в этой вашей Москве? Помяните мое слово, ваша красная Россия скоро развалится.

— Советский Союз существует уже двадцать лет. Это чудо двадцатого века. Я много раз бывал в этой замечательной стране и своими глазами видел, как она мужала и крепла год от года... Посмотрим, сколько времени просуществует ваш «тысячелетний рейх».

Это был единственный разговор за целый месяц!

Здешние надзиратели ограничивались обычно односложными приказаниями: «Встать!», «На выход!», «Лицом к стене!». Писем не было. Возможно, Роза и не знала, где он теперь находится. Он сам не сразу узнал,

что его привезли в одиночку страшного флигеля «Д» (для особо опасных государственных преступников, осужденных на длительные сроки заключения) ганноверской тюрьмы.

На прогулку его выводили вооруженные карабинами охранники. Если случайно во дворе в это время находился кто-нибудь из заключенных, вахмистр командовал: «Всем повернуться лицом к стене!» — и для большей убедительности щелкал затвором.

Тельман не мог, конечно, знать, что сам рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, осуществлявший высшую полицейскую власть в Саксонии, ежедневно справлялся о нем у главного директора тюрьмы. В молодости на Гиммлера большое впечатление произвел роман «Железная маска» о безыменном узнике Бастилии. Теперь запавшая в голову соблазнительная мысль пригодилась. «Никто не должен знать, что Тельман находится у вас,— инструктировал рейхсфюрер директора тюрьмы.— Этот заключенный будет у вас безыменным». «Следует называть по номеру?» — осведомился директор. «Да,— ответил Гиммлер.— Тюремная администрация должна избегать лишних разговоров об этом лице. В крайнем случае о нем можно упоминать как о некоем человеке». «Значит, Манн?» — предложил директор. «Да, Манн [1],— согласился рейхсфюрер. — Заключенный по фамилии Манн. А свидания с женой будут даваться каждый раз по специальному разрешению».

Ганноверский полицай-президент тоже получил необычные инструкции. Они воспрещали, в частности, Розе Тельман приезжать в Ганновер под своим именем. По прибытии в город ей надлежало немедленно сдать в гестапо свой паспорт, взамен которого выдавался другой —

---

[1] Мужчина, человек. *(Нем.)*

на имя Розы Кох, ее девичье имя, действительный лишь в городской черте Ганновера. С этим паспортом ей дозволялось находиться на почте, вокзале и в других общественных местах, за исключением зрелищных, а также ночевать в гостинице и посещать тюрьму.

Но и об этом Тельман еще не мог знать, потому что свиданий пока не было.

Резь в желудке, которая началась еще в Моабите, усилилась. Временами она становилась совершенно непереносимой, он бросался на койку и грыз пальцы, чтобы не закричать. Когда один такой особенно острый приступ длился несколько часов, Тельман, дождавшись прихода надзирателя, попросил вызвать врача. Врач пришел и даже прописал ему какие-то успокоительные таблетки, которые, однако, не помогли. С тех пор все жалобы Тельмана оставались без ответа. Он опять-таки не мог знать, что директору было указано на либеральное отношение к «заключенному Манну», для надзора за которым берлинское гестапо выделило специальную команду. Можно было надеяться, что новые люди станут относиться к указанному заключенному «менее корректно», как осторожно выразился обер-штурмбанфюрер Зиберт.

...Тельман подходит к крохотному окошку (оно было уменьшено в четыре раза специально для заключенного Манна) и, запрокинув голову, пытается поймать хоть клочок неба. Оно слепит сквозь облачную полынью белым холодным светом. Но вскоре меркнет за мутной неразличимой завесой. На улице ненастье. По уже выработавшейся привычке Тельман начинает беззвучную беседу с самим собой.

Только что надзиратель — сейчас вторая половина дня — запер камеру. Наступают часы раздумий и внутренней борьбы. Путь предначертан, как бы суров он ни был. Тяжко переносить повседневное унижение и попирание человеческого достоинства. Он в строжайшей, неописуе-

мой изоляции и непрерывном тяжком одиночном заключении... Отрезанный от жизни немецкого народа, отделенный от мира железными прутьями решетки... Он пережил смерть любимого, незабвенного отца и смерть дорогого тестя.

Можно ли вообще вынести все это без серьезных последствий? С каким терпением и упорством переносил он все! Сколько нужно было усилий над самим собой, чтобы справиться с ударами судьбы! И неизвестно, что еще ждет впереди. Какая все же колоссальная пропасть между жизнью на свободе и жизнью в этом подневольном и мрачном тюремном мире! Как много страданий вынужден годами терпеть заключенный. И их ни ослабить, ни предотвратить... Заключенный воспринимает и переносит невзгоды гораздо тяжелее, мучительнее, чем свободный человек, который может хоть что-то сделать, хоть куда-то уйти...

Несмотря на энергичное сопротивление и даже на всю силу воли, не всегда можно противостоять безысходной тюремной обстановке. И тогда накатывает эта тоска и эта мука. И некуда деться... Они затопляют камеру, как вода затонувший корабль.

Приходится напрягать всю силу духа и полностью уходить в себя, чтобы преодолеть слабость и не поддаться ей. И это прибавляет силы, увеличивает поток жизненной энергии, ибо в борьбе жизнь обретает свою истинную ценность. Лишь в часы испытаний человек открывает самого себя, он открывает в себе такие глубины, о которых раньше и не подозревал. И это возвышает его и вдохновляет.

Годы одиночества все прочнее замыкают в своих тесных стенах. В воображении протекает поток былых событий и впечатлений. Жизнь становится тогда как сон, сон — как жизнь. Как дуновение, плывет этот сон над землей и людьми. В нем скрадываются часы повседневной жизни, а прошлые события и человеческие судьбы

выступают на передний план. Видения проносятся, увлекают, уводят, убаюкивают... Но тем острее будет пробуждение: истекает пятый год заключения, и неизвестно, придет ли конец этой муке!..

Порой откуда-то из самой глубины души приходят мрачные мысли. Они заставляют слушать тюремную тишину, видеть невидимое и превращать самое незначительное событие в долгую муку. А жалкая радость, доставляемая ничтожным кругом впечатлений, приносит вдруг долгий покой. Пожалуй, все люди в какой-то момент жизни ищут такую вот тишину духа, но лишь немногие могут ее обрести. Он же нашел ее в одиночестве тюремной камеры...

Но это опиум. Его нужно пить с величайшей осторожностью — лишь для смягчения самой острой боли. Иначе сладкий яд сделает рабом. Потом начнется распад. А кто безутешно и беспомощно покоряется «неизбежной» участи, тот уже погиб, он постепенно будет все больше терять силу духа и воли. За леностью мысли и чувств неизбежно следует покорность.

Упорная и тяжелая борьба вошла в плоть и кровь — и в этом спасение. Он будет и впредь противостоять тюремной тоске, и жить, и бороться, и не давать себе подолгу задумываться о том, чем все это кончится. Ибо и эта судьба героическая, и она — тоже жизнь, а жизнь для него всегда была борьбой.

Мы не можем подкупить судьбу. Только в непрерывной тяжелой борьбе закаляются люди. Ведь борьба — первичный элемент жизни, закон развития... Уверенность в себе и верность себе — вот единственные источники силы. И еще — ненависть, и еще, конечно, любовь...

Юность, военные годы, голод, инфляция и борьба, борьба, борьба проходят перед глазами... И новая надежда ободряет сердце. У кого есть источник жизни, тот счастлив вопреки всем испытаниям. Человек полон дремлю-

щей силы. Счастлив тот, в ком она просыпается, кто знает, как сохранить ее живой. Он находит счастье в себе, чтобы осчастливить других, дать им свет, одарить их жизненной силой, живой надеждой...

Как будто полегче стало на душе. Боль в животе тоже понемногу стихает. Он садится за стол и берется за письмо. В этом году он не сможет вложить в конверт почки сирени — символ надежды. Но вчера на прогулке он подобрал с земли три пылающих осенних листочка. Он пошлет Розе эти роскошные кленовые листья. «Прими их вместо сирени как знак моей благодарности за твою любовь».

Глава 44

Стена

Роза нервничала. Из-за слежки она была вынуждена уже дважды отложить встречу с Эдвином. Она знала, с каким риском связан был каждый час его пребывания в Гамбурге, и от этого нервничала еще больше. Но ее обложили так плотно, что немыслимо было выйти из дому незамеченной. Придется дать знать Эдвину, что они смогут встретиться только в Берлине. Там ей все же проще избавиться от «хвоста». И неизвестно почему. Берлинское гестапо отнюдь не уступает гамбургскому, скорее даже наоборот. Но как бы там ни было, последние дни она чувствует за собой неусыпную слежку. И ни разу не удалось ей установить, кто за ней наблюдает. Каждый раз она «узнавала» в толпе сразу нескольких агентов. И это было страшно, потому что идти за ней мог только один. Но именно этого, единственного, она и не могла распознать. Очевидно, слежкой руководил теперь настоящий мастер, идеально отладивший свою невидимую и страшную сеть, обойти которую невозможно. Оставалось только

вырваться из нее — выехать в Берлин. Следить за ней будут и там, но вряд ли ей придется столкнуться со столь же продуманной и изощренной системой. Не станет же берлинское гестапо держать в резерве на случай сравнительно редких берлинских ее поездок столь же отлаженную машину наблюдения. Конечно, в Берлине ей легче будет избавиться от «хвоста», чем здесь, да и Эдвин чувствует себя там более уверенно.

Она пытается заняться мелкой домашней работой: поднять петли на чулках, заштопать шерстяные перчатки, пришить крючки к юбке дочери. Но все валится из рук. Может, в магазин сходить?

— Ирма! — зовет она.— Ты где?

— Иду, мамочка! — откликается Ирма из ванной.

— Что ты там делаешь?

— Размачиваю волосы. Никак не завиваются! Ну что ты будешь делать! Все такие же прямые.

— И хорошо,— улыбается Роза.— Тебе больше идет строгая прическа.

— Надоедает! — смеется Ирма, появляясь в дверях.

— Как у нас дома с продуктами, девочка?

— Надо молока купить, немного масла, и кофе весь вышел.

— Пойдем-ка в магазин! — решает Роза.— И сладкого чего-нибудь купим!

— Вдвоем? — удивляется Ирма. Продуктовые магазины — ее сугубо личная компетенция.— Я и одна сбегаю.

— Просто погулять захотелось.

— Погулять? В такую-то погоду!

За окнами неистовствует норд-вест. В воздухе несутся обрывки бумаги и тучи пыли. Временами на мостовую обрушиваются косые пулеметные струи не то дождя, не то града.

— Мы быстро,— решительно кивает Роза.— Магазин же за углом.

Она надевает плащ с капюшоном, берет хозяйственную сумку и зонт. Ирма натягивает на плечи зеленую спортивную курточку. Застежка-молния перерезает ее, как железнодорожная колея озимое поле.

Ирма, как всегда, выскочила из подъезда первой и тут же увидела на противоположной стороне улицы две неподвижные фигуры в черных резиновых плащах.

— Мама, смотри,— тихо сказала она.

Это что-то новое, подумала Роза. Они даже не скрываются.

— Не обращай внимания, девочка,— сказала она, взяв дочь, словно та все еще была маленькой, за руку.

Но сама внутренне насторожилась. У большой зеркальной витрины, где с крючьев свисали красно-желтые мясные туши, она остановилась. Те двое шли за ними.

— Давай постоим здесь, Ирма,— тихо сказала она и быстро повернулась к гестаповцам лицом.

— Осторожно! — еле слышно шепнула Ирма.— Пусть они пройдут мимо, и тогда кто-нибудь из нас войдет в магазин.

Но гестаповцы и не думали проходить мимо.

— Добрый день,— сказал один из них, тщедушный и рыжий, с кровяной бородавкой на носу.— Мы как раз собирались нанести вам визит. Потрудитесь, пожалуйста, возвратиться домой.

— А кто вы, собственно, такие? — спросила Роза, хотя прекрасно знала, с кем имеет дело.

— Не привлекайте к себе внимания,— гестаповец, казалось, не расслышал вопроса.— Идите домой.

— Но на каком основании?..

— Идите, идите,— безучастно закивал он.— И не надо подымать шума. Это может вам только повредить.

Роза пожала плечами и, еще крепче стиснув руку дочери, пошла обратно. Гестаповцы следовали за ними в некотором отдалении. Но как только женщины вошли в

подъезд, они заспешили. По лестнице поднялись уже бегом.

Роза открыла замок и хотела войти в квартиру, но рыжий гестаповец удержал ее за локоть и кивнул напарнику. Тот молча оттеснил Розу и вошел первым.

— Прошу вас, фрау,— сказал рыжий.— И вы, фройляйн.

— Предъявите свои документы,— обернулась к нему Роза, войдя в переднюю.

— Пожалуйста, — он достал удостоверение и раскрыл его перед ней.

«Государственная тайная полиция,— прочла она.— Пауль Шнейдер, следователь».

— Что вам нужно от нас? — Роза поставила сумку и зонт, но плаща не сняла.

— Пройдите в комнату,— сказал Шнейдер.

Роза и Ирма направились в столовую, где их уже ждал, прислонясь к подоконнику, другой гестаповец.

— Вы должны вручить мне все письма, которые получили от мужа из тюрьмы.

— Добровольно я ничего вам не дам, — отчеканила Роза и села на диван. Ирма расстегнула молнию и опустилась рядом с ней.

— Хорошо,— сказал Шнейдер.— Приступим. Пройдите в ту комнату, — кивнул он напарнику. — Дайте мне ключ от шкафа,— он требовательно протянул руку,— чтобы не пришлось ломать.

Ирма медленно поднялась, подошла к маминому рабочему столику и достала ключ.

— Зачем вы хотите забрать у нас письма отца? — тихо спросила она.— Сначала забрали его, а теперь письма. В них наша последняя радость. Мы их перечитываем каждый день. Ну для чего они вам?

— Могу вам ответить со всей определенностью, фройляйн,— гестаповец отпер шкаф и выдвинул ящик.— Я про-

чел копии этих писем и скажу вам, что они должны быть конфискованы. Мы просто обязаны предотвратить их опубликование. Если бы эти письма стали вдруг достоянием общественности, они бы произвели просто ошеломляющее впечатление.

— Отчего же? — Роза насмешливо подняла брови и губы ее сделались вдруг злыми и тонкими.— Даже допуская, что письма могли бы быть преданы огласке, я не понимаю, чем они могли так вас напугать! Они же прошли гестаповскую цензуру и контроль органов юстиции. Все, что считалось в них мало-мальски предосудительным, было валито тушью. Почему же вы теперь спохватились? Чем вас пугают письма моего мужа?

— Меня они не пугают,— гестаповец работал быстро и аккуратно, едва касаясь пальцами вещей, словно профессиональный карманник. Он осмотрел шкаф за какие-нибудь три минуты, оставив все в безукоризненно первозданном виде. Забрал только бумаги: записи, письма, даже открытки.

— Выходит, что нас лишают теперь переписки,— Роза еще глубже закусила губы.

— Отчего же? — гестаповец перешел к ее столику.— Все письма вашего мужа, адресованные вам и фройляйн, будут поступать теперь в полицию. Об их получении вас уведомят, и вы, конечно, сможете их прочесть. Письма же останутся у нас. Мы будем аккуратно собирать их и сохранять.

— Я закончил,— сказал, появляясь в дверях, второй гестаповец.

— Сейчас,— отозвался Шнейдер и присел над нижним ящиком.

...Когда обыск был закончен и гестаповцы ушли, Роза бросилась на диван и, уткнувшись лицом в вышитую подушку, разрыдалась.

Ирма стала на колени, обняла, прижалась щекой к

вздрагивающему ее плечу. Но Роза уже не могла остановиться. Сказалось все: и невылитая горечь этих страшных лет, и тревога последних дней, когда она всюду чувствовала на себе чужие враждебные глаза, утраты, унижения и постоянная нервная напряженность. И писем ей было безумно жаль, как будто вместе с ними отобрали у нее еще одну частицу надежды. И дело было не только в письмах, но и в том, как их у нее взяли. Перед глазами все мелькали длинные и чуткие, как у пианиста, пальцы гестаповского следователя. Это был обыск беспощадный по краткости и красоте, жуткой красоте, которой наделяет природа ядовитых животных. Роза подсознательно почувствовала здесь ту же безукоризненную, изощренную манеру профессионала, которая чудилась ей все эти дни. И это ее, кажется, доконало. Она физически ощущала, как эти бесцветные, в рыжих отметинках радужки, эти напряженные остановившиеся зрачки сверлят ей спину. В мысли, что плюгавый мозгляк с кровяной бородавкой все это время ее преследовал, было что-то бесконечно противное и унизительное.

Ах, все это совершенно ни к чему, вдруг поймала она себя на мысли. Чисто по-женски. Абсолютно. И поняв, что обрела способность видеть себя со стороны, она успокоилась.

— Ну что ты, мама! Что ты! — испуганно и укоризненно шепнула Ирма прямо в самое ухо, горячо-горячо.

— Ничего, девочка, ничего,— она поднялась с дивана и, вынув из кармана платочек, отошла к окну.— Посмотри, что в почтовом ящике.

Пока Ирма вынимала почту, Роза кое-как привела себя в порядок. Но, взглянув в зеркало, устало махнула рукой. Лицо заплыло, глаза зареванные и красные, страшно смотреть.

— Только «Гамбургская», мама,— сказала Ирма, разворачивая газету.

Ну конечно, подумала Роза, теперь нам не будут доставлять его писем.

— Что в газете? — прикладывая к глазам мокрый сморщенный платок, спросила она.

Ирма стала читать заголовки: «Англия установила дипломатические отношения с правительством генерала Франко». «Рейхсмаршал Геринг приезжает в Гамбург».

— Что?

— Геринг приезжает в Гамбург, чтобы выступить на митинге.

— Когда?

— Вроде сегодня... Да, сегодня. «Украшенный дубовыми ветками фасад отеля «Эспланада»... Высокий и дорогой гость...»

— Вот как? Я пойду к нему!

— Ну, мама! Что ты!.. Не делай этого. Зачем?!

— Я хочу поговорить с ним, встретиться лицом к лицу. Я скажу ему все, что думаю. Пусть он знает, что я, как и тысячи других женщин, борюсь за своего мужа.

— Не ходи, мама.

Но она уже ничего не слушала. Схватила лист бумаги. Вынула конверт. Торопливо набросала несколько строк. Выбежала в коридор и растерянно закрутилась на месте, ища свой плащ, пока не увидела, что он на ней. Ну да, конечно, она же его так и не сняла.

— Сиди дома и жди меня! — крикнула Роза дочери и, схватив зонт, выбежала на лестницу.

...В центре города было оживленно. С балконов свешивались красные полотнища со свастикой. Они порывисто хлопали на ветру. Всюду сновали шупо и эсэсовцы. На одном из шпилей ратуши развевалось знамя люфтваффе. Бургомистр как бы подчеркивал, что приветствует в лице Геринга военно-воздушные силы возрожденной Германии. Почетный караул «гитлерюгенда» застыл в ожидании. Это была особенно тонкая лесть, ибо авиа-

ция — удел юности, а юность Гамбурга с барабанами на трехцветных перевязях и кинжалами на поясах встречала вождя германского неба. Мальчики, казалось, не замечали, что их сечет холодный, пронизывающий дождь. Их пилотки намокли, а блузы прилипли к телу. Но радио обещало сегодня кратковременные осадки, и можно было надеяться, что торжественный митинг пройдет, как всегда, великолепно.

У «Эспланады» стояли десятки машин и толпились сотни людей. Главный вход охраняли войска СС. Роза пробилась к боковому входу и присела на ступеньку гранитной лестницы. Дождь действительно вскоре перестал и небо очистилось, но было все так же холодно. Энтузиазм встречающих, однако, не охладел. Люди в толпе становились на цыпочки и вытягивали шеи: «Не едет ли?»

Внезапно распространился слух, что личный поезд рейхсмаршала «Герман» прибыл к перрону гамбургского вокзала. По толпе пробежала дрожь радостного нетерпения. Полицейские забегали. Один из них, самый, наверно, неповоротливый и толстый, заметил Розу и в изумлении уставился на нее.

— А вам что здесь нужно? — подбоченясь, спросил он и наклонился к сидящей на ступеньках женщине.

— Я хочу поговорить с Германом Герингом,— Роза встала.— Хочу передать ему письмо.

Шупо ничего не сказал, только фыркнул и, неуклюже повернувшись, побежал, переваливаясь с боку на бок, как гусь, к центральному входу. Роза осталась на месте.

Через минуту он явился с шестью эсэсовцами.

— Ваши документы,— один из них, видимо старший, требовательно выбросил затянутую в кожаную перчатку руку.

— Я Роза Тельман,— она раскрыла свою видавшую виды сумочку.— Мне необходимо поговорить с Герингом.

Толпа зашумела, задвигалась, стала вдруг плотнее, напряженнее.

«Едут! Едут!» — послышались голоса.

Эсэсовец отдал какой-то приказ, потонувший в людском гуле и криках приветствия. Эсэсовцы вместе с начальником побежали к главному входу. Охранять Розу остался толстый полицейский.

Сжимая в руке маршальский жезл, Геринг, одетый в нарядный мундир авиационного генерала, легко, несмотря на свою грузность, взбежал по ступенькам. Повернулся к толпе и приветственно поднял руку. Улыбаясь, выслушал он восторженные крики, озаренный дымными вспышками магния, и проследовал сквозь живой коридор почетных лиц в отель.

Энтузиазм несколько схлынул, но никто не сдвинулся с места. Ожидали, что будет дальше, хотя за высоким гостем в дверях отеля скрылись и почетные лица в парадных мундирах всевозможных ведомств и орденах.

— Зря вы пришли,— сказал шупо.— Вас все равно не пустят к нему.

Но в этот момент возвратился эсэсовский начальник вместе с элегантным авиационным офицером.

— Что вам угодно, фрау? — вежливо спросил, козырнув двумя пальцами, офицер.

— Я хочу поговорить с Герингом, у меня есть для него письмо,— все так же спокойно и тихо ответила Роза.

— Я его адъютант,— улыбнулся офицер.— Рейхсмаршал сейчас очень занят. Можете поверить: я передам письмо лично ему.— Он снял белоснежную перчатку и протянул руку.— Давайте ваше письмо.

Роза достала из сумочки конверт и отдала его офицеру. Он еще раз козырнул и, повернувшись, как на параде, удалился. Эсэсовец махнул кому-то рукой и побежал вслед за летчиком. С двух сторон к Розе подступили два здоровенных парня в таких же блестящих резиновых плащах,

которые она уже видела сегодня в своей квартире.

— Пойдем,— один из гестаповцев грубо схватил ее за локоть.

— Никуда я не пойду! — она резко вырвала руку.— Можете делать со мной что хотите, но никуда я с вами не пойду.

— Не собирайте толпы,— зашипел гестаповец.— Что подумают люди, которые встречают Геринга?

— Да чего там с ней церемониться! — буркнул второй.

Они быстро схватили ее под руки и потащили через боковой проход к черному «мерседесу».

— Куда вы меня тащите? — она упиралась ногами в землю как могла.— Сейчас же отпустите меня!

— Не вздумай кричать,— процедил сквозь зубы один из гестаповцев.— Это плохо для тебя кончится.

Открыв заднюю дверцу, они вдвоем втолкнули ее внутрь.

— В ратушу! — приказал гестаповец шоферу, обрушиваясь на сиденье рядом с ней.

Глава 45

Астрология

Лидеру гонок Луиджи Амендола оставалось пройти всего семь кругов. Немецкий гонщик отставал от него на целых полтора круга, и разрыв медленно увеличивался.

Забрызганные грязью машины с ревом и треском проносились мимо трибун, окутанные едким дымом выхлопов, дышащие горячим металлом и маслом.

«Спорт смелых и мужественных» вызывал у Гейдриха отчаянную скуку. Жаль было времени. Дениза Эрколь, подруга бельгийского гонщика, не стоила такой жертвы.

Тем более что сам гонщик выбыл еще в начале соревнований и был увезен в госпиталь. Это наверняка задержит Денизу в Берлине, и события можно было не форсировать. Но кто мог знать?

Красная машина итальянца вдруг подпрыгнула, и от нее отделился черный комок. Несколько мгновений оторванное колесо катилось рядом с машиной, но вот она опять подпрыгнула и, развернувшись поперек дороги, завертелась волчком и опрокинулась. Рванулось облако дыма, и в страшном треске ломающегося металла прорезался тонкий-тонкий, отчаянный, нечеловеческий вопль.

Густой зловещей лужей растекалось масло. Над искалеченной машиной курился белый магниевый дымок.

Еще две машины ударились друг о друга и, оттолкнувшись, как биллиардные шары, перевернулись и покатились вниз, чадя и разваливаясь. И тут же в машине итальянца взорвался бензин. Черный столб взметнулся к небу. Его прорезала красная раскаленная полоса. Рев и грохот заглушили крики на трибунах. Все сделалось вдруг черным и белым, как в кино. Белые лица людей и черные провалы ртов, белое пламя, черный дым и черные, медленно падающие обломки.

С Амендолой все было кончено. В оглохшие уши врезалась сирена. «Скорая помощь» и красная пожарная машина сорвались с места. Но гонки продолжались.

Гейдрих поднялся, спрятал бинокль в футляр и пошел к выходу. Зрелище окончательно разочаровало его. Право, работа давала куда более сильные ощущения.

Оставив в гараже записку для Денизы, он вышел на площадь и, как простой смертный, сел в автобус, идущий в старый город. Он решил пообедать в «Урании», где совсем недавно весьма интересно провел время с Шелленбергом.

Да, черт возьми, это был острый момент!

Он сам наполнил тогда рюмки коньяком и предложил

тост «за дружбу». Шелленберг выпил и по привычке провел пальцем по ободку рюмки, чтобы послушать, как поет хрусталь.

— Сейчас вы проглотили яд, Вальтер,— сказал Гейдрих, заглянув Шелленбергу в глаза.— Если вы скажете мне правду, всю правду, Вальтер, я дам вам противоядие.— И он отставил в сторону свою наполненную рюмку.

— Какую правду? — Шелленберг побледнел. — Надеюсь, вы шутите, Рейнгард?

— Нисколько! Я хочу знать, что было у вас с госпожой Гейдрих. Но только правду, Вальтер! Какова бы она ни была! Ложь будет стоить вам жизни. И торопитесь. Яд начнет действовать через полчаса.

— Что вы хотите знать? — высокомерно спросил Шелленберг. Надо отдать ему справедливость, он прекрасно владел собой.

— Как вы провели вчера время с моей женой, Вальтер? Учтите, я заранее принял меры и знаю все. Сейчас я хочу проверить только вашу искренность. Говорите же, Вальтер, и не дай вам бог солгать!

Да, Гейдрих играл тогда наверняка. Вот уже больше года знал он о том, что его жена и Шелленберг питают друг к другу искреннюю симпатию. Госпожа Гейдрих стремилась бывать в обществе, любила искусство. Ей нравились красивые остроумные люди, непринужденность истинно светской обстановки, рауты, блеск. Она часто говорила, что чувствует себя графиней, заточенной в башне. Ей остро не хватало своего маленького двора, рыцарского почитания, изящных кавалеров и юных пажей. И все это она, кажется, нашла в Шелленберге. Он сопровождал ее во время визитов, они вместе бывали в опере и на скачках. Причем Шелленберг, с присущей ему тонкостью, старался одеваться так, чтобы особенно выгодно подчеркнуть всю прелесть ее новых туалетов.

Но дружба между госпожой Гейдрих и Шелленбергом протекала настолько открыто, что не вызывала никаких пересудов. И Гейдрих решил наконец создать для них более интимную обстановку.

У себя на Фемарне он устроил конференцию руководящих сотрудников осведомительной службы.

— Я нарочно выбрал Фемарн,— сказал он тогда Шелленбергу.— Завтра свободный день и, когда все разъедутся, мы сможем отлично провести время: сыграем партию в бридж, поговорим о поэзии, а вечером я исполню что-нибудь на скрипке.

Но сразу после конференции он сослался на срочное задание фюрера и на личном — 8244 — «дорнье» вылетел в Берлин.

Шелленберг и госпожа Гейдрих остались одни в замке, среди мачтовых сосен, на суровом балтийском острове.

А через несколько дней Гейдрих за бокалом вина поинтересовался, что же, собственно, они там делали. Ситуация была острая и забавная. Вглядываясь в холеное лицо Шелленберга, он ловил малейшую игру теней под глазами, подстерегал невольное дрожание век, считал каждый прыжок адамова яблока. Он долго ждал этой минуты и теперь наслаждался ею.

Из всех подчиненных ему нравился только один Шелленберг. Он растил и продвигал этого человека, готовил его для больших дел. И ему нужна была полная в нем уверенность и полная, неограниченная власть над ним.

— Торопитесь, Вальтер,— сказал он, следя за секундной стрелкой.— Мне бы не хотелось, чтобы противоядие опоздало.

Шелленберг поправил острый уголок платка в кармашке английского пиджака и налил в стакан воды из сифона.

— Мы допоздна гуляли с госпожой Гейдрих по берегу,— сказал он, сделав небольшой глоток.— И говорили

о поэзии миннезингеров... Потом ужинали в каминном зале, а во втором часу разошлись по своим комнатам. Мне казалось, что вы вот-вот возвратитесь. Я вас ждал,— он медленно допил воду.— Но вы не прилетели.

— Да. Я вынужден был остаться в Берлине.

— Понимаю,— Шелленберг наклонил голову с безупречным пробором.— Давайте ваше противоядие. Я сказал вам все.

— Все ли, Вальтер?

— Вы же говорите, что приняли меры.— Он забарабанил было пальцами, но сразу же убрал руку под стол.— Тогда вы должны знать, что я сказал вам правду.

— Верно! — Гейдрих рассмеялся, налил Шелленбергу коньяку.— Пейте спокойно, никакого яда не было.— Он взял свою рюмку и медленно высосал ее, улыбаясь, не отрывая глаз от лица собеседника.

У Шелленберга чуть дрогнули ноздри.

— Вы, кажется, хотели выпить за дружбу, Рейнгард? — спросил он и, обмакнув палец в коньяк, провел по ободку.— Нет, это не баккара,— сказал он, прислушиваясь к мелодичному, какому-то очень отдаленному звону.— Но это хороший богемский хрусталь.

— Богемия будет наша! — Гейдрих налил себе еще.— Фюрер решил назвать ее протекторатом,— он засмеялся.— Мы возьмем за основу колониальный договор Франции с тунисским беем. Как вам это нравится? Пусть чехи знают! Они же всегда тянулись к Франции. За дружбу, Вальтер. Нам предстоят с вами большие дела.

— За дружбу... Хорошо,— сказал Шелленберг и пригубил вино.

— Вы обиделись? Напрасно... Мне кажется, что теперь мы с вами даже стали как-то ближе... Мы служим с вами, обер-штурмбанфюрер, великому делу,— он повысил голос.— И ничто постороннее не должно мешать нам выполнять нашу историческую миссию. Вы понимаете меня?

— О да, обер-группенфюрер,— Шелленберг разрешил себе иронически улыбнуться.— В чем дело, Рейнгард?

— Австрия — наша. Судеты — наши. Это только начало, Вальтер...

— Знаю.

— Фюрер поручил нам вплотную заняться Данцигом и Польским коридором.

— И это знаю.

— Разумеется, Вальтер, разумеется... Но речь идет вовсе не о Данциге.

— Догадываюсь.

— Конечно... Фюрер поручил СД создать повод или поводы для начала операции.

— Вот это интересно.

— К 1 сентября 1939 года должен быть обеспечен конкретный предлог для войны с Польшей, так, чтобы перед лицом истории поляки выглядели бы агрессорами. Да, черт возьми, мы не будем рады, если поляки уступят и просто вернут нам Данциг.

— Конечно,— Шелленберг, подавляя нарочитую зевоту, посмотрел на часы; он явно старался взять реванш за только что пережитые минуты страха и смятения.

— Это очень серьезно, Вальтер. Проведение мероприятия фюрер возложил на меня... Как «Салон Китти»? — словно между прочим, спросил Гейдрих.

— Превосходно. От клиентуры отбою нет.

— Еще бы! — Гейдрих причмокнул.— Такие девочки...

— Между прочим, там работают не только девочки. Многие весьма высокопоставленные замужние дамы не прочь послужить рейху на этом, так сказать, поприще.

— В душе все они потаскухи,— усмехнулся Гейдрих.— Так и тянет в постель. Работа на вас для них только благовидный предлог. Не так ли?

— Я бы этого не сказал,— осторожно ответил Шел-

ленберг, уклоняясь от щекотливой темы.— Это не суть важно. Главное — дело идет.

— Что нового?

— Граф Чиано, например...

— Зять самого дуче? — с улыбкой спросил Гейдрих.— Очень хорошо. И насколько богат материал?

— Полный набор: фотографии, звукозапись. Есть пикантные места.

— Кто же эта ловкая прелестница?

— Номер 371 дробь 8, Матильда. Работает за плату.

— Профессионалка! — уважительно покачал головой Гейдрих.

— О, да!

— Хорошо бы прощупать англичан... В связи с возможным развитием польской темы. Но это не спешно. Еще многое не готово. А сейчас есть специальное задание, Вальтер,— Гейдрих наклонился к Шелленбергу.— Нужно залучить Графа.

— Понятно. Что именно?

— Это тонкая материя, Вальтер.— Гейдрих повернулся к собеседнику боком, как это делал обычно Гиммлер, говоря о важных вещах.

Разговор предстоял самый серьезный. О планах польской кампании Шелленберг был осведомлен, об этом можно было спокойно поговорить и в кабинете. Другое дело Граф, личный астролог Гитлера. Тут надо было держать ухо востро.

Беседа была обоюдоопасной. Гейдрих, по сути, должен был признать, что собирает досье на самого фюрера. Конечно, прямо он об этом не скажет и подпустит туману, но такого человека, как Шелленберг, не проведешь.

Потому-то и нуждался Гейдрих в неограниченной власти над Шелленбергом, что не мог обойтись без его ума.

— Это очень тонкая материя, Вальтер... Видите ли, меня занимает одна загадка... Кстати, я забыл сказать вам, что рейхсфюрер благосклонно отнесся к моему ходатайству о присвоении вам очередного звания.

— Благодарю, Рейнгард. Так что это за загадка?

— Мне непонятно, почему фюрер так церемонится с этим осточертевшим всем нам Тельманом.

— Зачем нам понимать это, Рейнгард. У нас есть приказ.

— Рейхсфюрер считает, что Тельмана надо передать СС.

— Насколько я знаю, возражает министерство юстиции. Юридически Тельман все еще подследственный.

— Не совсем. После моей резолюции он скорее стал превентивно заключенным. Но вы-то понимаете, что дело здесь не только в юридических тонкостях и даже не в соображениях политики.

— В чем же еще?

— Вот это-то я и хотел бы узнать.

— А фюрер хочет, чтобы вы это узнали? — Шелленберг, как всегда, бил в самую точку. Но, зажав своим вопросом Гейдриха в угол, он тут же непринужденно отступил назад и дал шефу выйти.— Впрочем, это не мое дело: я подчиняюсь непосредственно вам и, как всякий ландскнехт, предпочитаю выполнять приказы, а не рассуждать. Чего вы хотите, Рейнгард? Кажется, вы говорили о Графе?

— Да, Вальтер, спасибо... Я решил прощупать с этой стороны. По крайней мере, рейхсфюрер будет знать, как себя вести, если разговор опять зайдет о Тельмане.— Он выставил Гиммлера как щит, словно и впрямь выполнял задание рейхсфюрера.

— Что навело вас на мысль о Графе?

— Одно совпадение, Вальтер, всего лишь одно совпадение. Случайное, и возможно, странное совпадение:

Адольф Гитлер родился двадцатого апреля, а Эрнст Тельман шестнадцатого. Они родились под одними звездами, Вальтер. Вы же знаете, какое значение фюрер придает этой...— он хотел сказать «чепухе», но быстро нашел более подходящее слово,— материи, Вальтер, этой тонкой материи... Не тут ли таится ответ на загадку?

— Что ж, очень возможно... Надо проверить, Рейнгард, только и всего. Надо проверить. Я просмотрю досье Графа и что-нибудь придумаю.

— Оно не слишком обширно, Вальтер.

— Но известно, по крайней мере, какой тип женщин он предпочитает?

— Беда в том, что астролог Граф импотент.

— Это значительно осложняет дело. Бедный человек!

— И все равно нужно что-то придумать.

— Конечно, Рейнгард, мы ему что-нибудь подберем. Мы дадим ему надежду.

В тот день Гейдрих лишний раз убедился, что Шелленберг в своем деле незаменим.

И вот сейчас, сидя в автобусе, он понял, почему решил пообедать сегодня именно в «Урании»: он шел по следу своей удачи. Чисто профессионально... А еще он подумал, что Дениза будет очень на месте в «Салоне Китти». Не сейчас, разумеется, а после, потом...

Глава 46

Дождь в Гамбурге

Когда Роза добралась на трамвае до Поппенбютеля, пошел дождь. Угольно-серые, словно закопченные стены гамбургского пригорода растворились в пронизанном шипящими струями тумане. По мостовой,

смывая желтые пятна опавших листьев, побежали мутные стремительные ручьи.

Роза быстро раскрыла зонт и поспешила к афишной тумбе, где за волнистой завесой дождя мерещилась чья-то темная искаженная тень.

— Давно ждешь? — спросила она съежившегося мокрого Эдвина, накрывая его зонтом.

— Нет! — Он тряхнул головой, и во все стороны полетели холодные брызги. — Только что пришел, но уже промок совершенно и даже озяб.

— Еще бы. Конец октября. Ты, как всегда, налегке?

— Как всегда. — Он оглушительно чихнул и вытер лицо мокрой рукой. — Ну, как здоровье?

— Спасибо, недурно. — Роза едва заметно улыбнулась. — Старик передал мне записку о мюнхенском соглашении. Я, конечно, поняла, что она должна вас заинтересовать, но сомневалась, писать вам или нет. Ну и все же написала... Письмо опустила со всеми предосторожностями. Не знаю, верно ли я сделала, но мне было так одиноко, Эдвин, так одиноко!

— Ты поступила совершенно правильно. Надо было написать сразу. Как видишь, мы перехитрили их и смогли встретиться... Лучше скажи, как тебе удалось получить эту записку? Как он сумел ее передать? Свидание же было отсрочено.

— Да. Из-за близости войны. Но оно состоялось, хоть и значительно позже. Прокурор и тюремный инспектор сидели, как обычно, за столом, а Тельман напротив меня. Он толкнул меня ногой, и я заметила, что он протянул под столом руку. В этот момент инспектор спросил меня, получила ли я курительную трубку. «Ну конечно», — сказала я и раскрыла сумочку, чтобы показать эту самую трубку, которую они отобрали у Эрнста. Тогда-то я и бросила в сумку записку. Никто ничего не заметил.

— Счастливый случай,— хмыкнул Эдвин.— Вы шли на большой риск.

— Конечно. Пойдем куда-нибудь?

— Зачем? — удивился Эдвин.— Здесь никого нет и за шумом дождя нельзя услышать, о чем мы с тобой говорим.

— Но на нас могут обратить внимание. Согласись, что это выглядит странно, когда двое стоят под дождем на трамвайной остановке.

— Мало ли что...

— Нет, на влюбленную пару мы не похожи. Дама уж слишком пожилая... Здесь недалеко тихий ресторанчик, пойдем лучше туда.

— Ладно. Записка у тебя?

— Я передам тебе ее, когда ты немного обсохнешь,— улыбнулась Роза.— А то, боюсь, размокнет бумага.

— У меня есть непромокаемый карман. Записка большая?

— Двенадцать страниц на машинке. Ее нужно как можно скорее доставить товарищу Вальтеру.

— Он теперь в Москве, Роза, в Исполкоме Коминтерна. «Мостом жизни» руководит сейчас Франц Далем, но, конечно же, о записке Старика будут знать и в Москве.

Напор дождя ослабел, но холодный белый туман стал плотнее. Тусклым ленивым серебром отсвечивали улицы и жестяной навес керосиновой лавки.

В маленьком скверике, где находился ресторанчик «Морская раковина», уныло мокли голые кусты жасмина и старая облетевшая липа. Эдвин помог Розе снять пальто, затем осторожно стянул с себя мокрый плащ.

Роза раскрыла сумочку, достала сложенную в несколько раз газету и бережно разгладила ее. Так она и вошла в зал с «Гамбургер цайтунг» в руке.

В ресторане было пусто. Эдвин придвинул газету к себе и небрежно раскрыл ее.

«Идея, объединившая нас до самой смерти, идея, которая увлекла и сделала счастливыми миллионы людей, идея, которая сидит у каждого из нас в костях и в крови,— эту великую, живую и могучую идею нельзя загасить даже в эти тяжелейшие годы»...— успел он прочесть бросившиеся в глаза строки на вложенном в газету листке. «При использовании этого документа следует соблюдать величайшую осторожность»,— прочел он начальную строчку записки и неторопливо сложил газету.

— Миноги в горчичном соусе,— сказал он кельнеру,— и сосиски с капустой.

— Пиво? — спросил кельнер.

— Да,— кивнул Эдвин,— «старый Карлсон».

В ресторан вошел высокий мужчина в мешковатом костюме и, оставляя за собой мокрые следы, направился к соседнему столику. Кельнер обернулся, внимательно оглядел нового посетителя и быстро прошел за стойку, где всаживал кран в свежую пивную бочку лысый хозяин в белом переднике. Кельнер бросил быстрый взгляд на столик Розы и Эдвина и, наклонившись к хозяину, что-то шепнул.

Хозяин отложил кран, тяжело выпрямился и тоже, прищурившись, оглядел зал. Он вытер руки полотенцем и выдвинул из-под стойки телефон.

Обостренный слух Эдвина уловил дребезжание наборного диска. Мужчина за соседним столиком ковырял зубочисткой во рту. Мокрые волосы его топорщились ежом, на тяжелом подбородке проступала синева.

Прикрывая трубку рукой, хозяин что-то взволнованно объяснял, но слов разобрать было нельзя.

— Уйдем? — одними губами спросила Роза.

— Поздно,— так же тихо ответил Эдвин.

Малиновый от натуги хозяин повесил трубку, задвинул телефон обратно и вновь, прищурившись, вороватo стрельнул глазами.

— Пусть это лучше найдут у меня.— Роза накрыла рукой газету, быстро сложила ее по сгибам и спрятала в сумку. Но убрать сумку она уже не успела. В зал вбежали трое полицейских. С синих взъерошенных шинелей стекала вода. Каскетки и ремни сверкали дождевым глянцем. Один из них сжимал в руке револьвер. Еще с порога он крикнул:

— Где? — с жестких его усов взлетели маленькие брызги.— Где он?

— Вот! Вот! — кинулся им навстречу хозяин.— Здесь он! — и кивком указал на мужчину в мешковатом костюме.

— Но позвольте! — тот грузно приподнялся и насупил мохнатые брови.— Что это значит?

— Сейчас узнаешь! — усмехнулся усатый полицейский.— Взять его!

Щелкнули никелированные наручники.

— Да вы знаете, кто я?— взревел вдруг арестованный.— Я обер-шарфюрер СС Вальтер Симон!

— Тебя-то нам и нужно. А ну, пошли!

Полицейские потащили обер-шарфюрера в штатском к выходу. В дверях усатый вахмистр задержался и, обернувшись к столику, за которым сидели Роза и Эдвин, вежливо козырнул.

— Прошу прощения за беспокойство,— сказал оп уходя.

Роза и Эдвин только молча переглянулись.

— Знаете, кто это был? — оживился, облегченно вздохнув, хозяин.

Эдвин покачал головой.

— Убийца и грабитель!

— В самом деле? — проявил сдержанный интерес Эдвин.

— Ну конечно же! — хозяин присел за их столик.— Знаете, что он вытворял? После той ночи, когда громили

евреев, он с двумя дружками стал врываться в арийские магазины.— Хозяин многозначительно поднял палец.— Вы понимаете? Будто бы по ошибке! Прямо с порога — бах из револьвера, и к кассе. Потом, для порядка, выбьют несколько стекол и намалюют на витрине: «Вон евреев!» — для отвода глаз, значит. Что выдумал? А?.. Хорошо, что его Зепп узнал,— он кивнул на кельнера.— Теперь получишь двести марок награды, Зепп!

— Как же он его узнал? — поинтересовался Эдвин.

— По фотографии. Из полицай-президиума прислали. Его же по всей Германии ищут. Везучий ты, Зепп! Шутка ли: двести марок!

— А вахмистр, который его арестовал, не наш, не из Гамбурга,— заметил кельнер Зепп.— Наверно, это и есть тот самый Лендциан, которого прислали из Берлина. Мне о нем брат рассказывал.

— Точно,— подтвердил хозяин.— Я слыхал, что этого Лендциана нарочно убрали из Берлина, чтоб не мозолил глаза.

— Кому? — спросил Эдвин.

— Известно кому...— опомнился Зепп и ушел на кухню.

— Не нашего это ума дело,— хозяин тоже сразу скис и с опаской оглядел Эдвина.— Мало ли что говорят...

— Это верно,— согласился Эдвин.— Получите-ка с нас. Дождь, кажется, уже прошел.

Роза посмотрела в окно.

За стеклом, покрытым клинописью капель, чуть посветлела белесая туманная даль. Дождь, вроде бы, и в самом деле прекратился.

Из записки Тельмана о Мюнхенском соглашении

Прежде всего, краткая гипотеза: что произошло бы, если бы из-за чехословацкой проблемы возникла война с Германией?

В общем и целом эта война означала бы конец национал-социалистской системы. Об этом свидетельствуют почти все факты... Гитлеру удалось, при сознательной и весьма твердой поддержке Муссолини, успешно, и даже чересчур успешно, вести свою опасную игру ва-банк. Это удалось ему еще легче из-за нетвердой политики английского и французского правительств. Решающим при этом был и страх английского и французского правительств перед коммунизмом в случае затяжной войны. И, наконец, играет также роль переоценка вооруженных сил Германии и Италии в сравнении с вооруженными силами Англии, Франции и Советского Союза. Тем самым Мюнхенское соглашение не только спасло национал-социалистскую систему от ожидаемой и неизбежной гибели в случае европейской войны, но и в значительной степени способствовало дальнейшему подъему и укреплению этой системы. Кроме того, соглашение и вытекающие из него последствия означают новый, очевидный поворот в Европе к тоталитарным государствам, в частности к Италии и Германии, несмотря на существующие в Англии, Франции и других странах еще довольно сильные контртечения и довольно значительные оппозиционные силы.

Глава 47

Последний день протектора

Новый протектор Чехии и Моравии выбрал для своего рабочего кабинета один из залов южного флигеля Пражского Града. В соседних покоях разместились шифровальное отделение и группа связи.

Бесшумно распахнулась кремовая с золотыми венками дверь, и вошел адъютант-шифровальщик.

— Обер-группенфюрер! — молодой штурмфюрер четко, как на параде, взмахнул рукой и щелкнул каблуками.

— Записывайте, Вилли.— Протектор Чехии и Моравии, обер-группенфюрер СС и генерал-полковник полиции Рейнгард Гейдрих подошел к окну и, отомкнув бронзовый шпингалет, толкнул раму. Свесившись вниз, жадно вдохнул теплый душистый воздух Ледебургского парка.— Секретно. Управляющему имперской канцелярией Борману. Ставка фюрера.— Он раздвинул трепещущие под легким ветерком шелковые занавеси и еще выше поднял плотные шторы затемнения.— Дорогой партайгеноссе Борман! Сообщаю вам в дополнение к моим предшествующим донесениям, что сегодня в 11 часов имперское радио в Чехии огласит следующие смертные приговоры, которые завтра будут вывешены на улицах... Записали?

— Да, обер-группенфюрер!

— Вот список,— Гейдрих вернулся к рабочему столу и взял отпечатанный на машинке листок, где против каждой фамилии стояла карандашная пометка «экзекутирован».— Зашифровать и передать по прямому проводу.

— Будет исполнено, обер-группенфюрер,— адъютант сделал шаг назад, и дверные створки сомкнулись за ним.

Косая солнечная дорожка легла на молочно-белый, с легким янтарным оттенком паркет. По лепным украшениям высокого потолка побежали волнистые отсветы дрожащих на утреннем ветру буковых листьев. Оживились птицы в парке, зашумела с треском вырвавшаяся из поливного шланга вода.

Гейдрих глянул на штурманские часы с черным светящимся циферблатом: 7.30. Часа полтора еще можно поработать.

— Подготовьте самолет,— распорядился он по селектору.— В 11.40 вылетаю в Берлин.

В личном распоряжении Гейдриха было теперь три

самолета. Старый верный «дорнье» предназначался для полетов по завоеванным столицам Европы вместе со штабом. Прибывая в Осло, Копенгаген, Брюссель или Париж, Гейдрих любил располагаться с полным комфортом. Всюду он хотел чувствовать себя как дома — в Берлине или Пражском Граде. И это ему легко удавалось. Во всяком случае, шефы местных отделений гестапо и СД не жалели сил, чтобы угодить начальнику РСХА.

Трехмоторный «юнкерс-52», который в эту минуту, наверно, уже выводят из ангара в Кбелях и готовят к заправке, служил только для регулярного сообщения с Берлином, куда Гейдрих наведывался довольно часто. Как правило, он летал один и лишь иногда брал с собой кого-нибудь из адъютантов.

Когда же требовалось вылететь на линию фронта, он садился в новенький военный истребитель. Сменив генеральский мундир на шлем и реглан офицера люфтваффе, он молодцевато залезал в кабину и, задвинув стеклянный колпак, небрежным мановением перчатки просил взлета. В такие минуты он особенно остро ощущал себя сверхчеловеком. Зорко прищурившись, всматривался он в солнечную голубизну. Время от времени он все же отпускал штурвал и ласково касался гашетки турельного пулемета.

Чертовски жаль, что ему так ни разу и не попался воздушный противник. О, с каким удовольствием прошил бы он в ближнем бою русского Ивана трассирующей очередью! Или в стремительном перевороте через крыло поджег бы какой-нибудь «спитфайер». В Берлине это произвело бы впечатление. Но небо вокруг было безгрешным и пустым, как в день творения. Возможно, по той причине, что лучшие асы рейха прикрывали в это время воздушный коридор. Но об этом высокопоставленный пилот старался не вспоминать. Во всяком

случае, на военные аэродромы он садился в одиночестве. И садился классно. Отстегнув парашют и забросив планшет за спину, козырял встречающим его гестаповским и армейским чинам и тут же, прямо на аэродроме, включался в работу.

С той памятной ночи «длинных ножей» он привык всюду иметь под рукой все средства связи: радио, телефон, телетайп. Едва стащив с головы шлем, он уже подписывал приказы и приговоры, диктовал инструкции руководителям гестапо и зондеркоманд, отдавал шифровальщикам секретные распоряжения для резидентов разведки. Он любил замаскированные аэродромы прифронтовой полосы, куда глухо доносится грохот артиллерии главного калибра, а от разрывов полутонных авиабомб едва заметно содрогается земля и дребезжат стекла в офицерской столовой.

Но последнее время громовая музыка Одина перестала радовать истинно нордическое сердце. В победном оркестре войны все чаще начинали проскальзывать тревожные ноты.

Ничего не поделаешь: нужно трезво смотреть на вещи. И хотя война, несомненно, будет выиграна, победа достанется дорогой ценой. Блиц-криг, во всяком случае, провалился. Особенно тяжела была прошедшая зима. Гейдрих выезжал однажды в разрисованном черно-белыми маскировочными пятнами гиеноподобном «мерседесе» на Волоколамское шоссе. Что и говорить, вермахт оказался плохо подготовлен к зимней кампании. Это Гейдрих видел собственными глазами. Он один знает, каких трудов стоило ему выжить из генштаба фельдмаршалов-интриганов. И все для чего? Чтобы к кормушке пробрался бездарный Кейтель? Воистину не Кейтель, а Лакейтель...

Но победа тогда все же казалась близкой. На берлинской конференции держав антикоминтерновского

пакта Риббентроп имел все основания сказать, что большевистский колосс сломлен. Впрочем, болтать они все мастаки. А ведь это он, Гейдрих, расчистил путь Риббентропу. Напыщенное ничтожество! Стоило ради него спихивать гнилого аристократа Нейрата с министерского кресла... Но Нейрат, конечно, свое отжил. На посту чешского протектора он тоже проявил себя как жалкая размазня. Он, Гейдрих, целых два месяца потратил, чтобы искоренить в протекторате либеральный дух.

Эти дипломаты ни к черту не годятся. Что Нейрат, что Риббентроп. Не могут даже наладить крепкие контакты с военной разведкой или СД. Ведь на другой же день после заявления Риббентропа русские перешли в контрнаступление на Южном фронте! Они взяли Ростов и оттеснили нас на рубеж реки Миус. И все же мы не ослабили натиск. Танки генерала Гота подошли тогда совсем близко к большевистской столице. Мы были в каких-нибудь тридцати пяти километрах от Кремля! Главный болтун Геббельс уже распорядился оставить на первых полосах газет место для экстренного сообщения о взятии Москвы.

Но Гейдрих уже знал, что сенсационного известия не будет. И Канарис это знал. Шестого декабря русские бросили в бой свои отборные части и перешли в наступление. При сорокаградусном морозе и жестокой снежной пурге...

За короткий срок нас отбросили назад на четыреста километров. Эти шаркуны из военного министерства схватились тогда за мемуары наполеоновского адъютанта Коленкура... Послать бы их, сволочей, на Восточный фронт, на проволоку, в снега...

На селекторе замигала красная лампочка. Гейдрих снял трубку.

— Да!

— Обер-группенфюрер! По вашему вызову из Берлина прибыл штандартенфюрер Зиберт.

— Хорошо. Пусть подождет.

Он действительно вызвал к себе позавчера Зиберта. Но тогда он не знал еще, что полетит сам. Хорошеньких дел они там натворили, пока он наводил в Праге порядок. Проморгали у себя под самым носом целую организацию коммунистических саботажников. Как все скверно складывается! Мы переключились на фронты Европы и забываем, что не навели еще порядка у себя дома. И все эта неразумная война на два фронта. Где, спрашивается, Англия, которая, как уверял Геринг, уже у него в кармане? Бездарные министры, бездарные самодовольные генералы. Фюрер правильно поступил, что снял Браухича. Но ему не следовало, конечно, брать главнокомандование на себя. Нет, он, Гейдрих, не сомневается в полководческих способностях фюрера, скорее выражает лишь опасение, что дополнительное бремя может оказаться для него непосильным. Вожди нации не должны опускаться до уровня чисто армейских задач. Для этого у нас достаточно генералов, половину которых следовало бы перестрелять. Почему эти ничтожные идиоты не позаботились о зиме? Геббельс, как всегда, бьет в литавры, но его призыв к сбору теплых вещей не спасет армию, не отведет уже нависшей беды. Поздно. Вторая зима может оказаться губительной.

Если бы фюрер послушался совета Гейдриха!

Протектор Чехии и Моравии снова нахмурился, и лоб его образовал одну прямую линию с носом. Гейдриха не оставляло неприятное чувство, нахлынувшее на него в ставке фюрера. Пожалуй, в основном именно оно его и угнетало. Он подсознательно чувствовал, тошнотворным нытьем под сердцем ощущал, что в великолепном мире, который он, не жалея себя, помог выстроить, произошел необратимый надлом. Ветвистая черная тре-

щина на чистом зеркале. Она мелькнула в бегающих, слезящихся на ветру глазах Гитлера. Какая была в них смятенная и опасная собачья тоска!

Фюрер вызвал его для доклада по экономическим вопросам. Гейдриху пришлось ожидать перед бункером больше часа. Одно это уже было дурным предзнаменованием. Обычно его принимали сразу же. Наконец фюрер вышел, но не один, а в сопровождении отвратительного выскочки Бормана. Нужно же было идиоту Гессу перелететь к англичанам, чтобы его место занял бесчестный интриган!

Гейдрих сразу понял, что почва уже подготовлена. На его приветствие фюрер ответил недовольным изучающим взглядом. Впрочем, это длилось мгновение. Борман фамильярно взял фюрера под руку и увел обратно в бункер. Как няня своевольного ребенка. Напрасно Гейдрих прождал до вечера. Фюрер так больше и не вышел. Лишь на другой день Борман отпустил протектора в Прагу:

— Всего вам хорошего, дорогой партайгеноссе,— с улыбкой, за которой Гейдрих почувствовал затаенную ненависть, сказал он.— Фюрера больше не интересует информация об экономическом состоянии протектората.

Конечно, Борман и теперь продолжает плести против него интриги. Одно лишь утешение, что он интригует против каждого, кому выказывает свое расположение фюрер. И, безусловно, старый лис Канарис тоже не упускает подходящего случая. Но ничего! Для господина адмирала Гейдрих припас хорошенькую бомбу. Его любимчик полковник Остер уже накрыт. Фюреру интересно будет послушать, как офицер абвера через иностранное посольство пытался предупредить голландцев о готовящемся вторжении немецких армий. Да и в Риме не все благополучно, особенно в немецком посольстве. Наконец, эти красные радиодиверсанты! Абвер не очень-то

расторопно взялся за дело... Фюрер должен понять, что Гейдрих не склонен цепляться за высокие посты. Он понимает свою задачу в этой жалкой Чехии как боевое задание, которое должен выполнить и по выполнении доложить: «Мой фюрер, я выполнил приказ, теперь разрешите мне снова посвятить себя моему основному призванию».

Но способен ли еще фюрер слушать других? И, в частности, его, Гейдриха? Свободна ли теперь его воля, или она целиком подчинена темному влиянию полусумасшедших мистиков и придворных льстецов?

— Пригласите штандартенфюрера,— сказал он в микрофон и нажал кнопку звукозаписывающего механизма.

— Хайль Гитлер! — Зиберт споткнулся о порог и выронил папку с документами. Тяжело дыша от волнения и натуги, принялся собирать разлетевшиеся по полу бумаги.

— Здравствуй, старый служака,— Гейдрих покосился на вспотевший затылок ползающего у его ног штандартенфюрера. Засиделся ты, братец, у меня в аппарате, засиделся... Не послать ли проветриться куда-нибудь в Киев или Париж? А может, в помощь Глобоцнику? У того явно не хватает творческого воображения. Это надо же, додумался подключать выхлопные трубы грузовиков к газовым камерам! Нет, господа, так мы никогда не добьемся нужной производительности. А время не терпит...

— Я привез вам все необходимые материалы, обергруппенфюрер,— Зиберт протянул Гейдриху папку и отер тыльной стороной ладони побагровевший лоб.

— Садитесь, коллега Зиберт,— Гейдрих гостеприимно указал на обитое белым штофом кресло с гнутыми позолоченными ножками.— Я просмотрю это позднее. А сейчас коротко,— он посмотрел на часы,— введите меня в курс дела.

— Двадцать шестого июня сорок первого года в три пятьдесят восемь утра служба радионаблюдения в Кранце перехватила первую радиограмму передатчика РТХ. Контрразведка тут же отдала приказ радиопеленгаторным станциям вермахта: «Установить время передач РТХ. Степень срочности 1а».

— Передача велась из Кранца?

— Так сперва думали. Но потом выяснили...

— Когда потом?

— Через пять недель.

— Так. Значит, абвер пять недель сидел сложа руки?

— Не совсем, обер-группенфюрер. Руководитель группы радиоконтрразведки Копп искал передатчик сначала в Кранце и Бреслау, затем по всей Северной Германии, Бельгии, Голландии, Франции...

— А он оказался в Берлине,— Гейдрих сделал пометку в блокноте.— Всего в трех километрах от центра радиоабвера. Не так ли, дорогой Зиберт?

— Так точно, обер-группенфюрер. Выяснилось, что работают сразу несколько передатчиков.

— Запеленговали?

— Они постоянно меняют частоты, время и позывные.

— Что же предпринял этот Копп?

— Он затребовал в Берлин взвод из роты радиоперехвата люфтваффе с более совершенной аппаратурой. Для маскировки солдат переодели в форму почтового ведомства, а пеленгаторы установили в уличных киосках...

— ...И туда посадили почтовых чиновников?

— Никак нет, обер-группенфюрер. Радисты делали вид, что чинят телефонный кабель. Но передачи были настолько короткими, что радисты просто не успевали взять пеленг. К тому же иногда передатчик замолкал на несколько суток...

— Пусть трудности абвера волнуют Канариса.
— К двадцать первому октября, обер-группенфюрер,— Зиберт, впавший было в размеренный тон, спохватился,— местонахождение засекли.— Он вновь перешел на скороговорку.— Один передатчик действовал вблизи Баварской площади, другой — возле Парка Инвалидов, третий — на Морицплац. Но двадцать второго они все вдруг замолчали.
— Спугнули?
— Да, обер-группенфюрер. Копп забыл переменить на машинах номера. Очевидно, кто-то из них обратил внимание, что машины по ремонту кабеля имеют буквы военно-воздушных сил.
— Прекрасно! — Гейдрих сделал еще одну пометку.— Что предпринял Канарис?
— Он подключился к операции как раз после этой истории. Отделу контрразведки было поручено срочно найти передатчики.
— Кто там у них сидит? Роледер?
— Точно так, обер-группенфюрер, полковник Роледер. По прямому проводу Роледер связался со своими филиалами на оккупированных территориях. Вскоре выяснилось, что РТХ работает в Генте и Брюсселе. Понадобилось две недели, чтобы установить точное местонахождение: отрезок улицы Атребат, где находятся дома девяносто девятый, сто первый, сто третий.
— Лишние подробности, Зиберт. Притом, если мне не изменяет память, Атребат в Брюсселе, а как же Гент?
— Передатчик в Генте замолк.
— Так. Дальше.
— В ночь с двенадцатого на тринадцатое декабря в подвале дома сто один был, наконец, задержан первый радист, назвавшийся Карлосом Аламо.
— Кто его взял?
— Капитан Пипе. Он же дал и название всей операции.

— «Красная капелла»?
— Точно так, обер-группенфюрер.
— Что было сделано еще?
— Люди из абвера тут же вошли в контакт с нами.
— Очень мило.
— Обер-группенфюрер Мюллер выделил для совместной работы с абвером Гиринга.
— Одобряю. Гиринг хорошо проявил себя в деле Тельмана, а также при раскрытии покушения на фюрера, которое готовилось в пивном зале «Бюргерброй».
— Но Роледер не был в восторге, обер-группенфюрер.
— Разумеется. Эти чистюли из абвера воротят нос при одном упоминании о гестапо. Где сейчас Гиринг?
— Со своей группой вылетел в Брюссель.
— Все ясно. Теперь самое главное, Зиберт. Дешифровка радиопередач. Насколько мне известно, дело подвигалось довольно туго, но вы, кажется, говорили, что уже есть успехи?
— Точно так, обер-группенфюрер.— Зиберт отлично знал, что ничего не говорил об этом Гейдриху.— Группа радиоабвера во главе с доктором математики Фауком вчера расшифровала последнюю передачу. Этому во многом способствовали материалы, обнаруженные в Париже и Брюсселе группой Гиринга — Пипе. Картина вырисовывается ужасающая, обер-группенфюрер.
— Без эмоций, Зиберт, без эмоций.
— Наши планы наступательных операций, статистические сведения о вооружении, численность дивизий, секретные дипломатические сообщения, даже сведения о последней беседе между фюрером и японским послом генералом Осима и те попали в Москву.
— Прочитайте мне несколько радиограмм.— Гейдрих взял со стола блокнот с буквой «Ф» — фюрер, предназначавшийся для подготовки бесед с Гитлером.
— Наиболее показательны сообщения из так назы-

ваемого «Источника «Хоро»», обер-группенфюрер. Цитирую:

«Источник «Хоро». Новый бомбардировщик типа «мессершмитт» имеет две пушки и два пулемета, расположенных на крыльях. Развивает скорость до 600 км в час». Далее...

— Сообщения такого же типа?

— Точно так, обер-группенфюрер.

— Тогда не читайте. Просто перечислите.

— Так, значит...— Зиберт торопливо перебрал листки.— Новый тип бомб, новый навигационный прибор для самолетов, двигатель, работающий на перекиси водорода.

— Интересно,— Гейдрих зорко прищурился и, положив ногу на ногу, ударил блокнотом по колену.— Все сообщения касаются люфтваффе. Рейхсмаршал Геринг будет очень обрадован.

— Вы попали в самое яблочко, обер-группенфюрер. Но, к сожалению, саботажники передавали, как я уже вам докладывал, куда более широкую информацию.

— Слушаю вас, коллега Зиберт.— Гейдрих приготовился записывать.

— Данные о торпедах с дистанционным управлением, о сверхсекретных заказах заводу «Ауэрфабрик» в Ораниенбурге, а вот сообщение общестратегического характера. Прочитать?

— Давайте.

— «Новое наступление на Москву не является результатом стратегического решения, а вызвано царящей в немецкой армии неудовлетворенностью тем, что цели, поставленные после 22 июня, не достигнуты. В результате советского сопротивления пришлось отказаться от плана I «Урал», от плана II «Архангельск — Астрахань», от плана III «Кавказ»».

— Когда это передано?

— 9 декабря 1941 года, обер-группенфюрер.

— Так... Кости дробить надо... Давайте еще.

— «На начало ноября предусмотрена зимовка немецкой армии. Немцы введут в бой против Москвы и Крыма все, чем они располагают». Передано 12 декабря.

— С этим запоздали. Контрнаступление русских началось раньше.

— Позволите продолжать?

— Конечно, дорогой Зиберт. Я вас слушаю.

— «Источник «Хоро». План III (цель — Кавказ) вступает в силу весной 1942 года. Развертывание войск должно быть закончено к 1 мая. Все снабжение с 1 февраля подчинено этой цели. Район сосредоточения войск для наступления на Кавказ: Лозовая — Балаклея — Чугуев — Белгород — Ахтырка — Красноград».

— У этого «Хоро» обширная информация. Его агенты сидят в генштабе, военном министерстве и люфтваффе.

— Точно так, обер-группенфюрер. Это обширная агентурная сеть. «Хоро» передал в Москву даже некоторые данные о готовящемся наступлении группы армий «В» в районе Воронежа.

— Русского разведчика необходимо обезвредить как можно скорее. Я выделю для этого группу, которая будет действовать отдельно от Гиринга и... вне всякой связи с абвером.

— Понимаю, обер-группенфюрер. Я уже начал работу в этом направлении. Мы располагаем теперь сведениями, что «Хоро» — это не кто иной, как обер-лейтенант оперативного отдела штаба ВВС Харро Шульце-Бойзен.

— Вот как? Мы им уже, кажется, занимались, коллега Зиберт?

— Точно так, обер-группенфюрер. Но нашлись влиятельные покровители...

— Как он попал в люфтваффе?

— Сам рейхсмаршал Геринг принял в нем участие.

На бракосочетании Шульце-Бойзена с фройляйн Либертас Хаас-Хейе он был свидетелем.

— Почему вы не предупредили рейхсмаршала?

— Я не занимался этим Шульце-Бойзеном, обер-группенфюрер. Притом бракосочетание имело место несколько лет назад. Но если вы дадите указание, мы сразу же свяжемся со штабом рейхсмаршала...

— Нет, Зиберт, теперь уже поздно. Торопливость только помешает. «Хоро» теперь у нас в стакане, и мы должны обезвредить всю его «капеллу»... Пусть уж Геринг и дальше пребывает в блаженном неведении.

— Рейхсмаршал вообще не очень прислушивается к нашим советам, обер-группенфюрер. Когда четвертый отдел обнаружил, что его заместитель генерал Мильх на одну четверть еврей, мы порекомендовали рейхсмаршалу убрать Мильха из штаба. Но он не соизволил пойти нам навстречу. «Я сам знаю, кто у меня в штабе еврей, а кто нет»,— ответил рейхсмаршал.

— Мне известно об этом. Они с Мильхом дружат с детства. Кроме того, сведения о предках генерала не совсем достоверны... Шульце-Бойзен все еще работает в оперотделе штаба ВВС?

— Точно так, обер-группенфюрер. В запретной зоне района Вердера, рядом с командным бункером рейхсмаршала.

— Кто его командир?

— Начальник пятого отделения полковник Шмид. В отделение поступают все дипломатические и военные донесения атташе при наших посольствах и миссиях.

— Шмида проверяли?

— Точно так, обер-группенфюрер. Совершенно чист. У рейхсмаршала ходит в любимчиках. Имеет доступ к картам, на которых нанесены цели бомбардировочной авиации.

— «Хоро» передавал информацию подобного рода?

— Исключительно редко. К тому же весьма приблизительную.

— С кем еще общается «Хоро» по службе?

— С полковником Гертсом — начальником третьего отделения в отделе уставов. Полковник занимается секретной и строго секретной документацией. Утечка информации через источник «Хоро» имеет место.

— Это какой Гертс? Бывший редактор «Теглихе рундшау»?

— Точно так, обер-группенфюрер. Он был летчиком в мировую войну. По природе он меланхолик, верующий, склонен к мистике. Нам удалось установить, что Шульце-Бойзен свел его с гадалкой Анной Краус, которая дает ему не только житейские советы, но и помогает принимать служебные решения. Есть основания полагать, что Гертс приносит на сеансы секретные документы. Супруг гадалки, уроженец Данцига Иоганн Грауденц, с Шульце-Бойзеном в тесной дружбе. Он работает в вуппертальской фирме «Блюмгард», изготовляющей самолетные шасси.

— С кем еще находится в постоянном контакте этот «Хоро»?

— С доктором Арвидом Харнаком и неким Кукхофом.

— Хорошо, дорогой Зиберт, расширяйте круг и заводите невод. Только не надо спешить. Предателя Остера и весь абвер можете перепоручить Герстенмайеру, но Тельман остается за вами. У вас все?

— Осталась еще одна деталь, обер-группенфюрер. Гиринг арестовал недалеко от Парижа одного субъекта, наполовину немца, наполовину итальянца, официанта загородного казино. Были кое-какие указания на то, что этот официант связан не только с РТХ, но и с коммунистическим подпольем.

— Французским?

— И немецким тоже. Если интуиция меня не обманывает, это имеет какое-то отношение к Тельману.

— Вот как? — Гейдрих задумчиво постучал карандашиком по зубам. У старой ищейки есть еще нюх, подумал он, искоса взглянув на Зиберта. — Что удалось узнать?

— К сожалению, немного. Парижское гестапо несколько перестаралось по части особой обработки. Подследственный не выдержал длительного ультрафиолетового облучения глаз и выбросился из окна. Разбился насмерть. Но кое-что вытянуть из него все же удалось. В частности, мы знаем теперь, что какое-то отношение к Тельману имеет известный красный функционер Ион Зиг, проживающий в Берлине под чужим именем. Мы снабдили фотографиями Зига агентов, приставленных к «Хоро» и гадалке. Сегодня ночью я получил экстренное сообщение, что похожего человека видели входящим в подъезд дома, где живет эта самая Анна Краус.

— Превосходно, Зиберт! Превосходно! И знаете что? Подготовьте мне компрометирующий материал на фрау Тельман и фройляйн Ирму. Связь с подрывными элементами, слушание иностранных радиопередач... Попробуйте нажать на этого рабочего паренька... Вы знаете, о ком я думаю...

— Вестер, обер-группенфюрер.

— Да, на ее жениха. Или он уже муж?

— Фройляйн Ирмой занимается Шнейдер, обер-группенфюрер. Я выясню.

— Благодарю за хорошую службу, старый волк, — Гейдрих сложил блокнот и встал. — Погостите у нас в Праге до моего возвращения.

— Слушаюсь, обер-группенфюрер. Хайль Гитлер! — Зиберт неуклюже повернулся и, переваливаясь, затопал к дверям.

Гейдрих задумчиво посмотрел ему вслед.

Постарел, вояка, но зубы еще есть. Года два поработает. Только есть ли они у нас, эти два года?

Но как бы там ни было, беседа с фюрером получится интересной. Только бы не помешал опять этот мрачный пройдоха Борман. Депеши «Хоро» приведут Гитлера в ярость, это несомненно. А поскольку отдел «Борьба с парашютистами и радистами противника» находится в непосредственном ведении адмирала Канариса, старой лисе хорошо наступят на хвост. Тут-то и надо будет подсунуть фюреру дело изменника Остера и намекнуть на его связи с генеральской сволочью. Да, Канарису не позавидуешь. О, Гейдрих знает, как доложить это дело фюреру, в каком свете представить те или иные факты! Даже если адмирал и сумеет вырваться из капкана, то только ценой перегрызенной лапы. Остера и еще кое-кого из абверовских хлыщей придется отдать гестапо. А там из них выжмут все, будьте покойны... Фюрер увидит, наконец, разницу в методах работы абвера и его, Гейдриха, СД.

Гиммлер тоже будет доволен. Гнездо шпионажа под крылышком толстого Германа его позабавит. Уж мы добьемся, чтобы всю эту «капеллу» фюрер отдал нам. И Тельману теперь тоже крышка. Если только удастся взять Зига, с Тельманом будет покончено. Прямая связь Тедди с коммунистическим подпольем, с людьми, которые имеют хоть какое-то отношение к радиодиверсантам,— это именно та последняя соломинка, под которой валится верблюд. Фюрер, конечно, впадет в неистовство. Вот только с гадалкой нужно быть осторожней. О ней, пожалуй, и вовсе не стоит докладывать...

Гейдрих посмотрел на часы: 8. 37. Прокрутил отдельные места записи своего разговора с Зибертом и сделал запись в блокноте с буквами «РФ» — рейхсфюрер.

Астрология и прочие гадания были в его схеме звеном заманчивым, но очень опасным. Из агентурных данных он знал, что англичане держат на службе в сикрет интеллидженс сервис лучших астрологов специально для того, чтобы предугадывать решения фюрера. И это часто удава-

лось. Противник знал, что Гитлер назначал людей на командные должности лишь после того, как знакомился с их гороскопами. Зная вероятных кандидатов, англичане, естественно, могли легко предугадать, какая астрологическая лошадка придет первой. Но попробуй заикнись, что фюрер своим суеверием невольно льет воду на мельницу иностранной разведки! К тому же Гиммлер полностью разделяет эти мистические устремления. Еще неизвестно, как они посмотрят на то, что высший офицер ВВС носит к гадалке строго секретные документы. Того и гляди сделают его генералом! Но, к счастью, полковник христианин, и повышения ему не будет. Когда же гестапо схватит за руку и самоё гадалку, никакие потусторонние силы уже не спасут изменников. Фюрер, к счастью, не утратил способности отличать врага от колдуна. Если он даже Ганнусена не пощадил...

Гейдрих знал — впрочем, из весьма недостоверных источников,— что фюрер верил в предсказанную каким-то безответственным гадальщиком астральную связь между ним и Тельманом. В чем она конкретно выражалась, установить не удалось. Кроме того, что оба родились под знаком Овна, Гейдрих ни до чего не докопался. Столь же загадочным осталось для него и неистовое стремление Гиммлера во что бы то ни стало уничтожить красного лидера. Возможно, ничего астрального за этим и не скрывалось, а просто была неистребимая ненависть, которую вполне разделял и сам Гейдрих. Но того, что за этой ненавистью прятался и несомненный страх, Гейдрих не знал.

Суеверие начальства не вызывало в нем ничего, кроме презрения. Недавно он с тайным удовольствием примерил на свой длинный, несомненно нордический, череп корону чешских королей. Его милым мальчуганам это доставило искреннюю радость. Когда он привел их к себе на службу, в Пражский Град, они просто прыгали от

счастья. Он велел отворить для них часовню святого Вита и дал им всласть наиграться королевскими реликвиями. Потом, для потехи, надел корону. Разве не он был полновластным хозяином этой страны? Он смеялся в душе над суеверной легендой, которая угрожала смертью всякому, кто осмелится самовольно возложить на себя королевский венец. Он осмелился. И без малейшего душевного трепета...

Гейдрих улыбнулся, вспомнив, как скакали вокруг него мальчуганы. О, их-то он хорошо воспитал, за них он совершенно спокоен! А вот проклятые чехи... Он уже говорил коллегам, как с ними надо обращаться.

Из выступления Гейдриха
перед высшими офицерами СС и гестапо

Чехам прежде всего надо показать раз и навсегда, кто здесь хозяин, чтобы они знали, что здесь все диктуется германскими интересами и что здесь, наконец, решающее слово принадлежит рейху, рейху. Империя не позволит шутить с собой — она здесь хозяин. А это значит, что ни один немец не спустит ничего чеху, что он будет действовать таким же способом, как он действовал у себя в рейхе по отношению к евреям. Не должно быть немца, который мог бы сказать о ком-то из здешних жителей: «Хотя он и чех, но вполне приличный». Ведь такие же проблемы стояли перед нами при решении еврейского вопроса, и можно себе представить, как бы они были решены при подобном отношении. Чех должен видеть, что немец — господин с головы до пят.

Так, и только так. На протяжении всей истории Чехия и Моравия были сердцем рейха. Мы сделали эти земли твердыней германизма, стражем наших восточных границ. Не случайно старый лис Бисмарк назвал их «цитаделью Европы». Так и решила судьба. Во веки и присно. Но немцы не могут позволить себе благодушия. Нельзя забывать, что неоднократно на протяжении веков именно чехи обнаруживали коварство, и теперь, в разгар исто-

рической битвы с мировым большевизмом, они лелеют надежду нанести предательский удар и подорвать нашу боевую мощь. Несомненно, в протекторате действует хорошо законспирированная разветвленная организация. Саботаж, террористические акции, преступное уничтожение урожая — все неприятные эксцессы последних недель — явное тому доказательство.

Гейдрих взглянул опять на часы: было три минуты десятого.

Пора собираться в путь. Нужно еще заехать попрощаться с женой, мальчуганами. Ко всем чертям этих чехов. Он слишком много уделяет им внимания. Здесь он находится случайно и пробудет, видимо, не очень долго. Главное — это все же работа, настоящая работа в РСХА. Фюрер должен понять, насколько страдает дело от того, что он, Гейдрих, вынужден распылять свое внимание на славянских недочеловеков. Будь он постоянно в Берлине, абвер не посмел бы проморгать эту «Красную капеллу». Канарис перестал ловить мышей.

Но эти чехи требуют все большего внимания. Получается порочный замкнутый круг. Война в России оживила коммунистическое подполье в протекторате. Чешские террористы только и ждут случая, чтобы всадить нож в спину.

Особенно остро ощущается саботаж в последние месяцы. Взрывы, поджоги, покушения, шпионаж и листовки, листовки, листовки... Несомненно, за всем этим стоит большая и разветвленная организация. Он, Гейдрих, не пожалеет сил, чтобы искоренить ее. Иначе он так и застрянет в этом проклятом протекторате. Недаром ведь фюрер сказал ему на прощание: «Помните, что туда, где целостность империи находится под угрозой, я пошлю достойного руководителя СС и возложу на него миссию восстановить эту целостность». И это так, ибо СС — гроза всех врагов рейха и верный страж немецкого народа. Но,

как это ни горько, приходится признать тщету всех усилий СС и гестапо искоренить саботаж на территории Чехии и Моравии. Обстановка в протекторате настолько накаленная, что без преувеличения можно говорить о непосредственной угрозе целостности рейха. Аресты, облавы, прочесывания лесных массивов и городских кварталов не приводят более к желаемым результатам. Организация саботажников подобна тысячеглавой гидре. На месте одной головы вырастают три новых. Меч Зигфрида не успевает их срезать. Что еще можно сделать? Увеличить число заложников? Создать гетто для чехов по образцу Терезина? Но кто-то же должен и работать на этих землях? Поставлять сырье, продовольствие, оборудование? Снабжать армию и тыл? Следовательно, нужно планомерно и терпеливо проводить в жизнь намеченную программу: выделять и привлекать на свою сторону расово полноценных, стерилизовать рабочую скотину с ярко выраженными славянскими признаками и беспощадно искоренять остальных. В последнюю категорию, безусловно, попадут и саботажники. Весь вопрос в том, как практически осуществить столь грандиозную селекцию? Как провести эту самую обширную в истории полицейскую акцию?

Прежде всего, необходимо усилить давление страхом. Массовые казни, что там ни говори, производят впечатление! Затем... Впрочем, пора уже ехать.

Замковые часы бьют десять раз. Долго не затихает отлетающий медный отчетливый гул.

...Фрау Гейдрих тоже встала с первыми петухами. «Кто рано встает, тот все возьмет». Патриархальное, но верное изречение. Оттого немцы такие трудолюбивые и прилежные работники, что дисциплина у них в крови.

Пыльно-зеленый «мерседес-бенц» с откинутым верхом уже стоит у дверей. Как, разве с Рейнгардом поедет не Вилли? Тем лучше, Клейн осторожнее... Тем более,

что Рейнгард надумал ехать без охраны. Он, видите ли, торопится! Не нужно нарушать правила, даже если торопишься. Все же хорошо, что поедет Клейн, он хоть не будет гнать машину.

Она надевает поверх пеньюара шиншилловое манто и, поправив прическу, спускается вниз.

А Рейнгард Гейдрих уже нетерпеливо смотрит на часы. Он надевает фуражку с выпуклым серебряным черепом, бросает на заднее сиденье портфель и плащ.

Он слышит шаги на лестнице и, уже заранее улыбаясь, поворачивает голову навстречу жене. Но она спускается чересчур медленно... Он достает из кармана блокнот «РФ» и быстро проглядывает конечный итог: 1. Остер. 2. Канарис. 3. Тельман.

Так уж случилось, что именно от него, Гейдриха, зависит сейчас ускорить неизбежную гибель этих трех, совершенно разных людей. План разговора с фюрером полностью созрел в его голове.

Но он не попадет сегодня в Берлин. И завтра тоже. На крутом повороте у Выховательной его уже ожидают три молодых ротмистра чешской армии Йозеф Габчик, Ян Кубиш и Йозеф Валчик из десантной группы «Антропоид». И хотя автомат Габчика даст осечку, бомба Кубиша все же сделает свое дело. Она взорвется в 10 часов 31 минуту, и протектор Гейдрих попадет в Берлин в цинковом гробу.

Молния, посланная из личного поезда Гиммлера

Группенфюреру СС Франку, Прага. 27. 5. 42 г.

...В счет определенных ранее 10 000 заложников в первую очередь арестовать оппозиционно настроенную чешскую интеллигенцию. Из числа этой чешской интеллигенции — главных наших противников — расстрелять уже сегодня ночью 100 самых выдающихся.

Вызову вас еще ночью.

ЧТК, Прага. 10 июня. Официально сообщается: при розыске убийц обер-группенфюрера СС Гейдриха получены сведения, неопровержимо доказывающие, что жители деревни Лидице, близ Кладно, оказывали помощь преступникам...

Все взрослые мужчины деревни расстреляны, женщины отправлены в концентрационные лагеря, а дети отданы на воспитание надлежащим образом. Все строения сравнены с землей, а название деревни исключено из списка населенных пунктов.

Глава 48

К последним причалам

11 августа 1943 года, после шестилетнего заключения в ганноверской тюрьме, Тельмана перевели в Баутцен, в следственную тюрьму по уголовным делам.

Путь в Баутцен был долог и утомителен. По дорогам тянулись унылые колонны беженцев. Дымились каменные холмы, в опаленных воронках ветер шевелил какое-то тряпье и чудом уцелевшие куски обоев. С кошелками и термосами в руках люди покорно брели на временные пункты, где можно было получить хлеб и эрзац-кофе. Женщина, согнувшись под тяжестью рюкзака, несла на руках закутанного в плед ребенка. Спасательная бригада разбирала завал, над которым выла собака.

Полиция закрыла движение и направляла машины в объезд. Но «хорьх» с гестаповским номером пропустили. Медленно и бесшумно, как черный призрак, скользил он по мертвым улицам, мимо обгорелых деревьев, каменных коробок, пыльных груд кирпича и мусора. В обесцвеченном августовским зноем небе, как сонная рыба, застыл забытый и бесполезный аэростат.

— Ужасно,— прервал гнетущее молчание сидевший рядом с Тельманом старший советник Хеллер.

— Да. Большие разрушения.— Сидевший впереди директор ганноверской тюрьмы Зуффенплан покосился на шофера.— Но этим нас не сломить.

— Конечно,— с несколько искусственным оживлением поддакнул Хеллер.— Фюрер только ожидает удобного момента, чтобы пустить в действие новое чудо-оружие.

— Англия и Россия тоже лежат в руинах.— Зуффенплан, по-видимому, почувствовал, что фраза получилась двусмысленной, и тут же поправился: — У нас еще сравнительно небольшие разрушения.

— Люфтваффе начеку,— поддакнул Хеллер.— Как правило, к цели удается прорваться только двум-трем самолетам противника.

— Да и тех в конце концов сбивают наши зенитчики. Кажется, нам все же придется сделать круг.— Зуффенплан поспешил перевести разговор.— Проезд как будто закрыт.

«Хорьх» остановился у шлагбаума перед железнодорожным переездом. На путях догорал накрытый ночной бомбардировкой эшелон. По железным остовам опрокинутых вагонов расползлась тусклая радуга. Окутанные паром пожарники поливали из брандспойтов раскаленный до вишневого отблеска тендер. Груды искореженного металла мешали подать к переезду платформу с краном для расчистки путей. Нечего было надеяться, что переезд скоро откроют.

Шофер для порядка несколько раз надавил на клаксон, но утробный, давящийся звук его потонул в шипении горячего пара.

— Давайте назад,— распорядился Зуффенплан.

Пока «хорьх» медленно разворачивался, Тельман успел заметить обложенный мешками с песком пустой окопчик и перевернутую зенитную установку. Расчет,

очевидно, перевели в другое место, а может быть, просто похоронили.

Тельман вспомнил, как в последний год своего пребывания в Ганновере установил связь с зенитчиками, дежурившими на крыше тюрьмы.

Пригодился все же трудный моряцкий опыт. Ничто не пропадает даром. Ничто. В эти страшные годы он и не думал о морской сигнализации, а вот она-то и пригодилась... Море вспоминалось часто: порт, душный кубрик. Раскачивающаяся в проволочном колпаке тусклая лампочка под железным потолком, матросская люлька и скользкая палуба, с которой сбегает обрушившаяся на борт волна. Но стоило увидеть того молодого парня в вылинявшей на солнце пилотке, что сигналил кому-то на соседнюю крышу, как все сразу и вспомнилось.

Долго не удавалось ему привлечь внимание зенитчиков к своему крохотному зарешеченному оконцу, долго попусту размахивал в сумраке глубокой оконной ниши искусными, все помнящими руками своими. И вот, наконец, его заметили.

«Кто ты?» — «Свой».— «Кто ты?»—«Рабочий. Матрос. Солдат».— «За что ты здесь?» — «Я — Тельман».— «Я знаю тебя».— «И я тебя знаю».— «Откуда?»

Откуда? Это сложный вопрос, парень, очень сложный вопрос. Две недели я слежу за тобой. Я десять лет просидел в одиночке. Десять лет! Но десять дней я смотрю, как ты смеешься и куришь, играешь на губной гармошке, сигналишь приятелям и ешь бутерброды у железного ящика с песком. Я даже видел, как ты гадал на ромашке, пуская по ветру белые ее лепестки. Я знаю твоих приятелей. С закрытыми глазами вижу, как читаешь ты письмо, лежа на боку, подперев подбородок рукой, а волосы твои, светлые льняные пряди, шевелятся под ветром. Но вот поднимается на крышу лысый одутловатый фельдфебель — как хорошо, что он так редко приходит

сюда,— ты прячешь листок в задний карман комбинезона, где темнеет пятно от машинного масла, и нехотя встаешь. И я понимаю, что пришел твой недруг, с которым надо держать ухо востро. И перестаю сигналить тебе, потому что твой враг — это и мой враг. Понимаешь? А ты спрашиваешь, откуда я знаю тебя! Знаю...

«Знаю!» — «Чем я могу тебе помочь?» — «Говори со мной. Рассказывай мне».— «Ладно. Буду»...

Так они и подружились. И он уже не чувствовал себя бесконечно одиноким.

Как-то зенитчики просигналили, что в тюрьму пришла Ирма, которую они хорошо уже знали в лицо. И когда надзиратель, впустив ее в камеру, запер дверь, Тельман обнял дочь и засмеялся:

— А я знал, что ты придешь! — громко сказал он, ибо знал истинную цену «послабления режима», понимал, почему ему разрешили свидание наедине.

— Откуда, папа? — тоже громко спросила она.

— Я все вижу насквозь, и эти паршивые стены для меня не преграда.— И он весело подмигнул ей.

Ирма тут же достала маленькую грифельную доску, которая вот уже сколько раз помогала им обманывать установленные в камере микрофоны.

А Тельман, не переставая говорить о том, как он рад наконец ее снова увидеть, быстро — они уже оба привыкли писать со скоростью классной стенографистки — пишет:

«Я установил связь с зенитной батареей, которая несет дежурство на крыше тюрьмы».

— Я так соскучилась, папа! — она мгновенно ставит вопросительный знак на доске.

— Как здоровье матери? — спрашивает он, а грифелем пишет: «Сигнальные знаки».— Что слышно у Генриха? — «Я счастлив, что договорился с ними и вновь связан с жизнью».

— Мама здорова.— Ирма быстро переворачивает доску: «Генрих все еще в тюрьме. Они требуют, чтобы он подписал один документ».— Генрих тоже здоров.

— А ты как? Как ты, моя девочка? — на этот раз вопросительный знак рисует он.

Она стирает написанное и тут же покрывает доску быстрыми, загибающимися вниз на конце строчками: «Моя теща, Роза Тельман, моя жена — дочь Эрнста Тельмана, имеют связь с заграницей, они слушают иностранные радиопередачи. Они вели беседы с рабочими и советскими военнопленными о Советском Союзе и заявляли, что Красная Армия победит».

— Много работаю, папа, и устаю, но ничего, держусь.— «...и когда Генрих отказался, они сказали, что он останется в тюрьме, пока не протянет ноги».

— Мерзавцы!

Ирма широко раскрыла глаза. В них испуг и вопрос.

— Да! Да! Мерзавцы! Я говорю о тех людях, которые лишены ответственности. Они подчиняются только приказу и, если им велят, они позволят убить даже собственную мать.— Он схватил доску и написал: «Берегитесь! Это начинается охота на вас».

Она кивнула и взяла у него доску: «Друзья думают повторить».

— Как ты-то себя чувствуешь, папа? Как твой желудок?

Он отрицательно покачал головой. «Не нужно идти на бесцельный риск».

— Плохо, девочка, я сильно ослабел. Но тоже, как видишь, держусь.

«У нас много новых друзей. Все они думают о тебе».

— Ты работаешь все там же, Ирма?

— Да, папа. В мастерской у свекра.— Она изобразила два вопросительных знака. Она ждет инструкций.

«Я передаю тебе важный материал, это двадцать тет-

радей, полностью исписанных мною. Спрячь их надежно. Поезжай отсюда в Гамбург и помни, что записи эти важные и наши товарищи должны их получить».

— Помнишь, как однажды мы видели с тобой выводок диких уток в камышах?

— Конечно, папа! Такие крохотные серенькие утятки!

«От зенитчиков я узнал, что караул сменяется после трех. Постарайся выйти из тюрьмы в это время, когда полицейские устали и спешат домой. Они не будут придираться».

— Как вы питаетесь?

— Не беспокойся о нас. Мы получаем карточки.

«Как хорошо, что ты и здесь сумел не остаться в одиночестве. Я горжусь тобой, папа! Зенитчики — молодцы».

«Эти солдаты борются вместе с нами против гитлеровской системы, они мужественные люди...»

Увидит ли он еще когда-нибудь свою Ирму, Розу? Живы ли они? Он обречен все начинать сначала. Новая тюрьма, новые люди, конечно, более строгий режим. Его положение с каждым разом ухудшается. Выпустят ли они его на свет божий? Скорее всего нет! Добровольно — наверняка не выпустят. Как это ни больно, как ни мучительно, но не надо себя обманывать. Они сделают все, чтобы поставить ему мат. Советская Армия все ближе, но ему не дожить до освобождения. Скоро настанет долгожданное утро, но не для него, нет, не для него. Его уже не будет тогда. Нацисты не остановятся ни перед чем. Не дадут они ему дождаться освобождения. Это уж точно, это совершенно ясно.

Но он давно готовит себя. Тот день, свою последнюю минуту он встретит спокойно и просто. Как еще одно испытание на крестном своем пути. До боли жаль, что именно так должна закончиться эта его страда во имя самых высоких идеалов двадцатого века. Он знает свой конец, чувствует неизбежную, давящую близость его. За

спиной десять страшных, непередаваемых лет «образцового» исправительного заведения в Ганновере с его рационом из баланды и брюквы, Моабита с его ледяными каменными мешками, гестапо, где он выплевывал зубы и кровавую пену с клочками легких. Но время смазывает остроту воспоминаний, врачует раны памяти. Не столько боль и не столько муки вспоминаются, сколько друзья, такие верные перед лицом смерти друзья.

Что сталось с теми зенитчиками на тюремной крыше? Сидят ли они все еще у нацеленных в небо счетверенных пулеметов, или горячее кислое дыхание близкого взрыва смело их в никуда, как и тех безыменных, которые еще вчера сидели в ячейке у этого переезда? И он думает о том светловолосом восемнадцатилетнем парне на крыше. И старается не думать о дочери и жене.

Он вспоминает ночь в Ганновере, когда бомбы падали рядом с тюрьмой. Черный лоскут зарешеченного неба дымился в луче прожектора, его пересекали пунктирные струи трассирующих очередей, мутными грибами вырастали на нем снарядные разрывы. Один миг был виден даже крохотный серебристый самолет, трепещущий на смертельном перекрестке прожекторов, как наколотое на булавку насекомое.

Летающие крепости шли волна за волной. Прожектора слепли, подавившись, смолкали зенитные пушки и глохли пулеметы. Зато грохот разрывов становился все ближе и ближе. Содрогались стены, звенели и лопались выбитые стекла.

В камере стало жарко, как у пароходных котлов. Электричество отключили. Водопровод бездействовал. Заключенные колотили кулаками в железные двери, трясли раскалившиеся, как на углях, решетки. Женщины истошно вопили и звали далеких детей...

Каким несчастным, каким оскорбительно бессильным чувствовал он себя в ту страшную, гудящую сотнями

авиационных моторов ночь. Сколько машин, взрывчатки, металла нужно, чтобы убить такое слабое и беззащитное существо, как человек, смести с лица земли безвинных женщин и детей? Война — варварство, люди должны ненавидеть войну. И эта захватническая война закончится гибелью фашизма. Повсеместной очистительной гибелью его.

Нет, он не может не думать о близких. Это как холодный булыжник в груди. Тяжело и больно. Где они? Что с ними?

Он не знал тогда о страшной бомбардировке Гамбурга. Когда город горел, было светло как днем. Выли сирены. Оглушительные взрывы сменялись леденящим нарастающим свистом все новых и новых бомбовых серий. Люди прыгали в золотую и багряную от огненных отблесков воду, но и там они продолжали гореть, забрызганные льющимся с неба фосфором. Нигде не было спасения. Пылал даже асфальт, и дымящиеся смоляные ручьи текли по улицам. Они затопляли подвалы, в которых, обугливаясь заживо, корчились люди.

— В городе не осталось ни одного живого человека,— скажет ему потом Зуффенплан.— Даже поезда, которые отошли перед бомбежкой, были атакованы с воздуха. Тех, кто успел выскочить из вагонов, скосили на бреющем полете из пулеметов.

Но сейчас, видя вокруг себя руины и трупы, покрытые простынями, сотни, тысячи трупов, Тельман не мог не думать о Гамбурге, о Розе и Ирме, которых, возможно, уже не было на земле. И все муки, что он перенес, не могли сравниться с той смертной тоской, которая душила его. И мысль о скором и нелегком, наверное очень нелегком, конце, который ждал его, ласкала беспощадным соблазном избавления.

...Машина свернула на автостраду, ведущую к Гарцу. Благословенные места, которые когда-то воспел Генрих Гейне.

Пыльные липы у дороги. Стада в долинах. Красные крыши фольварков. Силосная башня, увитая плющом. Будто и нет в мире войны, рушащихся домов, безумной пляски объятых пламенем людей. Но бесконечным потоком брели со своим случайным и жалким скарбом беженцы.

Дорога заметно пошла в гору. Широкими винтовыми извилинами она забиралась все выше и выше, мимо кирпичной кирхи, мимо раскинувшихся по склонам виноградников. Среди листвы, красноватой и жесткой, уже наливались мутным упоительным соком черные, в нежной голубоватой пыльце гроздья. Плакаты призывали население сдавать для армии теплые вещи и собирать очистки для свиней.

Не останавливаясь, проехали Кослар. Война не затронула город. О ней напоминали только наклеенные на окнах полоски бумаги, победные плакаты министерства пропаганды и все те же беженцы с пустыми, остановившимися глазами. От переизбытка впечатлений у Тельмана закружилась голова. Остро запахло отработанным бензином. К горлу подступила тошнота.

До чего же он сдал за эти годы, если его стало укачивать от езды в машине! Впрочем, целых шесть лет не видел он ни единой машины и забыл, как пахнет бензин. Дома, дороги, улицы и привязанные к колышкам уродливые лозы — он словно впервые их видит и прощается с ними навсегда. Мелькнула афишная тумба: Ганс Рюман с Жени Юго, Паула Весели, Марика Рок, Тео Линген в «Индийской гробнице»... Он не помнит, когда был последний раз в кино, какой видел фильм.

Но городок остается позади. Бесконечной лентой разматывается дорога. Черно-белые столбики, указатель крутого поворота и очередной накат тошноты при резком торможении.

Хеллер рядом с ним молчит. Зуффенплан лишь изред-

ка перебрасывается несколькими словами с шофером, но не поворачивает головы назад. «Хорьх» визжит на поворотах, оскверняет воздух вонючими выхлопами, но внутри него тишина, настороженное безмолвие. Нет, это неправда, что машина едет в Саксонию, в Баутцен,— она летит в неизвестность, в страшную пустоту.

Из письма Тельмана товарищу по заключению

...Была сделана остановка в Ошатце в Саксонии, в трактире, переполненном военными. Меня сразу же узнали бывшие там летчики — унтер-офицеры и рядовые.

В половине шестого мы поехали дальше. Люди стояли на улице. Они улыбались и шепотом приветствовали меня. Простая женщина с ребенком на руках на прощанье помахала мне рукой. У меня на глазах были слезы: так неожиданна была для меня эта безмолвная радость!

Глава 49

„Волчье логово“

Гитлер настойчиво повторял, что истинное предназначение нордического гения — творить мифы. Он всегда готов совершить прыжок через невозможность. Его пьянит победа над той убогой реальностью, которая смиряет бескрылое воображение недочеловеков. Мир нибелунга — это воля и представление. И нет никаких запретов, ибо проявление божественной воли — насилие.

«Вольфшанце», «Волчье логово»,— это рукотворный миф, грозный смех победителя, плод торжествующего насилия.

Бескрайни пространства Мазурских болот. Гнилые воды в холодных чавкающих мхах. Черные, поросшие голубоватым лишайником стволы сосен, мертвые мачты ело-

вого сухостоя, кочковатые пространства, где шелестят на ветру осоки и искривленные березы пресмыкаются по земле. Это грозное творение великого оледенения, оставившего песчаные валы, укрепленные гранитными валунами морены. Здесь, на поросшем вереском суходоле, во дни торжеств и суровых битв, когда почти вся Европа и нордический север лежали у ног победителя, и был создан новый жертвенник Вотана из стали и железобетона.

История земли и народов творилась по «Майн кампф», и география заговорила военным языком пророческой книги: «Восточные Марки, протекторат, оккупированная зона...» Исчезло с оперативных карт слово «Польша». Его перечеркнули черные готические буквы: «Генерал-губернаторство». И даже Висла, чьи притоки и ручейки, как вены, прорезали топи Мазур, превратилась в Вайхзель.

По мановению пальца здесь были сметены редкие убогие хутора и смолокурни. Команда инженера Тодта проложила бетонированные дороги, рельсовые пути, построила аэродромы, доты, блиндированные подземелья. Десятки тысяч иностранных рабов по окончании строительства были ликвидированы и зарыты в гигантской пещере. Арийские инженеры, давшие подписку о неразглашении государственной тайны, тоже один за другим при невыясненных обстоятельствах отправились в мир теней.

Ставку фюрера охраняли специальные эскадрильи «мессершмиттов», танковые соединения СС и два кольца противовоздушной обороны. По всем шоссейным дорогам, покрытым ввиду близкой осени желто-зелеными маскировочными пятнами, курсировали моторизованные пикеты лейб-штандарта «Адольф Гитлер».

Перед самой ставкой, где кончался последний ярус минных полей, гарнизонную службу несли уже двухметровые блондины с черной нарукавной повязкой: «Личная охрана Адольфа Гитлера». Их пулеметные гнезда и радиотелефонные блиндажи сливаются с окружающей при-

родой. Железобетонные крыши покрывает метровый слой земли с дерном, где аккуратно посажены елочки и молодые дубки. Столь же тщательно замаскированы многочисленные ангары и гаражи. Даже скрытые зеленой сетью зенитки выкрашены под цвет замшелых древесных стволов.

«Вольфшанце». Еще не так давно это название казалось забавным. В нем чувствовалась широта древнего воителя Арминия Германца и опасная удаль Зигфрида.

Но теперь, во второй половине августа 1944 года, даже наиболее преданные приближенные фюрера стали усматривать в названии ставки смысл провидческий и роковой.

Это смертельно раненный зверь забился в заболоченную чащобу, чтобы переждать облаву, отлежаться, зализать кровавые раны. Он еще сам не сознает, не хочет себе признаться, что кольцо сжимается и неминуем тот последний выстрел, который добьет его. Так пусть это случится здесь, среди больных сосен, в которых запутались белые пленки тумана, а не в сердце рейха — Берлине. Там околевший волк потянет за собой всех. И не будет спасенья.

Фюрер знает, о чем думают его генералы. Не те, которых он после заговора 20 июля велел подвесить, точно мясные туши, на острых крюках. Эти уже больше не будут плести заговоры, чтобы сторговаться с англосаксами. Но остались другие, которые живут бок о бок с бункером, едят со своим фюрером за одним столом. О чем думают они? Какие преступные планы вынашивают? Никому из них он не верит, как, впрочем, не верил и раньше никогда и никому.

Именно здесь, в его «Волчьем логове», заговорщики попытались нанести свой предательский удар. Чего же стоят после этого все меры предосторожности и куда годится охрана, которая не смогла обнаружить в портфеле бомбу?

Фюрер никак не может забыть тот кошмарный день, когда само небо спасло его от верной гибели. Ищет слабое звено в системе обеспечения безопасности, которое может использовать новый заговорщик! Мысленно ищет нового изменника среди самых близких, самых проверенных.

.Полковник Клаус фон Штауффенберг казался ему вне подозрений: образцовый офицер, герой, потерявший на войне руку и глаз, человек, которого он осыпал милостями! А что вышло?

В то утро он вызвал Штауффенберга в ставку для доклада о состоянии резервной армии. Как положено, самолет, на котором летел Штауффенберг, в небе встретили два «мессершмитта» и проводили до секретного аэродрома. Там самолет отвели в подземный ангар, а Штауффенберг продолжил свой путь на машине. Он проехал четыре контрольных поста, где его должны были подвергнуть тщательному обыску. Почему же этого не сделали? Не потому ли, что безрукий одноглазый полковник успел примелькаться охране и не вызывал никаких подозрений? Подозревать надо всех! Всех и каждого!

У последнего шлагбаума с надписью «Стой!», где кончается шоссе и все без исключения должны оставить машины, Штауффенберга тоже не обыскали! Он прошел по бетонированной дорожке мимо заграждений из колючей проволоки и противотанковых ловушек с портфелем, в котором была бомба! Для чего же нужны все эти мины и заграждения, пулеметы и пушки, если каждый мерзавец может пронести с собой бомбу или пистолет?! Отныне обыскивать станут всех! От офицера до генерал-фельдмаршала. Даже для обер-группенфюреров СС не будет исключений. Пусть выворачивают карманы. И никаких портфелей! Документы и оперативные карты нужно носить в папках, в планшетах...

Бомба взорвалась всего через десять минут после того,

как Штауффенберг внес ее в зал заседаний. В момент взрыва в зале находилось двадцать четыре человека.

Шмундт, Кортен и Брандт получили смертельные ранения. Но фюрер остался невредим. Только легкая контузия и небольшие ожоги. Кажется, он даже закричал тогда, поднимаясь с пола: «Мои новые брюки!» И лишь потом обнаружил, что взрывом парализована правая рука.

Но это вскоре прошло. Он переоделся (обожженный взрывом китель велел послать Еве Браун) и уже через два часа смог встретить прибывшего в ставку Муссолини.

Здесь фюрер видит перст судьбы. Именно приезд Муссолини заставил его провести совещание не в бетонированном укрытии, а в легком павильоне, где хранились штабные карты. И это спасло ему жизнь. Дощатые стены и открытые по случаю хорошей погоды окна дали выход взрывной волне. В каменном подземелье она смела бы на своем пути все живое.

Верный Гейдрих и после смерти охраняет его. Он завещал ему такого человека, как Отто Скорцени. Фюрер хорошо помнит разговор в Берхтесгадене, когда Гейдрих назвал имена Скорцени и Эйхмана. Да, именно на таких людях и держится великое дело национал-социализма. На этой войне возможна или победа или гибель. Если немецкий народ не сможет одержать победу над врагом, он проявит свою биологическую неполноценность и, значит, заслужит гибель. Если бы все немцы были похожи на верного штурмбанфюрера Скорцени! Он шутя совершил невозможное: освободил дуче, которого посмел арестовать предатель. Фюрер лично поручил Скорцени ответственнейшую миссию. Это урок не только итальянцам. Немцы тоже должны усвоить, что вождя империи нельзя свергнуть и тем более убить. Наглядный урок особенно важен был именно в день покушения 20 июля. Муссолини прибыл тогда удивительно вовремя. И этим фюрер обязан своему штурмбанфюреру. «Этой услуги я никогда не

забуду»,— пообещал он Скорцени и сам повесил на шею герою рыцарский крест. Да, Скорцени и Эйхман — его люди, его надежда...

Гитлер ходит из угла в угол в своем отделанном дубом блоке. Дневной свет через узкие бойницы почти не проникает сюда. Днем и ночью горят в его комнате яркие лампы на высоких бронзовых подставках. Сгорбленная стремительная тень бежит по светлому ворсу ковра. Овчарка Блонди, вывалив язык, настороженно следит за хозяином. Ей передается его нервозность, беспокойство. Вытянув на ковре толстые лапы, она поворачивает голову из стороны в сторону. Чуткие уши ее подрагивают. По перекрытия из бетонных плит, облицованных стальными антидетонационными пластинами, гасят все звуки. Тишина — как в трюме затопленного корабля. Только шуршит ворс ковра под башмаками. Закусив нижнюю губу, чтобы унять дрожь подбородка, и крепко сцепив руки на животе, фюрер мечется все быстрее и быстрее. Это его очередной «бурный творческий момент» — приступ паркинсонизма. Сначала об этом знали только Гиммлер, министр здравоохранения Конти, профессор берлинской Шарите де Кринис и личный врач фюрера доктор Штумпфегер.

Теперь — все «Волчье логово». И прежде всего Мартин Борман, которому лучше всех ведомо, сколь упрямым и в то же время безвольным становится фюрер в острые периоды «творческого взлета».

Блонди не выдерживает напряжения и заливается в безысходной собачьей тоске. Так воют собаки на луну в зимние лютые ночи. Но на фюрера это действует неожиданно успокаивающе.

— Ну что ты, моя собаченька, — сюсюкает он и, тяжело опустившись на корточки, треплет овчарку за уши.

Ему рассказывали, что в момент взрыва она вот так

же завыла и заскребла лапами по дубовой обшивке. Собаки лучше многих и многих людей. Они наделены острой чувствительностью.

Ева написала ему, что видела в ночь на двадцатое плохой сон. Сразу же после покушения от нее пришла телеграмма: «Я люблю тебя. Да хранит тебя бог». Сами собой навертываются слезы. Знаменитая прядь прилипает к потному, разгоряченному лбу.

— Ну что ты, моя собаченька,— фюрер шмыгает носом, но слезы, мелкие и мутные, все еще ползут по щекам. Он шумно всхлипывает и поднимается с пола. Наступает облегчение, спад. Он сразу же ощущает голодный спазм. Смотрит на часы. До обеда остались какие-то минуты. Но им вдруг овладевает сонливость. Левая рука дрожит так сильно, что ее не удается уже удерживать правой. Он бессильно опускается в кожаное кресло — свое, которое возвышается над остальными, роняет руки на полированный стол с инкрустированным драгоценными породами дерева имперским орлом, когтящим колесо Фортуны со свастикой.

Ровно в 13.15 по берлинскому времени раздается сигнал к обеду. Удары гонга, конечно, не достигают слуха, и потому эсэсовская охрана включает сигнализацию. Резкие звуки зуммера раздаются одновременно во всех блоках.

Они сзывают за один стол генералов вермахта, высших офицеров СС, СА и стенографисток. Нордический Олимп с внутренним распорядком концлагеря. Трапеза богов, которую фюрер в минуты хорошего настроения оживляет своими шутками.

— Вы тоже питаетесь трупами животных?— спрашивает он генерала, придвинувшего себе тарелку с отбивной.— Ах вы, вурдалак, вурдалак,— и, одарив побагровевшего военачальника сладким разнеженным взглядом, он тянется к сидящей напротив машинистке в

коричневой блузе.— Какое у вас прелестное ушко, фройляйн!— и ласково дергает ее за мочку.

Но сегодня он заставит своих генералов подождать с обедом! Самое время сейчас устроить небольшое совещание с Гиммлером. Его поезд «Генрих» еще с вечера стоит в тупике. Борман уже дважды докладывал, что рейхсфюрер СС испрашивает аудиенции. Фюрер, пребывая в некоторой нерешительности, собрался было принять Генриха утром, но Борман отсоветовал. А сейчас, фюрер это чувствует, самое время. Он выйдет наружу и вызовет Гиммлера из вагона или — где он там пребывает?— из бункера. Возьмет его под руку и отведет в сторону. Полчаса для разговора будет вполне достаточно. Потом они вместе пойдут в столовую.

...Гиммлер стоял со своим адъютантом группенфюрером Вольфом возле путей и острым носком сапога сбивал последние одуванчики. Парашютики весело летели по ветру и пропадали в сухой, выгоревшей от солнца траве.

Фюрер, кажется, не торопится принять его. Что ж, тем лучше, вернее тем хуже для фюрера. Очевидно, болезнь прогрессирует и Гитлер все больше подпадает под влияние Бормана. Этот мрачный громила в коричневой рубашке штурмовика слишком уж вылез на передний план. Пора и осадить. У Кальтенбруннера, кажется, есть на этот счет интересные идеи. Но это потом... Собственно, он, Гиммлер, сделал уже удачный ход, женив красавца Фогеляйна на сестре Евы Браун Гретель. Теперь у СС есть свой представитель в ставке. Это соединительное звено, над которым не властен никакой Борман, хотя он и стал заместителем фюрера по партии. Этому угрюмому интригану и невдомек, что он, Гиммлер, намерен использовать Фогеляйна в качестве тяжелой фигуры, по меньшей мере ладьи. Именно через него он попытается наладить контакты с англо-американцами. Недоумки из генштаба явно поторопились сбросить его со счетов. Он —

единственная реальная сила в стране. За ним мощный аппарат СС, полиции и разведки.

Перемирие на Западе и война на Востоке — вот его программа. Он сумеет обеспечить Германии почетный мир. Он, только он осуществит задуманное — «тысячелетний рейх». Но это будет его империя...

Пока он еще подыгрывает Адольфу, но как только удастся заручиться серьезными гарантиями на Западе, с Гитлером будет покончено. Никакое правительство не пойдет теперь на мир с Гитлером, никакое. Он, Гиммлер, помог фюреру провести хорошенькую чистку генералитета, но отнюдь не спешит отправлять на эшафот таких деятелей, как Остер, Донаньи или же сам Канарис. Пусть еще поживут. Тайные службы всегда находят общий язык. У СД, к сожалению, нет таких разносторонних контактов, как у абвера. Что ж, настало время взять военную разведку под свое крыло, настало. Теперь фюрер на это пойдет. Последний взрыв его многому научил. Он алчет крови. Тут-то и нужно будет выхватить этого Тельмана из-под самого носа Геринга. Это будет хороший реванш за «Красную капеллу», которую Гитлер буквально вырвал из его, Гиммлера, рук и передал толстяку. Надо отдать ему должное, Геринг провел дело как следует. Процесс напоминал хорошо отлаженную машину. Прокурор Манфред Рёдер предлагал меру наказания, суд ее утверждал. И все же, несмотря на сорок смертных приговоров, несколько красных получили каторгу. Адольфу это вряд ли понравилось. Нет, он, Гиммлер, обязательно отберет теперь Тельмана у толстяка. Пора, наконец, поставить точку. Запад должен усмотреть в казни коммунистического лидера обязательство новой, грядущей Германии и впредь оставаться беспощадным врагом большевизма.

— Свяжитесь-ка, дорогой Вольф, с рейхслейтером Борманом и попросите его поторопить фюрера,— глядя, как

обычно, в сторону, улыбнулся Гиммлер.— Скажите, что мне придется самому пройти в блок. Дело не терпит.— Он снял пенсне, подышал на стекла и тщательно протер их белоснежным платком.

— Слушаюсь, рейхсфюрер,— Вольф легко вспрыгнул на подножку и прошел в вагон связи.

Гиммлер надел пенсне и вынул из кармана список вопросов, с которыми собирался обратиться к фюреру.

Под номером первым стоял Париж. Гитлер намеревался смести ненавистную французскую столицу с лица земли. Гиммлер хотел изложить фюреру разработанный специалистами детальный план минирования города. Список из двенадцати вопросов замыкала ненавистная рейхсфюреру фамилия: Тельман. До сих пор Гитлер остерегался передать Тельмана в руки СС. Но сегодня Гиммлер не сомневался в успехе.

Отправив на эшафот саботажников из «Красной капеллы», Геринг рапортовал фюреру, что с коммунистическим подпольем покончено. Сегодня рейхсфюрер Гиммлер убедительно покажет, что так называемый «второй человек в государстве», мягко говоря, заблуждается. Данные, которыми располагает он, Гиммлер, свидетельствуют скорее об обратном. Коммунисты в последнее время даже активизировали свои действия. В Берлине, в частности, объявился некий Антон Зефков — коммунистический функционер, в прошлом рабочий и красный матрос. Пребывание в концлагере, кажется, не пошло ему на пользу, и он опять принялся за старое. Есть сведения, что он установил связи с дрезденским подпольем и ищет пути к Тельману. Гестапо известно, что заговорщики в последний раз встретились на конспиративной квартире 20 июля. Фюрер должен обратить внимание на такое совпадение дат. Он, Гиммлер, постарается убедительно показать, что лишь многочисленные аресты в Берлине, Тюрингии и Саксонии, которые произвело гестапо после покуше-

ния, сорвали попытку коммунистов освободить Тельмана.

Это только лишний раз побудит фюрера к решительным мерам. Что же касается Зефкова и прочих, то придется пообещать поскорее их изловить. Кальтенбруннер и Мюллер уже занимаются ими. Здесь, как говорится, вопрос голой техники. Коммунистический заговор отвлечет внимание фюрера от Канариса и Остера. Этих людей явно следует пока попридержать. Разумеется, за решеткой. Так будет спокойнее для всех...

В тамбуре показался Вольф.

— Фюрер ожидает вас у себя, рейхсфюрер. Он пожелал переговорить с вами сугубо конфиденциально.— Вольф усмехнулся.— Рейхслейтер не сумел скрыть в разговоре со мной своего недовольства.

— Благодарю, Вольф,— Гиммлер, поправив фуражку, зашагал к главному блоку.

Свой список из двенадцати пунктов он бережно сложил по сгибам и спрятал в карман.

Глава 50

„Мрак и туман“

Прежде чем закрыть крышку, Роза еще раз перебрала лежащие в чемодане свертки. Все как будто на месте: сардины, зельц, кусок мекленбургского сыра, яблоки и, конечно, теплый еще пакет с пирогами, которые они с Ирмой напекли утром. Значит, она ничего не забыла. Спасибо товарищам. Без них она, конечно, ни за что не достала бы такие вкусные вещи. Даже на черном рынке. А на продовольственные талоны и подавно. Недаром в очередях шутят, что дни, по которым отпускают маргарин, надо отмечать в календаре красным: они еще более редки, чем праздники. Да и какие могут быть

теперь праздники? Идет тотальная война. Коричневая колымага на полной скорости несется в пропасть. Неужели вправду скоро настанет день, когда эти кошмарные годы станут вспоминаться как дурной сон? Как ночной, растаявший с рассветом кошмар?.. Доживет ли Эрнст до того дня? Дадут ли ему дожить?

Она опустила крышку и замкнула никелированные, в царапинках и черных оспинах, замки. Поймала мимолетное затуманенное свое отражение и взяла кухонное зеркальце.

Как она постарела! Говорят, что седые волосы хорошо красить крепким настоем ромашки... Ладно, как-нибудь потом. А теперь пора ехать. И что она медлит? Надо взять чемодан, поцеловать Ирму — и в путь. Если ей и не дадут свидания, то хоть продукты передаст. Эрнст так страдает в этом проклятом Баутцене! Камера тесная. Жара. Духота. Его постоянно мучает жажда. Лицо стало отечное, под глазами мешки. Он очень обрадуется яблокам...

Но она не двигается. Сосредоточенно и отрешенно смотрит в окно. На табуретке стоит чемодан, она крепко сжимает кожаную ручку. То ли вспоминает что-то, то ли, напротив, хочет отогнать тяжелую, неотвязную мысль.

Она думает о муже. Она все понимает и, как это ни тяжело, старается трезво смотреть на жизнь. Красная Армия наступает, и близится долгожданное освобождение. Близится с каждым днем, с каждым часом. Но разве эти осатаневшие от крови и лютого страха бандиты дадут ему выйти на свободу? Нет, не дадут... Нельзя даже надеяться. Только чудо может спасти Эрнста. Товарищи делают все, что в их силах, но она, честно говоря, не верит в успех. Слишком мало у дрезденской группы времени на подготовку, да и убежать из Баутцена еще труднее, чем из Моабита... И силы у Эрнста теперь не те, и гестапо свирепствует так, что подумать страшно. Всюду

шпики, провокаторы, всеобщее подслушивание, подглядывание, доносительство. Все-таки как чудовищно растлили нацисты за эти одиннадцать лет души людей. Но прекрасны и необыкновенны среди всеобщего предательства и страха лица верных товарищей. Верных до последнего шага, последнего вздоха, верных до эшафота.

Какие головы идут под топор! На кого они набрасывают петлю! Честь и совесть опозоренной, проклятой всем миром страны. Кровавый пир идет по всей Германии. Безумный пир за пять минут до конца.

Роза словно приросла к полу. Тревога за мужа, как черное солнце, ослепила ее. Было в этой внезапно навалившейся тяжести что-то новое, несравнимое ни с тоской о муже, столь привычной, ни с беспокойством за него, которое не покидало ее и во сне.

И меньше всего могла думать она о том, что дверь ее дома, которая сейчас закроется за ней, закроется надолго. Что много месяцев не увидит она свою Ирму, с которой лишь случай, радостный и печальный, сведет ее в камере «Мрак и туман» концлагеря Равенсбрюк. Так почему же стоит она посреди своей кухни, словно навсегда прощается с домом?

Почему не спешит на вокзал? Ей же нужно ехать в Баутцен, к Эрнсту. Она не может опаздывать. Следующий поезд будет нескоро.

— Ты не опоздаешь, мама?

— Нет-нет... Сейчас выхожу,— она часто моргает, вытирает глаза и долго сморкается.

— Мама! — Ирма бросается к ней.

Они крепко прижимаются друг к другу, замирают так, но вот уже медленно падают руки.

— Сразу же возвращайся, мама!

— Ну конечно же, девочка, ну конечно... А ты береги себя. И постарайся переправить записи отца в надежное место. Мало ли что может случиться...

— Хорошо, мама. Я это сделаю. Улучу только удобный момент. А пока пусть побудут в тайнике.

— Да, да, Ирма, пусть побудут. Ну, мне пора!

— Поздравь от меня отца с днем рождения. Скажи, что я крепко-крепко его целую и очень жду!

Она еще раз прижимается к матери, но та уже поворачивает рифленую головку замка.

Ирма возвращается в комнату и берет в руки заложенный спичкой томик Гёте. Глаза сами находят любимую строчку отца: «Талант рождается в тиши, характер — лишь в потоке жизни». Но не успевает она перевернуть страницу, как слышит шум и грохот на лестничной площадке. Она вскакивает с дивана, бросает книгу и прижимает руки к груди, словно хочет унять заколотившееся сердце. До конца еще не сознает, что пришла беда, и втайне не верит, но уже понимает все. Бесшумно скользит к окну и тихо, одним пальцем, отодвигает занавеску.

Так и есть — улица оцеплена.

А дверь уже трещит под ударами прикладов, содрогается от подкованных каблуков.

— Откройте! Государственная тайная полиция!

Это и так понятно. Могли бы и не называть себя. Конечно, она откроет. Сию минуту откроет. Главное — ни в коем случае не смотреть на тайник! Она заставит себя даже не думать о нем. Тогда они его не найдут.

Едва она успевает повернуть замок, как дверь распахивается и больно ударяет ее в плечо.

Гестаповцы, как обычно, нагрянули целой шайкой. Человек двадцать, не меньше. Они пробегают мимо нее с карабинами в руках и, словно позиции перед боем, занимают комнаты, кухню и даже уборную. Один за другим, как на учениях, точно прыгают с борта грузовика, а не в квартиру врываются. А вот и старый знакомый! Тот отвратительный рыжий тип с бородавкой.

Он, как всегда, в штатском, хотя всем известно, что рыжий — комиссар гестапо и хауптштурмфюрер СС, а фамилия его Шнейдер, и в полиции он служит с первых дней Веймарской республики. Ирма знает о нем многое, да и он знает о ней немало. Они давние знакомые. Но он держится официально.

— Фрау Ирма Вестер? — спрашивает он, морщит нос в улыбке и обнажает желтые прокуренные зубы.

— Да,— отвечает Ирма, прислушиваясь к грохоту в квартире.

— А где ваша мать?

— Ее нет дома.

— Где же она?

— Уехала.

— Куда?

— Не знаю.

— Видимо, в Баутцен?

— Нет.

— Если в Баутцен, то напрасно. Свидание ей разрешено не будет. Пройдемте в комнаты, фрау Вестер.

Ирма как села на стул, так и не вставала с него до конца обыска. Рыжий гестаповец не очень ей докучал. Стоял себе у окна и покуривал сигаретки, следил, как орудуют громилы.

Наверно, его старой полицейской душе претила такая топорная работа. Разве это обыск, когда книги не перелистывают, а, схватив за уголок переплета, трясут сколько есть сил. Важные бумаги ведь далеко не всегда закладывают между страниц. Бывает, что их даже вклеивают, а то и вовсе записывают тайные сведения между строк, причем симпатическими чернилами. Такое не вытрясешь, господа. Но он не вмешивался в действия младших коллег. Что делать? Таков теперь стиль. Старые кадры криминалистов уходят, а достойной смены нет.

На полу росли груды раздерганных книг, выброшен-

пой из шкафов одежды, белья. Гестаповцы топтали все это грязными сапогами, с хрустом давили флаконы духов и коробочки с пудрой. На белых простынях появились черные отпечатки подошв с ржавыми полумесяцами подковок.

Сложив руки на коленях, Ирма отрешенно уставилась в замызганный пол, будто учиненный в квартире разгром ее нисколько не касался. Вспомнилось вдруг, как потрошил в Баутцене ее чемодан государственный советник Плишке.

Перевернул все. Разрыл белье, пакеты, перещупал каждый кусок. Даже сосиски разломил пополам. Бедная мама! Ей еще предстоит такое...

Ее снова, в который раз, охватило бешенство. Горячая кровь прихлынула к щекам. Она крепко сцепила пальцы. Но мысли опять перекинулись на тайник.

Нельзя думать о нем, нельзя! Но попробуй не думать! Дрожь бьет при мысли, что они могут его обнаружить. Там все, что она тайно протащила в последние годы из тюрем: переписанное рукой отца обвинительное заключение, его тетради, письма и даже несколько фотоснимков, которые она сделала в камере крохотным аппаратом «Колибри». Ну как тут было не думать? Сжав зубы, она мысленно заклинала: «Не найдут, не найдут, не найдут, не найдут...»

Обыск длился бесконечно. Она успела дважды проголодаться, но, переволновавшись, забывала об этом. И когда Шнейдер, выпроводив гестаповцев из квартиры, подошел к ней и сказал: «Вы арестованы! Следуйте за мной!» — она почувствовала едва ли не облегчение.

Первый раз за мучительные часы обыска Ирма встала со стула. Ноги затекли и стали как ватные. Но вот от ступней вверх побежали горячие иголки, и она заковыляла к двери.

Что бы там ни было, а тайник остался нетронутым.

Ирма знала, что мама, как вернется, перепрячет все сразу же. Если ей дадут возвратиться домой...

Шнейдер доставил Ирму в полицию и, оставив ее на попечении дежурного, поспешил к себе в кабинет.

— Подождите меня здесь,— сказал он.— Я скоро вернусь. Сядьте на стул.

Ирма только усмехнулась. Как будто это от нее зависело, ждать или не ждать.

Но дежурный гестаповец прореагировал на ее усмешку по-своему:

— Вы забудете, что значит смеяться! — процедил он сквозь зубы.— Ваш внешний вид сильно изменится. Так хорошо, как сейчас, вы уже никогда не будете выглядеть! — и, распаляясь от собственных слов, стукнул кулаком по столу.— Встать немедленно! Руки по швам!

Ирма поднялась.

— Не оттопыривать большие пальцы. Пальцы должны быть прижаты!

В комнату заглянула высокая беловолосая женщина в форме шарфюрера СС. Ее лицо показалось Ирме знакомым. Она присмотрелась к этим чуть одутловатым щекам и припудренным, набрякшим под глазами мешкам. Нет, вроде бы она видела эту эсэсовку впервые. Но глаза, зеленые, прозрачно-холодные глаза будоражили память. Она видела их раньше, вне всякого сомнения!

Эсэсовка, как по пустому месту, скользнула взглядом по вытянувшейся в струнку арестованной и обратилась к дежурному:

— Где хауптштурмфюрер Шнейдер?— хриплый надтреснутый голос выдавал явную алкоголичку или наркоманку.

— У себя, фройляйн Гудрун,— приподымаясь, осклабился дежурный.

— Шарфюрер Клуге! — оборвала его эсэсовка и резко повернулась. Мелькнул оттопыренный на крутых бедрах

китель, короткая черная юбка и полные, обтянутые шелковыми чулками икры в сверкающих полусапожках. Звеня подковками, Гудрун Клуге исчезла в сумраке коридора.

А Ирма еще долго смотрела ей вслед.

Грета Клуге! Теперь Гудрун Клуге, по-нордически... Это же та самая сволочь, которая в детстве травила ее собакой! Вот куда, значит, она залетела! Да и не удивительно. Ей только и быть что надзирательницей в концлагере...

Ирма была недалека от истины — шарфюрер Клуге искала Шнейдера, чтобы забрать лежащее на его столе и утвержденное уже назначение, которое предписывало ей в трехдневный срок прибыть в женский концлагерь Равенсбрюк и приступить к работе в должности старшей надзирательницы.

Сам же комиссар полиции Шнейдер заполнял в это время удостоверение на отправку в указанный концлагерь в качестве превентивно заключенной (категория «Мрак и туман») Марты Зурен. Заключенные, подпавшие под эту категорию, не должны были иметь никаких связей с внешним миром. Даже в случае смерти узника его родственников не уведомляли. В приказе «Мрак и туман» прямо говорилось: «...Целью этого приказа является держать родственников, друзей и знакомых заключенных в неведении относительно судьбы заключенных». В том же, что гестапо выбрало для Ирмы фамилию Зурен, была известная доля юмора, разумеется в эсэсовском понимании. Коменданта концлагеря Равенсбрюк звали Фриц Зурен, и присвоенное Ирме имя как бы намекало на особое отношение к ней со стороны гестапо. А чтобы забавный намек был понят правильно, Шнейдер сделал в удостоверении пометку: «Возвращение нежелательно».

Впрочем, из Равенсбрюка, прозванного заключенными

там француженками «L'enfer des femmes...»[1], и без того возвращались немногие.

— Разрешите, хауптштурмфюрер? — просунулась в кабинет Гудрун Клуге.

— Разумеется, коллега Клуге,— Шнейдер приветливо закивал.— Заходите, пожалуйста. Все уже подписано.— Он протянул ей назначение.— А это,— взял со стола документы на имя Марты Зурен,— занесите, пожалуйста, в политический отдел. Там вам все скажут.— Посмотрел на часы.— Извините, коллега Клуге, я очень спешу. Врач назначил мне на 16.30, а сейчас уже 16.25.

К дежурному, где у стены по стойке смирно стояла Ирма Вестер, он так и не заглянул. И вообще он больше никогда не встретился на ее пути.

Обеспокоенный неожиданным ростом своей бородавки, Шнейдер решил наконец показаться специалисту и спешил теперь к своему эсэсовскому врачу. Он не опоздал. Толстый профессор с серебряными квадратами штурмбанфюрера, поблескивающими в вырезе белого халата, внимательно ощупал опухоль и даже полюбовался на нее в лупу.

— Немедленно в госпиталь,— сказал он, сердито сопя.— На исследование.— И принялся заполнять историю болезни.

— Неужели так серьезно? — испугался Шнейдер.— Я, конечно, завтра же...

— Сегодня,— буркнул врач.— Вы пойдете сегодня же.

Первоначальный диагноз его: «злокачественное перерождение» подтвердился. Хауптштурмфюрер Шнейдер так и не вышел из военного госпиталя — он умер от множественных метастазов.

---

[1] Ад для женщин.

Глава 51

Ночь в Бухенвальде

Хауптштурмфюрер Шидлауски пребывал в состоянии крайнего раздражения. День, как говорится, не сложился, хотя поначалу все шло по заранее намеченному плану. Он встал ровно в 6.30, сделал гимнастику при открытом окне, принял холодный душ и докрасна растерся махровым полотенцем. Это сразу же вызвало прилив бодрости. Он ощущал победный, ликующий ток крови в каждой жилке.

В 7.15 он был уже в бараке номер 46, где под его наблюдением проводились многообещающие эксперименты с аконитин-нитратовыми пулями. В случае удачи перед Шидлауски открывались головокружительные перспективы. Ведь даже легкая рана, по сути царапина, становилась теперь смертельной. Вермахт получит несомненное превосходство над армией противника, все раненые солдаты которой погибнут еще до отправки в госпиталь.

О том, что сегодня уже 17 августа 1944 года и вермахт терпит поражение за поражением на всех фронтах, хауптштурмфюрер запаса старался не вспоминать.

Главное — честно и аккуратно выполнять свой долг. Рейхслейтер Лей хорошо сказал тогда на курсах подготовки руководящих кадров партии: «Никто не имеет права задаваться вопросом: прав ли фюрер и верно ли то, что он говорит. Ибо, повторяю еще раз: то, что говорит фюрер,— всегда верно». Фюрер же говорит, что в ходе войны скоро наступит перелом, значит, так оно и случится. Конечно победа будет за Германией. Раса и кровь. Кровь и ненависть. Кровь и пламя. Поэтому фюрер стоит выше критики для любого немца на вечные времена. Будем же исполнять свой долг...

Когда Шидлауски вошел в лабораторный бокс, подопытный материал уже был подготовлен. Пять человек, как он и просил. В сопроводительных бумагах говорилось, что все пятеро — русские военнопленные и за грубое нарушение лагерного распорядка приговорены к смертной казни. Заключенный № 23756, на груди у которого была красивая татуировка (русалка, обвившая бриг с распущенными парусами), поступал по окончании эксперимента в цех художественных изделий, о чем доктор Шидлауски и сделал соответствующую отметку.

— Ну что, господа, приступим? — спросил он штурмбанфюрера Динга и доктора Видмана.

По знаку Динга раздетых догола заключенных уложили лицом вниз на специальные козлы и крепко привязали за руки и за ноги к ввинченным в струганое дерево кольцам.

Динг неторопливо вложил в обойму пять патронов, пули которых содержали кристаллы яда, и резким ударом ладони вогнал вороненую, с хорошо смазанной пружиной коробочку в рукоятку пистолета.

— Сегодня у нас по плану верхняя часть левого бедра, — сказал Видман, заглядывая в лабораторный журнал.

— Так-так, — одобрительно кивнул Шидлауски. — Давайте, коллега.

Динг снял пистолет с предохранителя и, отодвинув ногой табурет, подошел к козлам.

До чего же они истощены, подумал он, критически оглядев острые, выпирающие лопатки, серовато-желтую кожу на бугорках позвонков и провалившиеся с боков ягодицы. Не очень показательный материал. Пониженная сопротивляемость.

Чуть наклонившись и вытянув далеко вперед руку с пистолетом, он быстро сделал подряд все пять выстрелов.

Хотя подопытные находились под хлороформом, Динг зарегистрировал в двух случаях непроизвольную мышеч-

ную реакцию. Возможно, что остальные тоже прореагировали на выстрел аналогичным образом, но заметить это помешал пороховой дым.

Когда он развеялся, к козлам подошли Шидлауски и Видман.

— Видите? — Шидлауски внимательно осмотрел раны и нахмурился.— У третьего подопытного повреждена бедренная артерия. Надо немедленно остановить кровь.

Видман схватил заранее подготовленный тампон и остановил кровотечение.

— Потеря крови составляет максимум три четверти стакана.— Он брезгливо покосился на быструю алую струйку, сбегавшую с козел на замызганные доски пола.— Следовательно, ни в коей мере не может считаться смертельной.

— Согласен, коллега.— Шидлауски опустился на корточки, чтобы лучше разглядеть рану следующего подопытного.— Так и есть! Бедро прострелено навылет! Видите выходное отверстие?

— Да, коллега, какая жалость! — покачал головой Видман.— В этом случае действие яда вряд ли обнаружится.

— На газовку? — спросил Динг.

— Зачем нам лишняя возня? — пожал плечами Шидлауски.— Сделаем ему укол.— Он возвратился к столу и взял с застекленной полки стерилизатор со шприцем. Вставив поршень и насадив иглу, набрал в шприц синеватой жидкости из шюттовской бутылки с притертой стеклянной пробкой.— Переверните его, пожалуйста,— сказал он, пустив из иглы тоненькую короткую струйку.

Сделав укол, он сунул в уши трубочки фонендоскопа и взял в руки секундомер.

И именно в тот момент, когда минут через 20—25 после выстрелов у подопытных появилось двигательное

беспокойство и легкое слюнотечение, его вызвал к себе комендант!

Но если день сразу не заладится, так уж не заладится до конца! После обеда комендант снова вызвал Шидлауски к себе.

— Получена радиограмма из главного управления безопасности.— Комендант казался весьма озабоченным.— Велено ждать важного заключенного. Ваше присутствие тоже необходимо.

— Понимаю, штандартенфюрер.— Шидлауски подтянулся.— Радиограмма обычная?

— Да, как всегда.

— Может, ничего серьезного? Шумиха по поводу какого-нибудь пустякового транспорта.

— Сомневаюсь.— Комендант почесал затылок.— Тогда дали бы открытым текстом.

— Это дело другое.

— Приказано подготовить печи и ждать.— Комендант пододвинул к себе телефон.— Позвоню на телефонную станцию. Пусть передадут по команде в крематорий.

По концлагерю прокатилась волна напряжения и страха. Командофюреры бегали от комендатуры к блокам и от блоков к крематорию, очистили от подопытных больных ревир. На вышках усилили охрану. Топки спешно загружали коксом, со склада запросили новую бочку нефти. Не понимая причины всей этой суеты, взвинченные до предела капо лютовали как никогда. Рассыпали удары направо и налево, крошили челюсти, проламывали черепа. За несколько часов было насмерть забито больше заключенных, чем за всю истекшую неделю.

В эсэсовских казармах прошел слух, что ожидается какая-то высокая инспекция из Берлина. После того, как был снят с должности и отдан под суд обвиненный в злостных уголовных преступлениях прежний комендант Кох, таких инспекций боялись пуще огня. По поводу

предполагаемой ревизии высказывались самые разные предположения. Одни говорили, что Эйхман обнаружил слишком высокий показатель средней продолжительности жизни заключенных в Бухенвальде евреев, другие ссылались на якобы высказанное самим фюрером недовольство масштабами ликвидации. Но точно никто ничего не знал. Комендант лагеря к внутреннему телефону не подходил, а его заместитель на все вопросы отвечал уклончиво. Обсудив всевозможные варианты, эсэсовцы остановились на том, что в лагерь прибывает главный гигиенист при имперском медике СС и полиции. На то были основания: во-первых, главный гигиенист еще в мае прислал указание перевести все циркуляционные газокамеры с газа «циклон» на «арегинал», во-вторых, комендант дважды за сегодняшний день вызывал врача Шидлауски.

Конечно, штандартенфюреру плевать было на научную работу, с которой так носился врач. Ясное дело, разговор шел о приезде главного гигиениста.

Но напряжение в лагере продолжало расти. Эсэсовец на главной вышке открыл огонь и убил двух заключенных: ему показалось, что они хотят пойти на проволоку. Наэлектризованная атмосфера всеобщего ожидания не разрядилась и к вечеру. В 19 часов на плацу появились рапортфюрер Гофшульте и штабсшарфюрер Отто, которые подозвали к себе двух командофюреров для непродолжительной беседы. Вскоре после этого всех заключенных стали загонять в блоки. Обслуживающих же крематорий заключенных — мрачную «небесную команду» — даже заперли на замок.

Капо Юпп Мюллер — гориллоподобный громила с зеленым треугольником профессионального преступника на полосатой куртке — погрозил при этом волосатым кулаком:

— Если хоть одна гнида высунет нос из помеще-

ния...— он замолчал, подыскивая подходящее наказание.

— Живым в топку бросим,— пришел на помощь истопник Гейнц Роде, которого тоже проинструктировал командофюрер.

Но один заключенный — поляк Мариан Згода — все же посмел ослушаться. Когда «небесную команду» загнали в помещение, а дверь заперли, он, улучив удобный момент, забрался в вентиляционную трубу, вылез наружу и спрятался за кучей шлака во дворе крематория.

Он пролежал там, затаившись как мышь, до глубокой ночи.

Белые августовские звезды медленно поворачивались над ним. Прохладный ветерок повеял горьковатым запахом пыльной полыни и далеких буковых рощ. Ущербный месяц скользил по дымчатым волнам облаков. Мертвенным ртутным светом горели фонари на загнутых внутрь бетонных столбах. И в этом иссера-белом огне зловеще скалились фарфоровые черепа изоляторов и отсвечивала влажным змеиным блеском чуть гудящая под током проволока.

Но тишины не было под белой пылью Млечного Пути. Спящий лагерь всхлипывал, как в кошмаре, хрипел сотнями умирающих глоток в бараках, карцере, научных боксах и ревире.

Близко к полуночи Згода заслышал шаги. Длинные тени легли на переливающийся искрами в ночном огне шлак. Он заскрипел под начищенными, серебряными в этой ночи сапогами, как толченое стекло.

Один за другим вошли в крематорий:
штабсшарфюрер унтер-фюрер СС Отто,
лагерфюрер обер-штурмфюрер СС Густ,
рапортфюрер унтер-фюрер СС Гофшульте,
командофюрер обер-шарфюрер СС Варнштедт,
адъютант коменданта Шмидт,

лагерный врач хауптштурмфюрер СС Шидлауски, обер-шарфюрер СС Бергер.

Замыкал же это безмолвное шествие полуночных призраков хозяин печей унтер-шарфюрер Штоппе.

Они исчезали в черной тени, и только жестянки их зловещих эмблем вспыхивали прощально и сгорали, как падающие звезды. Но не надолго исчезли они во тьме. То и дело выскакивали во двор, нервно вышагивали, а шеи их хищно вытягивались в сторону ворот, над которыми висела надпись из кованого железа: «Каждому — свое». В крематорской же канцелярии не смолкали телефонные звонки.

Но вот у ограды утробно взвыл автомобильный гудок, и в канцелярии сразу стало тихо. Словно все вдруг испугались чего-то и притаились. А немного погодя показались во дворе оба начальника адских котлов преисподней — командофюреры крематория Варнштедт и Штоппе. Бегом побежали они к воротам. И слышно было, как залязгали, как заскрипели эти кованые ворота. И тут же гравий тяжело зашуршал под протекторами машины. Она въехала во двор крематория и остановилась под фонарем. И тоже, как эсэсовские сапоги, засверкала серебристыми отблесками черного лака. Хлопнули дверцы с обеих сторон. Из машины вышли трое — все в штатском. Один из них, плотный, крепко сбитый, с тяжелой лысой головой, оказался в середине. Он сунул руки в карманы пиджака и глубоко вдохнул бухенвальдский воздух, который даже ночью воняет горелым человечьим жиром.

И когда он медленно двинулся к крематорию между двух своих конвоиров, которые такими маленькими казались рядом с ним, все эсэсовцы уже стояли у входа. Сами, без всякого приказа, построились они двумя шпалерами возле дверей, которые обычно раскрывались только для мертвых.

— Вам туда,— тихо сказал один из конвоиров, при-

земистый, коротко остриженный, с острыми, торчащими как у волка ушами.

Большой человек ничего не ответил и, даже не взглянув на притихших, настороженных эсэсовцев, вошел под каменный свод.

Второй конвоир схватился за задний карман, мелькнул вспыхнувший светлой полоской пистолет, и, один за другим, три оглушительных выстрела хлестнули в ночи. Где-то вдали завыли сторожевые собаки.

Эсэсовцы повернулись и вошли в крематорий. За ними последовали и оба штатских. Медленно закрылась дверь. На дворе осталась только большая легковая машина, глухо урчащая невыключенным двигателем.

И тут раздался четвертый выстрел, приглушенный толщей каменных стен.

Старый заключенный Згода шестым чувством распознал тот самый выстрел в затылок, которым приканчивают человека.

Спустя некоторое время дверь отворилась, и во двор вышли оба нижних чина — унтер-фюреры Гофшульте и Отто.

— А знаешь ли ты, кто это был? — спросил, доставая сигареты, Гофшульте.

— Вождь коммунистов Тельман,— ответил Отто и дал ему огня.

Тут и убийцы в штатском вылезли под ночное небо, а вместе с ними лагерфюрер Густ, адъютант Шмидт и доктор Шидлауски.

Только Варнштедт и Штоппе остались в своей преисподней. Было слышно, как зазвенели стальные крюки запоров, когда фюреры крематория заперлись изнутри.

Штатские сели в машину, и она, стреляя из обеих выхлопных труб, задом выехала из ворот.

Двор опустел, и занемевший Згода пополз обратно к своей трубе. Последнее, что он услышал, было тяжелое

шарканье кокса в патентованной печи солидной фирмы «Топф и сыновья».

На следующее утро, 18 августа 1944 года, Згода нашел в вычищенной из печи золе прогоревшие и оплавленные карманные часы. Зола была темная, с синеватым и желтым отливом, а не белая, как обычно, словно плесень из погреба. Значит, человека сожгли вместе с одеждой. Значит, так торопились, что некогда было даже раздеть.

Только пара мужских ботинок не пошла в печь. Утром черные эти ботинки еще стояли рядом с той темной кучкой золы.

Потом их унес унтер-фюрер Гофшульте...

Радио рейха. 28 августа 1944 года, 21 час.

Над имперской территорией ни одного вражеского боевого соединения замечено не было.

Радио рейха. 14 сентября 1944 года, 20 часов 45 минут. Важное сообщение:

Во время англо-американского воздушного налета на окрестности Веймара 28 августа было сброшено много бомб и на концентрационный лагерь Бухенвальд. Среди убитых заключенных оказались, между прочим, бывшие депутаты рейхстага Тельман и Брейтшейд.

Заявление министерства пропаганды:

В связи с воздушным налетом союзной авиации на концентрационный лагерь Бухенвальд под Веймаром германское радио, в противовес утверждениям противника, категорически заявляет, что союзные авиачасти 24 августа сбросили на лагерь около тысячи фугасных и большое количество зажигательных бомб, устроив настоящую кровавую баню для заключенных.

Глава 52

Навстречу грому

Выпавший за ночь снег прикрыл обезображенное последней бомбежкой лицо земли. Сгладились неглубокие воронки, потонули на время ржавые части всевозможных машин, уродливые осколки человеческого быта. Но унылая белизна бескрайней равнины оттенила и выпятила черные остовы сгоревших грузовиков вдоль дороги и язвы теплых еще пепелищ, на которых медленно таяли островки белого пуха.

Ирма брела под конвоем через снежное поле, подавшись вперед, то и дело оступаясь, проваливаясь в невидимые ямы. Она падала, и руки ее, не находя опоры, уходили в холодную, колючую, почти бесплотную пену. Путь до дороги казался ей нескончаемым. Тяжелые башмаки на деревянной подошве сползали с ног, застревали в липком, как мокрая глина, снегу. Не отдавая себе отчета в том, что делает, она скинула их и пошла в одних чулках. Холода не чувствовала. Напротив, набегающий изредка ветер лишь остужал горевшее лицо, холодил сухое, опаленное горло. Она жадно хватала раскрытым ртом влажные дуновения и не могла надышаться. Волнами накатывала боль в животе и тут же подымалась тошнота. Тогда становилось еще жарче, и ни ветер, ни снег уже не спасали. Ирму пошатывало, и поле медленно колыхалось вокруг нее. Из мутной сывороточной его белизны черными пузырями выпрыгивали оскаленные лица. Разверстые в немом крике глотки в разных ракурсах наплывали вдруг на нее. Словно надвигающиеся поезда, стремительно росли нацеленные в переносицу подошвы...

Одутловатое, застывшее, как восковая маска, лицо надзирательницы Гудрун. Сладковато-противный горячий

пар кухни. Как отвар подмороженной брюквы. Воспаленный дрожащий свет...

Эсэсовка была вдрызг пьяна. Ударом сапога она опрокинула стоящее перед Ирмой ведро с картофельными очистками.

— Встать! — И, наваливаясь тяжелым телом и дыша перегаром в лицо: — Его повесили... Слышишь? Коммунистической собаки больше нет в живых... А ну, улыбайся, дрянь...

— Нет! — закричала Ирма, сразу все поняв, но не веря, не принимая.

Гудрун чуть прищурила заплывшие веки, откинулась и наотмашь ударила ее по щеке. Ирма попыталась закрыть лицо и подняла руки. Она так и не поняла, что произошло. То ли Гудрун сама напоролась на нож для чистки картофеля, то ли Ирма, защищаясь, инстинктивно двинула этот нож немного вперед...

Пронзительный визг Гудрун перекрыл кухонный лязг и шипение. Выхватив из кипящего котла деревянную поварешку, эсэсовка ударила Ирму по голове. Все закружилось и поплыло. Проваливаясь в разверзшуюся перед ней черноту, Ирма успела понять, что ее топчут ногами. Потом сумасшедшая боль в боку и немая пустота, прерываемая ревом и болью. Словно кто-то время от времени щелкал выключателем.

Прибежавшие на зов Гудрун охранники долго пинали Ирму ногами. Потом выволокли ее на снег и протащили по всему лагерю.

Очнулась она только в комендатуре. Мучительно пыталась понять, что же с ней происходит. Задыхаясь от нахлынувшей боли, ловила бредовые отрывки: поварешка в кипящем котле, кровь на восковом лице эсэсовки... Но никак не могла припомнить начало. С чего, собственно, все завертелось? Что ей такое сделала или сказала Гудрун?

В ушах стрельнуло, и она вновь оказалась в мире звуков. Сразу узнала истерический голос Гудрун:

— Она бросилась на меня с ножом, чтобы убить!

Пол вокруг был запачкан кровью. И еще Ирма увидела темные лужицы талой воды, выпирающие из сапог икры Гудрун, чьи-то сверкающие краги...

— Я не оставлю ее в лагере ни единого часа,— успокаивал эсэсовку чей-то голос. Ноги в крагах нетерпеливо переступали.

Звякнул полевой телефон.

— Говорит комендант объекта сорок восемь,— сказал человек в крагах.— Хайль Гитлер, коллега! Я обращаюсь к вам по поводу заключенной Зурен... Это дочь того самого... Да, так точно, коллега. Дело в том, что мы больше не можем держать ее у себя. Этой женщине нужен усиленный режим. Вы не могли бы, коллега, взять ее к себе?.. Что? Плохо слышно! Помехи какие-то... У вас нет сейчас свободной машины?.. Не беда! Пойдет пешком... От всего сердца благодарю, коллега!

Комендант дал отбой и наклонился над Ирмой:

— На тебя даже пули жалко! Повесить бы тебя на ближайшем дереве... Подымите ее!

Два охранника, гремя амуницией, бросились к Ирме. Грубо схватили ее. Поставили перед комендантом.

— Увести,— сказал тот, когда увидел, что она может стоять...

Ирма попыталась было повернуться, но пошатнулась и медленно опустилась на пол. Ее снова подняли.

...Скорей бы уж дойти до этой проклятой дороги, думает Ирма, содрогаясь от кашля. Все снег да снег. Один непролазный снег.

Она не знает, зачем ей нужна дорога. Она не помнит, откуда взялась боль, режущая тупой пилой по животу. Глаза слипаются.

Провалившись в сугроб, она уже не может подняться, не может сдержать тошноту.

Сразу наступает облегчение и минутная ясность. Сзади щелкнул затвор.

— Зачем мы тащим эту падаль в Нойбранденбург? — конвоир сплевывает на снег. — Пристрелить ее, и дело с концом!

— Ты что, очумел? — второй охранник ударяет по стволу нацеленного карабина.

— А в чем дело? Да нам за это еще благодарность объявят. Пива дадут, сигарет.

— Заткни глотку. — Это говорится тихо и медленно, сквозь зубы. — У меня еще осталась совесть...

— Какая тут к черту совесть, Гейнц. Разве не видишь, что все пропало?.. Конец близко, — конвоир сплюнул и, вскинув карабин на плечо, засунул руки в карманы.

Конец? Нет, это не конец, беззвучно шепчет Ирма и заставляет себя встать. Это только начало, и надо дождаться, надо дожить!

Она медленно поднимается и все так же, подавшись вперед, делает шаг в сторону не различимой среди снежного поля дороги. Еще один шаг туда, где за голыми ветвями леса краснеет зарево зажженного ночной бомбежкой пожара.

...В те дни войска Ленинградского фронта, при содействии кораблей Балтийского флота, завершали разгром фашистских оккупантов на территории Эстонии. Советская Армия неудержимо приближалась к границам гитлеровского рейха.

Сама история спешила вынести свой приговор.

Содержание

Парнов Еремей Иудович.

П18 Секретный узник. Повесть об Эрнсте Тельмане. Изд. 2-е. М., Политиздат, 1978.

470 с. с ил. (Пламенные революционеры)

П $\frac{10605-184}{079(02)-78}$ Б3—28—4—78 Р2+3КИI(092)

Заведующий редакцией *В. Г. Новохатко*
Редактор *Г. Е. Щербакова*
Младший редактор *Н. Б. Чунакова*
Художник *М. Н. Лисогорский*
Художественный редактор *В. И. Терещенко*
Технический редактор *О. М. Семенова*

ИБ № 1820
Сдано в набор 11.01.78. Подписано в печать 13.07.78. А 00108. Формат 70×108$^1/_{32}$. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкноаениая ноаая». Печать высокая. Условн. печ. л. 21,79. Учетно-изд. л. 21,80. Тираж 200 000 (1—100 000) экз. Заказ № 92. Цена 1 р. 70 к.

Политиздат. 125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Типография изд-ва «Уральский рабочий», г. Саердловск, пр. Ленина, 49.





